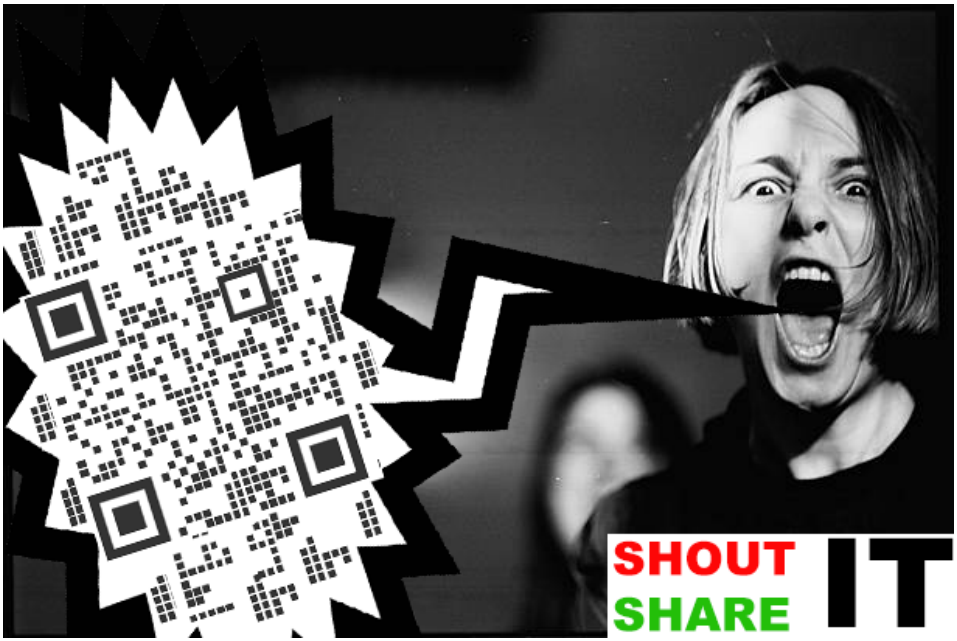
ОГОНЕК-

NOSTALGIA

ВЛАДИМИР ГЛОТОВ


SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Журнал «Огонек» в конце восьмидесятых, на изломе эпохи, читала едва ли не вся страна.

И вдруг, после небывалого взлета, — падение с головокружительной высоты. До ничтожного тиража. До раздражающей, обидной эмоции. Почему? Орган демократии не оправдал надежд? Демократия обанкротилась? Читатель озаботился иным интересом?

Так или иначе, свой столетний юбилей журнал отмечает не в лучшей форме. Поэтому не лишне задуматься: кем же он был, журнал «Огонек» — шутом, которому позволяли говорить правду, пророком, блудницей?

Отсюда и «Огонек»-nostalgia. Однако книга не только о некогда сверхпопулярной редакции

- Владимир Глотов
  -
  - Глава 1
  - Глава 2
  - Глава 3
  - Глава 4
  - Глава 5

Владимир Глотов «Огонек»-nostalgia: проигравшие победители

Моим друзьям

Глава 1
«Огонек»: пир романтических надежд

1

Итак, «Огонек».

Мне было за пятьдесят, когда меня выдернули из небытия и я оказался в роли ответственного секретаря самого популярного журнала на рубеже восьмидесятых и девяностых годов. А в ретроспективе, занимаясь сочинительством, потребовалось десять лет, чтобы из сегодняшнего дня вернуться в то время и ощутить колдовскую атмосферу нашего коридора.

Полдня проходило именно в коридоре, где всегда несколько человек подпирало стену. Или медленно группой прогуливались, не обращая внимания на тех, кто спешил по своим делам. Для визитеров мы представлялись странными людьми. Как в полусне мы бродили казалось бы без дела на пятом этаже в здании «Правды» у Савеловского вокзала и разговаривали друг с другом, показывали друг другу листки, кто-нибудь тут же, на ходу, что-то вычеркивал в гранках. Виталий Коротич, как правило, находился в центре внимания и был доступен каждому. Именно здесь решались нешуточные по редакционным меркам проблемы. Быстро и походя — в буквальном смысле слова. Этот стиль вполне соответствовал времени перемен. Мы уже забыли, как приниженно просиживали под дверью редакционного начальства, а когда попадали в его покои, стояли и ждали, ловя глазами блуждающий взгляд — нас никогда не хотели замечать и не любили, когда мы напоминали о себе. Тут было все по-другому. Не только я, ответственный секретарь, но любой сотрудник, последний корреспондент, получавший мизерную зарплату, был уравнен в правах на доступ к телу главного редактора. Коротич практически никогда не оставался один. Рукописи он читал дома. Утром приезжал рано, и я вынужден был отправляться в редакцию, приноравливаясь к его графику. Он — жаворонок, и я следовал за ним, ибо без ответственного секретаря главному трудно в редакции. Секретарь всегда под боком, он — штаб, у него все нити в руках, он обязан ответить на любой оперативный вопрос, выполнить любой каприз, стоически проводить взглядом выброшенную в корзину статью и вытянуть, как фокусник из

сумки, замену.

К часу дня Коротич выдыхался и редко досиживал в редакции до двух. Он загружал портфель очередной порцией гранок и оригиналов, которые ему, минуя меня, подсовывали не только наши собственные ловкачи, но и авторы. Усвоив распорядок дня популярного редактора, они с утра дожидались его у его дверей. Наутро у меня были сюрпризы, не всегда приятные. Обладая безупречным вкусом, Коротич порой не находил в себе силы отказать автору, тем более, если это брат-писатель, пожелавший напомнить о себе в издании с многомиллионным тиражом. И тогда утром Виталий Алексеевич забегал на две секунды в мой кабинет (он никогда не вызывал ради такой ерунды к себе), виновато совал мне в руки очередной опус и говорил: «Посмотрите». И тут же забывал навсегда об этой рукописи, вполне уверенный, что если она вновь появится у него на столе в наборе, поставленная в номер, значит так тому и быть. Здесь я хочу подчеркнуть не собственное значение, а то, что для Виталия Коротича не существовало упоения быть главным редактором как единовластным вершителем судеб материалов. Мы обязаны были разбираться сами. Увы, иногда, прижатый старыми связями и тусовочными обязательствами, он приносил в секретариат материал, снабженный своей визой, однако это в судьбе такой — подписанной им — статьи мало что меняло. Если она не подходила, мы не ставили ее в номер, а если Коротич, с виноватой миной на лице, напоминал о ней, он мог услышать в ответ и наш отказ, во всяком случае — наши аргументы. Это кажется невероятным, но мы действительно жили в редакции во многом по-новому. Виталий Алексеевич был человеком убеждаемым. Мы не злоупотребляли нашими правами, но я с удовольствием вспоминаю, как решительно справлялись со своими обязанностями мои заместители — смешной, улыбающийся толстяк Володя Воевода и маленький крепыш Сергей Клямкин, ведущие номеров. Против их совести трудно было втолкнуть в номер макулатуру.

Кстати, Сергей Клямкин — младший брат моего друга, того, с которым мы прошли через кабинеты КГБ и КПК, о чем речь впереди, но сама по себе эта семейная привязанность удивительна — мир, действительно, тесен, а выбор в нем не так уж велик.

Мне хорошо работалось в тот первый год. Когда наша пташка, как мы называли Коротича, надолго улетала из редакции, навещала какие-нибудь жаркие заморские земли, а возвратившись, никак не могла освоиться, выпав из ритма еженедельника (самое удачное время для литературных друзей

атаковать главного редактора, подсунуть ему рукопись), и статьи с визами начинали нам заметно мешать в работе, на помощь приходил первый зам Коротича Лев Гущин. Лев был «серым кардиналом» редакции, он читал все номера, держал руку на пульсе редакции, оставаясь, сам в тени — внутренние дела он старался решать моими руками, а на внешней орбите не мешал до поры витийствовать Виталию Коротичу. Тот царствовал — Лев управлял. Мы же просто пахали, испытывая беспредельное удовлетворение.

Если вспомнить редакцию конца восьмидесятых годов, то процентов семьдесят ее состава был балласт, доставшийся от софроновского «Огонька». Мы никого не уволили, вполне следуя принципам демократии, но не могли отказать себе в праве на выбор — мы публиковали лишь то, что отвечало духу времени, как мы его понимали. Секретариат был завален рукописями собственных сотрудников, продолжавших добросовестно описывать трудовую жизнь рыбаков и пограничников в славных традициях социалистического реализма, а мы открыли двери внешним авторам и так решили проблему качества материалов и их направленности. В комнате, где сидели Клямкин с Воеводой, на столах возвышались стопки рукописей — едва ли не годовой запас материалов, а ребята, как охотничьи собаки, рыскали по кабинетам, вынюхивали, прислушивались, заводили с заведующими отделами разговоры о голоде на статьи определенной направленности. В любую минуту они были готовы услышать и уловить тревожащий признак нашей огоньковской темы — и тут же делали стойку. Провести их было невозможно. Их нельзя было ни обмануть, ни усыпить, ни заболтать разговором, ни тем более придавить авторитетом главного редактора, который якобы благословил на создание очередного шедевра. Только политический вкус, автоматический анализатор, встроенный в их интеллектуальную систему всем прежним личным опытом, плюс наша общая коллективная озабоченность и установка — вот что делало из них превосходных ищеек. Да не обидятся они за это сравнение. Я и сам был таким поисковым псом, да еще вдобавок дворовым волкодавом, которому вменялось в обязанность защищать пространство журнала от напиравших со всех сторон любопытных, от своих обиженных и голосистых борзописцев и от сторонних искателей приключений, понимавших, что и одной публикации в «Огоньке» достаточно, чтобы вытащить их из ямы забытья, представить миру и подтолкнуть к новой карьере.

Однажды в редакцию пришел редактор популярного в прошлом и прогрессивного — по брежневским временам —

журнала «Сельская молодежь» Олег Попцов. В силу разных обстоятельств он в ту пору был не у дел, выпал из старой структуры, к новой не примкнул, чувствовал себя, я думаю, не лучшим образом, а будучи человеком самолюбивым, переживал свое состояние болезненно. «Огонек» для него мог стать трамплином, который подбросит его и даст окружающим возможность разглядеть его маленькую, но вполне достойную внимания фигурку. Попцов принес текст — не помню о чем. Как видно, он уже походил с ним по кабинетам, прежде чем открыть двери в мой. Мы не были близко знакомы, но работали в одном издательстве — я редактором в «Молодом коммунисте», он — в ту пору уже главным в «Сельской молодежи». Этого было достаточно, чтобы разговор протекал дружески. Я попросил что-то доделать и теперь уже не помню, напечатали мы тогда Попцова или нет. Таких ребят ходило около нас тьма-тьмущая, а мы могли выбирать, такая была жизнь. Иначе мы не выполнили бы своего предназначения. И не было бы журнала, который, чем больше проходит лет, тем яснее воспринимается как национальное достояние, легкомысленно нами утраченное.

Вокруг «Огонька» вращалась целая планетная система: публицисты, историки, активисты «Мемориала», церковные обновленцы, вроде Глеба Якунина, которого повсюду сопровождал мой старый знакомый по «Комсомольской правде» Валерий Борщев, человек вечно второго плана. Его фигура всегда маячила за спиною патрона, не смотря на то, что с годами он становился все благообразнее, отпустил бородку под «Ильича», полысел и действительно, как две капли, стал похож на хранящуюся в мавзолее мумию, даже похудел и повосковел. Ирония же судьбы состояла в том, что Борщев, хотя и был копией вождя, еще во времена Брежнева занимался «Хроникой текущих событий» и немало преуспел в разрушении идеалов оригинала. В семидесятые, начале восьмидесятых я встречал его на улице в простом овчинном тулупе, оглядывающегося — нет ли «хвоста» и чуть бравирующего своим полулегальным положением. Потом он куда-то пропал и чем занимался — не знаю. Сам я оказался в глубокой яме безвременья, пытаясь придать смысл бессмысленности существования. А когда российский туман развеялся, политическая погода прояснилась и начали проступать знакомые по прежним временам фигуры — вдруг появился Борщев за спиною Якунина, принес в «Огонек» какую-то религиозную прокламацию. Мы тогда привечали всех, кто был против. Я хотел поддержать Якунина в его борьбе с церковными иерархами. С той поры и замелькало на телеэкране борщевское ленинское лицо. Во всех репортажах из Чечни, где на первом

плане находился главный после смерти Сахарова правозащитник Сергей Ковалев, на втором, за спиною, всегда присутствовал Борщев. Ковалев отвечал на вопросы, давал интервью, волновался, возмущался, критиковал власть, обвинял генералов. Борщев же всегда молчал. Я каждый раз ждал — вот ему подсунут микрофон и что произойдет тогда? Ибо я помнил еще с тех далеких времен, когда мы молодыми журналистами обсуждали на шестом этаже в здании «Правды», где помещалась «Комсомолка», наши бредовые идеи, Валерка брызгал слюной, силясь выразить мысль, заикался и никогда не мог договорить фразу — его всегда перебивали, так как дослушать, при нашем нетерпении, его никто не мог, так чудовищно он был косноязычен. Каково же было мое удивление, когда однажды микрофон оказался перед Борщевым — теперь уже депутатом Думы — и он вполне связно произнес целое предложение, договорив его до конца.

Помню Борщева, всегда с удовольствием рассматриваю его на экране, да и понимаю — сколько доброго делает этот человек, уступая место впереди себя другим людям, а все равно посмеиваюсь: и слюной-то он у меня брызжет, и фразу-то его мы не в состоянии были дослушать, и повосковел-то он, как ленинская мумия! Да как я определил — повосковел ли он и насколько? Я его не видел лет десять, а в мавзолее не был с детства. Однако.

Или Карякин — голова, философ! Его «Ждановская жидкость» была хороша даже в соцветии материалов «Огонька». Мы по инерции, опасаясь раздраженной реакции доживавшего свой век ЦК, постарались упрятать эту статью поглубже в недра номера. Потом, после августовской победы, через какое-то время волна назначений вынесла Карякина наверх, и этот домашний человек, мыслитель, историк и литературный критик, знаток Достоевского, стал высокопоставленным чиновником при Президенте России. Что он ему советовал и принимались ли его советы, не знаю. Расспросить бы — да как до таких высот достучишься!

Карякин — один из тех, кто вынашивал в своей душе реформы — в широком смысле слова — в России. И когда свершился поворот истории, на какой-то миг оказался среди тех, кто занял место на капитанском мостике корабля. Наверное, не у самого штурвала, но все-таки неподалеку. И что же? Да ничего. Ровным счетом ничего из этого не вышло. Ничего путного. Ни на градус не отвернул страну от тяжелого пути. Хотя, наверное, пытался. Хочется в это верить. Потом и его самого тихо, без лишнего шума, проводили с командирского пункта.

Когда-нибудь найдется исследователь, который специально проанализирует роль шестидесятников в российской новой политике. Кто из них чего наворожил? Кто преуспел в практической сфере? Состоялось ли хождение во власть и было ли оно успешным? Мне со стороны, более интуитивно, чем с цифрами и фактами в руках, кажется, что мое поколение и те, кто чуть постарше меня — дети двадцатого съезда — не сыграли заметной практической роли в переменах в стране. Вернее так: они немало — если не все — сделали, чтобы эти перемены вообще были возможны, выпестовали Горбачева, а потом самолично сваяли Ельцина, подготовили и провели в России гигантский всеобщий умопомрачительный митинг, похоронили КПСС и КГБ, но когда «процесс пошел», как выражался наш Горби, их, продолжавших идейно жить в прекрасном и яростном мире революционных перемен, оттеснила на обочину невесть откуда набежавшая полууголовная братва, оборотистые мужики, хваткие и бесцеремонные, быстро сообразившие, что надо делать. Время романтиков, как мне думается, закончилось осенью девяносто первого, а осенью девяносто третьего власть поставила логическую точку. Настала пора молодых циничных карьеристов, прибравших к рукам и старый аппарат и новые учреждения, пора русского черного бизнеса, замешанного на прежних номенклатурных связях, пора бритоголовых рэкетиров с добродушными курносыми мордашками.

Работая в «Огоньке», я застал пик горбачевской перестройки, буквально пир романтических надежд, когда упоение борьбой ценилось больше, чем ее цели, а о трофеях вообще не думали, как равно и о парадоксальных ее результатах.

Через коридоры и кабинеты редакции прошли замечательные люди. Всех не вспомнишь, кого-то, забыв, обидишь. Я субъективен, мой выбор случаен. Да и выбора, собственно, никакого нет, простая игра воображенья. Вот прочитал свежий номер «Новой газеты», где Александр Минкин подробно разбирается с «Коммерсантомъ», выговаривает ему за ошибки в интерпретации его биографии. Я знаю, многие мои коллеги не жалуют Минкина, даже те, кто работал с ним бок о бок и как будто должны его знать. Говорят: «Он ангажирован». На этот счет с народом объяснился сам Минкин в своей статье «Ъ». «Сеанс вранья». Лично мне Саша Минкин был всегда симпатичен — за его журналистскую линию, за репортажи из Чечни. Будь я моложе, не свали меня в восемьдесят девятом злополучный инфаркт, я бы поскакал на чеченский фронт и уж там не спутал бы ориентиры, как не спутал их он. Не знаю, хватило бы у меня духу жить под прицелом киллеров, разоблачать обворовывающих

страну банкиров, кремлевских интриганов и их холуев, но даже если бы не хватило, от этого мое уважение к журналисту, занимающемуся таким опасным ремеслом, не убыло бы.

Я лишь слегка улыбнулся, когда прочитал, как Минкин высек автора «Ъ» за чудовищное количество ошибок, не говоря о банальном вранье. Дело в том, что и сам Александр на заре своей славы грешил по этой части. Однажды Коротич направил меня в ЦК разбираться с жалобой на Минкина, который в статье о том, как в Узбекистане травят дехкан дустом, что-то напутал, упомянул район, который вообще не принадлежит Узбекистану, и высокое начальство обрушилось на нас с большим удовольствием. Сергей Клямкин, у которого память помоложе моей, говорит, что я приехал из ЦК бледный и, чтобы скрыть нервное напряжение, шутил и ерничал. Потом мы еще раз поехали — уже вместе с Сергеем — на моей новой машинке «Таврия» в дом на Старой площади. Сергей придумал гениальный ход: мы послали по следам.

Минкина кого-то из дотошных наших авторов и тот нарыл материала еще на три таких статьи, и мы, вооруженные, отправились шантажировать ЦК — мол, какое там опровержение, у этих узбеков еще целый воз грехов. И этот прием сработал — от нас отстали. Так что Саша, если проявит благородство, припомнит, что сам он нас в ту пору бросил — считая, что свое дело сделал, разбирайтесь сами. Как, впрочем, бросил нас и Коротич, который так и сказал: «Вы заварили кашу, вы и расхлебывайте!»

Строго говоря, ничего из ряда вон выходящего здесь нет. Сколько раз меня бросала одного «Комсомольская правда», когда приходила очередная «телега». Я сам должен был отбиваться, газета уходила в тень, как будто не она меня посылала в командировку, не она принимала материал и не начальство поставило его в номер. Таковы были правила игры по-партийному. Коротич просто перенес их в новое время. С его точки зрения он прав. Но прав и Минкин. В конце-концов печатный орган демократии обязан встать на защиту своего журналиста. Мы и встали. Какие могут быть обиды?

Редакция «Огонька» была весьма пестрой по составу, это со стороны, для читателя казалось, что мы монолитны и едины. Цельность появлялась в результате отбора. Сергей Клямкин приходил ко мне порою в ужасе и замешательстве, держа в руках рукопись кого-нибудь из наших редакционных «звезд». Слава Богу, правкой мы в секретариате почти не занимались. Мы просто откладывали убогую по мысли или вздорную по позиции работу в сторону и находили другую. Из журналистов, которые лучше

других понимали, что происходит в стране, и по своей подготовке могли яснее и ярче выразить потребности общества, лидировали ребята из отдела литературы. Это Олег Хлебников, поэт, мягкий и нежный человек, это критик Владимир Вигилянский, похожий внешне на Виссариона Белинского, стремительный, остроумный. Были у них помощники и масса авторов, литераторов, публицистов. В других отделах выделялись Анатолий Головков, волей обстоятельств выброшенный на поле брани, где происходила схватка «Мемориала» с КГБ, а в душе добрый человек, увлеченный коллекционированием рецептов домашней кухни, сочинявший об этом книжки; Георгий Рожнов, в недавнем прошлом офицер из лагерной охраны — наш эксперт в этой сфере, превосходный криминалист, понимавший предмет, о котором пишет, что называется изнутри, или Александр Радов, сын известного советского публициста, сам прекрасный журналист, хотя от его многословности — в письме и на словах — я, замотанный и издерганный работой, в вечном цейтноте, серьезно страдал; мой старый товарищ Владимир Чернов, возглавивший отдел искусства, человек, для которого течения времени не существовало — он всегда был современен, носил не выходившие из моды свитера, окружал себя юными красотками, какими-то бесконечными секретаршами, варившими ему кофе, мальчиками, таскавшими ему сенсации из мира московской богемы, всегда в облаке сигаретного дыма, в неряшливой обстановке засыпанных пеплом столов, в казалось бы неделовой болтовне полной народу комнаты и всегда с пером в руке и склоненной головой над рукописью и вечной правкой, переходившей в полное переписывание текстов — так создавались материалы, которые Чернов передавал нам в секретариат, а мы, бывало, возвращали их ему на доработку; особняком занимал место в редакции Андрей Караулов, круг интересов которого в ту пору ограничивался театром, Андрей был слегка надменен по отношению к людям, равным ему по должности, и чрезмерно охотлив до общения с главным редактором — даже в условиях нашего демократизма манера Караулова вламываться в кабинет Коротича ежедневно для конфиденциальных бесед коробила, а Льва Гущина начинала тревожить; несколько выпадал из редакционного бедлама и Артем Боровик, всегда стремительный, собранный, деловой, не по российски краткий, конкретный и немногословный, собою как бы воплощавший американский опыт, которым он в ту пору был переполнен; и полная ему противоположность, хотя по возрасту они, я думаю, были одногодками, Валентин Юмашев, управлявший двумя десятками женщин, отделом писем — и

хорошо управлявший, поднимавший к нам на пятый с четвертого этажа превосходные подборки миниатюр, а сам — добрый, улыбчивый, непонятно как и за счет каких качеств справлявшийся с таким коллективом и с такой работой.

В один из первых дней моей работы в «Огоньке» я сел на планерке за стол на отведенное мне место рядом с заместителем главного редактора Владимиром Николаевым и стал разглядывать моих новых товарищей, но тут Коротич вздумал опросить нас. Возникла проблема с каким-то материалом, ЦК хотел, чтобы мы его привезли и показали. Коротич, изображая свободолюбие, с капризностью в голосе предложил нам решить: показывать или нет? В этот момент многоопытный Николаев, единственный в руководстве редакции, кто остался в наследство от Софронова, не раз спасавший в таких ситуациях, куда-то исчез (а может быть, его и не было в тот день в редакции), и я оказался первым, к кому обратился Коротич: «Ваше мнение?»

Я понимал: это тест на мою пригодность. Сейчас все увидят — смелый я человек или нет. Никакие прежние заслуги в журналистике не ценятся — если кто не желает помнить о прошлом, так это мы, журналисты. Только сегодняшний день, только то, что ты сегодня из себя представляешь. Как газета умирает каждый день, чтобы наутро родиться заново, так и мы каждый раз должны доказывать, чего мы стоим.

Я сказал, что вряд ли целесообразно дразнить гусей по такому незначительному поводу. Надо отвезти гранки в ЦК — пускай смотрят. А потом мы посмотрим, чего они хотят.

Критик Лесневский, возглавлявший тогда отдел литературы, закричал, что он не знает, что будет теперь с журналом, если к руководству секретариатом пришел такой трусливый человек. С ним случилась истерика и, кажется, она подействовала на других. Почти все склонились к экстремистской позиции: ничего никуда не возить, иначе мы перестанем себя уважать.

Это были мои первые шаги в редакции. Через месяц отделы застонали от позиции секретариата, а когда в редакцию пришел Сергей Клямкин, мой ученик — так сам он считает — мы трое (третий — Володя Воевода) обложили, как данью, всю нашу контору обязанностью поставлять в секретариат только то, что способно вызвать обморок в ЦК. И тут мы поменялись с Лесневским ролями. И скоро он, не выдержав прессинга, уступил место команде Хлебникова и Вигилянского. А наш Виталий Коротич больше никогда не спрашивал, отправлять ли в ЦК крамольные статьи, он сам бывал в ужасе, как, например, со статьей Гдляна и Иванова об узбекских делах. Тут уже он просил нас — редколлегию — давайте ее снимем из номера. Мы не

согласились. Тогда он умолял изменить хотя бы конец, финальную фразу, где речь шла о высокопоставленных взяточниках. Предлагал употребить сослагательное наклонение: возможно, берут взятки. Мы сказали: в таком случае вообще не печатайте! Коротич страдал, страдание отражалось на его лице. Он уже привык к роли властителя дум, самого смелого человека в стране, он как мотылек и порхал над костром и ни разу не опалил крылья, его заморские вояжи все удлинялись и учащались, его душу раздирали соблазны — витийствовать в западных интеллигентских салонах, летать из столицы в столицу, перекусывать за шведским столом и бежать на очередной прием, брать интервью у президентов, премьеров, коронованных особ — это же так замечательно! Но приходилось отрабатывать — выпускать журнал, четыре раза в месяц забивать очередной гвоздь в гроб тоталитаризма. А мы все усердствовали и усердствовали, и этот гвоздь становился все крупнее и страшнее, а молоток в руке все увесистей. Я видел, какая растерянность смешала его лицо, обычно ускользавшее от пристального взгляда, когда Лев Гущин категорически заявил: или мы публикуем так, как есть, утверждаем то, что утверждаем, или не публикуем вовсе — в конце концов, это его право, главного редактора, снять статью из номера. И мы с минуту смотрели на него в упор. И нашему Виталию было куда труднее, чем мне в мой первый день. Он решился, надо отдать ему должное. По его карманам были рассованы документы: здесь письмо на имя Михаила Сергеевича, здесь дополнительные документы, тут главное — список взяточников, которых мы не назвали в статье — четыре звучные фамилии самых высоких партийных вельмож. С таким вооружением Коротич пошел в Кремлевский дворец на партийную конференцию в надежде прорваться к трибуне и все сказать, а если удастся — там же сделать шаг к столу президиума и лично вручить взрывоопасный пакет в руки генерального секретаря.

В конечном счете так и случилось. Мы с Гущиным и еще несколько человек, посвященных в ход дела, сидели в редакции перед телеэкранами и наблюдали за нашим главным — вручит или не вручит? Он сделал все, как надо.

О том 1988-м годе, первом из трех, проведенных в «Огоньке», еще счастливом годе, когда мой старший сын приходил ко мне, садился напротив старинного книжного шкафа, набитого полным собранием Брокгауза и Эфрона, и говорил в сердцах: «Отец! Как же так? Это я должен здесь, в „Огоньке“, работать!» — и доказывал, что я перебежал ему дорогу, — в память о том годе осталась тучная, по газетному изданная книжка — лучшие публикации журнала. Что же в ней? Какие имена?

Потрясающие имена! Алесь Адамович, покойный уже. Булат Окуджава, тоже покинувший нас. Документы об Иосифе Бродском — и его уже нет в живых, как нет и мальчишки, который завидовал мне.

Листаю со слезами на глазах заветный синий том, разламываю неосторожно. Странички выпадают — плохой корешок, — и я гоню от себя дурные мысли, стараюсь не смотреть, чья выскользнула статья. Лучше обойтись без примет.

Пока все мы в том сборнике живы, полны надежд и фантастически активны — как была взвихрена в то время вся страна.

У меня завелся американский друг Виктор Винстон. Он был постарше меня лет на десять или пятнадцать, но со скоростью трансатлантических воздушных лайнеров мотался из Вашингтона в Москву и обратно, он был издателем и специализировался на экономической литературе. Но ему страшно хотелось вырваться из оков заурядного миллионера, сменить имидж, предстать в глазах своего американского мирка политологом, делать не деньги, а политику, стать причастным к переменам в России, ему не безразличной — когда-то родители вывезли его из Вильнюса молодым человеком, и он обожал нашу страну, тратил свои доллары и никак не мог объяснить своей жене, урожденной американке, чего нужно его еврейской душе в этой засыпанной снегом империи. Винстон был американским идеалистом. И однажды мы с ним придумали устроить в редакции «Огонька» круглый стол. Надо собрать, решили мы, цвет интеллигенции — экономистов, философов, публицистов — причем, я должен был обеспечить наших, а Виктор привезти американцев. По замыслу все должны были говорить о ситуации у нас в стране. Как бы взгляд с двух берегов океана! Мы фантазировали, распивая принесенные Винстоном бутылки тогда еще удивительного в Москве зелья, но условие было такое: мы заказываем музыку, а платит — Виктор. Это была сделка века, ничего более выгодного я никогда больше не заключал. И Виктор действительно привез команду американцев, в которой были Питер Реддауэй и Эдвард Хьюэт, Стивен Коэн и Стивен Шабад, и еще профессора колледжей, обозреватели популярных американских еженедельников, советологи, а с нашей стороны — это была уже моя забота — тоже предполагались известные люди. Я начал с капитана. Позвонил Елене Боннэр и честно рассказал о своем авантюристическом замысле и попросил к телефону Андрея Дмитриевича. Даже сейчас, спустя десять лет, я испытываю волнение, как будто через несколько секунд услышу в трубке чуть картавый голос. Конечно, я волновался, но только до той минуты,

пока не начал говорить. А когда почувствовал, что меня слушают, не перебивают — и кто! — вовсе успокоился, тревога исчезла и я со страстью, на какую только способен, изложил Андрею Дмитриевичу наш замысел. Может быть ему передалась моя наивная увлеченность, или он увидел для себя общественную задачу, но только Сахаров сказал «да». И действительно, когда мы организовали такую встречу, приехал и принял в ней участие. А вместе с ним в нашей команде «играли» Юрий Афанасьев, Леонид Баткин, Игорь Клямкин, Александр Гельман, Павел Бунич, не говоря о нас, простых смертных журналистах.

Вот беглый перечень тех, кого мы печатали в тот год в «Огоньке». Не полный список, да и по моему вкусу выбранные люди. Критики Татьяна Иванова, ее однофамилица Наталья, добавлю к ним Наталью Ильину, Бенедикта Сарнова. Я открыл для себя таких поэтов как Александр Башлачев и Александр Аронов. Мы опубликовали Юлия Даниэля и Юрия Левитанского, не говоря о Евгении Рейне, давно любимом нами. А «Школа для дураков» Саши Соколова? А публицистика Василя Быкова и Бориса Можаева? А статья Эльдара Рязанова «Почему в эпоху гласности я ушел с телевидения»? (Справедливости ради надо сказать, что ответ Леонида Кравченко «О чем в эпоху гласности умалчивает Эльдар Рязанов» — мы не напечатали.). Лев Разгон, Андрей Нуйкин, Георгий Жженов, Фрида Вигдорова. Наконец, Сергей Хрущев, его воспоминания об отце — «Пенсионер союзного значения» и статьи будущего пресс-секретаря президента России Виктора Костикова, в ту пору мало кому известного аппаратчика ЦК, получившего доступ к документам закрытых архивов и, благодаря цепкому компилятивному уму, сумевшему преподнести их читателю в форме политологических опусов. Добавьте к этому еженедельно добываемое нашими собственными корреспондентами политическое чтиво — сенсации, разоблачения, интервью самых популярных людей в стране, поражавшие воображение обывателей откровенностью, читательские письма как срез общества, превосходные фотоработы, художественные вкладки — в основном авангард — и никулинские анекдоты на последней странице, — и вы получите представление о том, как выглядел «Огонек».

Юрий Никулин, член нашей редколлегии, по какому-то стечению обстоятельств часто садился около меня. Он мирно дремал пока мы обсуждали свои внутренние дела и, когда заседание подходило к концу, он вдруг, как ни в чем не бывало, словно и не спал, надевал свою капитанку и бодро произносил: «Значит, так» — и рассказывал очередной анекдот. Это были просто финальные аккорды под занавес заседания, мы смеялись, а

Никулин, довольный, что поработал, спускался на лифте, садился в старенький «мерседес» и уезжал. Потом кому-то пришла в голову мысль публиковать в каждом номере «анекдоты от Никулина».

Конечно, редакция не ограничивалась горсткой «звезд», тремя руководителями, секретариатом и чудаком-клоуном в морской фуражке. В «Огоньке» работало под сотню человек. Блистательные фотомастера, вроде покойного Дмитрия Бальтерманца, который однажды начал потихоньку открывать свои собственные архивы — и сразу мощная историческая волна, трагическая и, одновременно, комичная, хлынула на страницы. В его запасниках было все, на все случаи жизни. Каждый фоторепортер «Огонька» работал в своей манере — Павла Кривцова, мастера черно-белого снимка, не спутаешь с Львом Шерстенниковым, приносившим такой «цвет», что мы на планерках ахали. Но Паша так «думал» в своих снимках, так умел обобщать, что забывалось, что он пользовался традиционной техникой. Как и Юрий Рост, не наш по штату, но наш по духу мастер. Его «Свето-тень» до сих пор перед глазами — помните портрет Эвальда Ильенкова и короткую заметку Роста: «Человек думает»? В эту пору уже набрал силу Игорь Гаврилов, уверенно работал Сергей Петрухин, тянулся, чтобы не отстать, ветеран Бочинин и наступал всем на пятки молоденький Юрий Феклистов. Их было еще с полдюжины в фотоотделе. А рядом, через пару комнат, размещались художники Валентин Вантрусов и Николай Калугин, они по очереди вели номера, обеспечивая макет, рисованные заголовки, разнообразные придумки. Работали по старинке — никаких компьютеров, все вручную. В том же боковом коридоре находилось наше бюро проверки, совершенно непонятное по нынешним временам подразделение. Несколько женщин, скажем так — не очень молодых, прочитывали каждый номер от корки до корки, дотошно выискивая неточности, разночтения, проверяя все, что имеет названия, обозначения, места расположения. Никто никогда не задумывался, каким критерием они пользуются в своей работе. Им абсолютно доверяли. Они были надеждой и опорой редакции — никакая наша глупость, оплошность, никакое верхоглядство не могли оказаться на полосе в журнале. Ошибку вылавливали эти последние могикане старой журналистики. Теперь, читая какой-нибудь журнальчик, где автор потрясает эрудицией, нельзя быть уверенным, что половина — не вранье, а другая половина не соткана из ошибок, перепутанных названий, не точно записанных географических пунктов.

В машбюро хозяйствовала Ира Воронова. Статная блондинка

неопределенных лет, с замашками армейского старшины, которой не стоит класть палец в рот — лишишься руки. Бюро трещало с утра до вечера, но попытки пролезть вне очереди пресекались Ириной со всей решительностью. И она же бескорыстно выручала — если с ней «по-человечески». Такова русская натура, тем более, если это женщина. Ира умерла несколько лет назад, успев освоить компьютер, отстроить дачу — на себе таскала землю для грядок, чтобы закрыть бесплодную глину. Она, Ира Воронова, возделывала вместе с нами и огоньковскую грядку. Господи, не забудь ее душу.

Перед дверью Коротича сидела Танечка — вечно молодая, улыбающаяся, чуть суматошная, но милая помощница нашего главного редактора. Гущин с трудом скрывал свое желание расстаться с ней при первой возможности. Что он и сделал, по-моему, дождавшись своего часа.

2

Я уже упоминал, что мы практически сохранили старый коллектив, по мере возможности приспосабливая его к новым задачам. Однако это не совсем верно. Еще до моего появления из редакции ушла группа журналистов, которая потом составила ядро нового журнала «Наше наследие». Это была, я думаю, принципиальная рокировка — руссофильски настроенные литераторы уступили место «западникам», «патриоты» «демократам». В это время литературная жизнь сплошь изобиловала батальными сценами и мы со свойственной нам решимостью вступили в борьбу.

Полемика была отчаянная. Журналы «Молодая гвардия», «Москва», «Наш современник», «Роман-газета» считали нас своими смертельными врагами. Бесконечно апеллируя к «народу», говоря от его имени, они внушали своему читателю мысль, что кто-то умышленно разлагает русское общество, какие-то темные силы, инородцы, а народ — он только великий страдалец. Этакий младенец, инфантильное существо, с которым делают, что хотят, как заметила критик Наталья Иванова в статье «От „врагов народа“ к „врагам нации“». Василий Белов, пытаясь ответить на вопрос «кто виноват?», употребил развернутую метафору, для чего выписал из «Занимательной зоологии»: «Появление жучка лемехуза в муравейнике нарушает все связи в этой дружной семье. Жучки поедают муравьев и откладывают свои яйца в муравьиные куколки. Личинки жука очень прожорливы и поедают „муравьиные яйца“, но муравьи их терпят,

т. к. лемехуза поднимает задние лапки и подставляет влажные волоски, которые муравьи с жадностью облизывают. Жидкость на волосках содержит наркотик, и, привыкая, муравьи обрекают на гибель и себя и свой муравейник. Они забывают о работе, и для них теперь не существует ничего, кроме влажных волосков. Вскоре большинство муравьев уже не в состоянии передвигаться даже внутри муравейника; из плохо накормленных личинок выходят муравьи-уроды, и все население муравейника постепенно вымирает».

Едва ли не здесь проходил между нами водораздел. «Жучки», агенты влияния, евреи, кавказцы — кто там еще? Валентин Распутин, сконструировав себе оппонента-современника (то есть нас!), считал его виновником «исчезновения наций, языков», «оскудения традиций и обычаев». Полагал, что кто-то хочет «сжечь и пустить по ветру идеалы неразумных отцов».

Однако — каких отцов? Какие идеалы? «Идеалы» сталинизма? У «вождя народов» тоже были свои «идеалы» и «принципы», заметила, отвечая оппонентам, наш критик, но были также идеалы Вавилова и Чаянова. Как объединить все это в «идеалы отцов»? И напомнила: именно лозунгами «патриотизма» и «гордости» размахивали на партийных форумах, в «непатриотизме» обвинялись «космополиты», а Шостакович, Зощенко и Ахматова противопоставлялись народу. Вот и теперь кадят народу и славословят в его адрес и тем совершают, по выражению Федора Абрамова, «важнейшее зло».

Но спор наш был бесплоден, истины в нем нельзя было отыскать. В ответ мы опять слышали — теперь из уст Юрия Бондарева (одна команда): «Главное — быть душеприказчиком своего народа». Другими словами, народ уже покойник, метко подметила Наталья Иванова, и пора исполнить его последнюю валю?

Мы полагали иначе. Мы были уверены как раз в обратном: люди просыпаются, пробуждаются от апатии.

У нас были разные кумиры. У них — Анатолий Иванов, Георгий Марков, у нас — Гранин, Жигулин, Искандер. Они молились «Вечному зову», а Анатолия Иванова считали страдальцем эпохи застоя, мы помнили о Беке, Гроссмане, Дудинцеве, Твардовском и Солженицыне.

Они не хотели упрощать сложную фигуру Сталина, личность, по их мнению, шекспировского накала страстей, восхищались заслугами вождя и по-прежнему называли его великим государственным деятелем, благодаря которому страна превратилась в могучую индустриальную державу и победила фашизм. А мы считали такой взгляд бредовым, а Сталина, если и

шекспировского масштаба, то преступником.

Апофеозом реставраторских настроений стало «письмо» преподавательницы из Ленинграда Нины Андреевой, которое опубликовал в «Советской России» Чикин — журналистские его уши выглядывали из-за каждой строки. Наши ребята сходу подготовили ответ, а мы нашли место в готовом к выпуску номере, но дело затормозилось: Коротич решил позвонить Александру Яковлеву в ЦК. На этот раз не из осторожности, а пожалуй как раз наоборот, из чувства азарта идейной борьбы, будучи вполне уверен в себе. Просто чисто по-человечески захотел похвалиться: вот, мол, мы какие оперативные и сообразительные. Я как раз сидел у Виталия Алексеевича в кабинете, когда он, сняв трубку, без труда дозвонился до Александра Николаевича. Бодрым тоном, как о деле ясном, рассказал о том, что в номере уже стоит наш ответ на чикинский (а в действительности — лигачевский) выпад. И вдруг лицо Коротича поскучнело. Через минуту он положил трубку, а мне сказал: «Снимите из номера наш ответ». Так нам не дали забежать вперед «батьки». Через некоторое время «Правда» разразилась фундаментальной статьей, которую — все об этом говорили — написал сам Александр Яковлев.

Публицистические дуэли на страницах противоборствующих изданий — каждый упражнялся в собственном печатном органе — все чаще сопровождались общественными акциями. Обстановка накалялась. На надгробиях с нерусскими фамилиями стали появляться намалеванные белой краской фашистские кресты. Я обнаружил такие неподалеку от могилы сына и, потрясенный, рассказал об этом в «Огоньке». Во время встречи Коротича с избирателями, балкон клуба заполнили гвардейцы из общества «Память». Нам кричали: «Желтый „Огонек“!» «Долой Коротича!» Поднимали лозунги: «Да — национальному патриотизму!» «Нет — безродному космополитизму!» Размахивали знаменем с Георгием Победоносцем.

Мы ответили «Неделей совести», проведенной во дворце культуры московского электролампового завода, в том самом дворце в стиле тяжеловесного сталинского ампира, в котором предпочитал избираться в органы верховной власти великий душегуб.

Может быть, вот эта атмосфера поляризации общественных сил привела к некоторому напряжению внутри редакции. Наши требования к сотрудникам становились определеннее, спрос строже, обстановка нервознее. Пришел, поработал и покинул редакцию Валерий Выжутович, не совладав с доставшимся ему хозяйством, предпочел личное творчество публициста рутинной

работе руководителя отдела. Покинул нас, почувствовав приближение штормовой поры, Артем Боровик — его взору уже открывались совсем другие перспективы. Иных мы сами постарались спустить с палубы нашего корабля. В редакцию обратилась сестра маршала Тухачевского: оказывается, наш бойкий репортер Боря Рязанцев чуть не с ножом к горлу пристал к ней, требуя отказаться от авторских прав на воспоминания о брате. Рязанцев решил — раз он взял «интервью», значит можно игнорировать собственной рукой написанные старухой странички и опубликовать на стороне, в сборнике, воспоминания сестры о брате от своего, Рязанцева, имени, тем более что гонорар обещали неплохой. Мы сказали: «Боря, это мародерство!» И предложили ему покинуть редакцию.

Другой случай, во многом загадочный, произошел с Андреем Карауловым.

Однажды мне позвонил мой старый знакомый еще по «Комсомольской правде» Ким Костенко. Он так же, как и я, работал в ту пору ответственным секретарем — по соседству, в газете «Советская культура». Вскоре он зашел и рассказал такое, что немало озадачило меня.

Оказывается, кто-то позвонил их сотруднику Авдеенко (кстати, сыну Александра Авдеенко), предложил встречу, в ходе которой показал верстку журнала «Огонек» с компрометирующими его, Авдеенко, сведениями.

— Володя, что за статья? — спросил Ким Костенко. — Скажи, ради Бога!

— Да никакой тайны! — ответил я. — Тем более, что она пока снята из номера.

Я принес и передал Киму статью Андрея Караулова о Большом театре, в которой действительно в сноске было несколько слов об участии журналиста Авдеенко в загранпоездках ГАБТа.

— Причем эта сноска давно вычеркнута, она опубликована не будет.

— Понимаешь в чем дело, — не успокаивался Ким. — Этот «некто» как раз считает, что все будет опубликовано в полном объеме, но готов посодействовать, чтобы то, что касается Авдеенко, не попало в печать. И просит за «содействие» 600 рублей. Вот недавно опять звонил, предлагает встречу.

Тут уже я заволновался. Да кто же этот «некто»?

— Давай поймаем! — предложил я.

Собственно, деликатный Ким и пришел с этим — с желанием поймать, увидеть шантажиста. Подобное в журналистике было в ту пору внове. Но сперва Ким хотел поставить меня в известность,

выяснить наше, огоньковское, мнение. Что мы думаем на этот счет?

Был у Костенко и некий план.

Я согласился с ним. И вот в назначенный этим «инкогнито» час Авдеенко прогуливался перед зданием «Советской культуры», а Ким Костенко наблюдал за ним из своего окна. Я же сидел у себя в кабинете около телефона, ждал результатов операции. Об этой истории в редакции не знала ни одна душа, кроме меня и Гущина.

Наконец, позвонил Костенко.

— Кто? — крикнул я нетерпеливо в телефонную трубку. — Кто он такой? Действительно, наш?

— Ваш, — ответил Костенко. — Андрей Караулов. Пришел в черных очках. Его взяли «муровцы» и увезли куда-то на машине вместе с Авдеенко. Пока больше ничего не знаю. Мне позвонил Авдеенко, сообщил только это.

— Ну, а деньги он взял, 600 рублей? — допытывался я.

— Не знаю.

Вот так история, подумал я. Позор на всю Европу!

Потом в редакцию прибыли сотрудники милиции майор Тепленко и следователь Ануфриев, уведомили нас официально об имевшем место происшествии.

Андрей Караулов заявил, что знать ничего не знает, он пошел на встречу по настоятельной просьбе Авдеенко, а его скрутили, сунули в машину и привезли в милицию. И надо еще разобраться с этим Авдеенко: почему он, член редколлегии «Советской культуры», поступает на время поездки Большого театра за границу в труппу театра, в течение трех месяцев (как артист миманса) получает зарплату в валюте, причем у него, утверждал Андрей, есть даже фотография, где Авдеенко танцует «Ромео и Джульетту».

Караулов распушился, грозил включить в дело прокуратуру и обвинил меня в предвзятости к нему.

Признаться, я не знал, что делать. Я пытался собраться с мыслями и проанализировать ситуацию. Дилетанты, проводившие «операцию», никаких денег Караулову не дали, а просто схватили его, посадили в машину Авдеенко и отвезли в ближайшее отделение. Караулов снял темные очки и резонно спросил: «В чем дело, ребята?»

Вот и милиционеры, прибывшие в редакцию, сообщают: «Объективных данных для возбуждения уголовного дела нет».

Однако не было и полной уверенности в том, что Андрей в этой истории чист и более того — жертва. Я вспомнил, как Караулов настойчиво предлагал вставить написанный им текст

злополучной сноски в готовый уже материал на стадии набора — как раз то место, где речь шла об Авдеенко. Да я же и разрешил эту сноску набрать. Потом, связывая одно с другим, я узнал у технического редактора, что Андрей интересовался лишним экземпляром верстки. Зачем? Он уверял в заявлении, написанном в милицию, что не знает в лицо Авдеенко, хотя сам подошел к нему в момент встречи, да и мне показывал фотографию, где Авдеенко снят на сцене среди артистов ГАБТа. В редакции он о происшествии никому не сообщил, хотя в милиции уверял, что немедленно сделает это. Лишь через полмесяца мы получили от него его объяснительную записку. Но все это — косвенные обстоятельства. А как было на самом деле, одному Богу известно.

Я пришел к Гущину.

— Что будем делать, Лев? — спросил я его, прекрасно понимая, что Гущин с удовольствием бы расстался с Карауловым. Просто так, без всякого повода.

— Вынесем на редколлегию.

— Что — вынесем? Наши сомнения?

— Да, наши сомнения. Сомнения в нем, как в личности. Так откровенно и скажем.

Перед редколлегией я еще раз попытался поговорить с Андреем. Никаких обвинений, формальных претензий я ему не выдвигал. Напротив, он упрекнул меня в том, что я никому не сообщил о предстоящем его задержании. Во-первых, откуда ему известно, кому я сообщил, а кому не сообщил. Не говоря о том, что мне вообще было неясно, о ком идет речь, кто этот «некто». Мы обменялись любезностями — он дал понять, что видит во мне заинтересованное в его увольнении лицо, а я не мог скрыть неприязни к нему за напраслину.

Так Андрей Караулов ушел из «Огонька». Время от времени между ним и Авдеенко вспыхивают искры вражды и выяснения отношений — кто кого шантажировал. Я же, волей обстоятельств, оказался у Караулова в самых заклятых врагах. С одной стороны, это плохо, если принять в расчет, какой вес набрал этот человек, его связи. С другой — вряд ли могло быть иначе. Подтверждением этому выводу служит телевизионная публицистика Караулова, безусловно способного и энергичного, хотя и бесцеремонного человека, экран не в состоянии скрыть его собственную личную позицию, человеческую сущность, и только слепой ее не разглядит.

Но это тонкая материя, а зрячих не много. В душе же у меня остается местечко для сомнения. А вдруг Андрей в тот раз был не виноват?

Смысл же этой истории для меня — в загадке: смог бы

Караулов, останься он еще на пару лет в «Огоньке», раскрыть свои способности интервьюера и создать сериал, вроде телевизионного «Момента истины», но в рамках нашей концепции и в нашей редакционной атмосфере? Говорят, история не терпит сослагательных наклонений, глупо гадать, как было бы, если бы. Но все мы, в душе, только этим и занимаемся: прикидываем, оглядываясь назад.

Мне представляется, что в ту пору у Андрея, если я правильно понимаю тип журналиста, к которому он принадлежит, и вообще этот человеческий тип, ничего бы не вышло. Его время пришло позже. Время решительных мужчин, вроде Коржакова и приятеля Караулова Якубовского, время больших капиталов, вложенных в дело, грузовиков с банкнотами, вывозимыми в смутные дни переворота из госбанка по приказу Гайдара, коробок из-под ксерокса без хозяина, с полумиллионами долларов, время риска, когда можно крупно выиграть — не 600 рублей! — и так же крупно проиграть. И даже получить, как Листьев, пулю в голову. В наши дни наивного демократизма, названного неблагозвучно «перестройкой», никто не делал никаких «ставок» в расчете на нас, и мы не требовали для себя льгот, банкиры еще не поделили нас, журналистов, между собою, как крепостных, и мы еще не холопствовали перед новой знатью, не лезли из кожи вон за счастье кормиться из ее рук.

3

Моя собственная жизнь в эти месяцы преобразилась. Каким-то непостижимым образом, со стремительностью, с какой менялось все вокруг, происходили перемены и со мной. От обстановки полудремы в Мароновском переулке, неторопливых чаепитий и ритуальных речей на партсобраниях, где ничего не решалось, не осталось и следа — теперь я сидел, как наэлектризованный посреди редакции «Огонька» и мне казалось, что судьба бросила меня в эпицентр событий. Истины ради надо сказать, что подобное ощущение бывало у меня и прежде, а способность закручивать вихри в болоте и превращать его в поле сражения, не оставляла меня никогда, но теперь королевство оказалось не карточным, а напряжение — не искусственным.

С утра до позднего вечера — будни секретариата. Текучка, чтение рукописей под трезвон телефона, планерки, бесконечные визитеры — и свои журналисты, художники, фотокорреспонденты, технические работники, и вальяжные авторы. Каждые пять минут открывалась дверь, меня отвлекали,

при этом я не выпускал из руки телефонную трубку, а глаза досматривали строчку в тексте. В голове судорожно билась морзянка, я физически ощущал телеграфность жизни, ее все увеличивающиеся и увеличивающиеся скорости. И когда вдруг в кабинет входил Александр Радов, который где-то болтался в командировке, потом дома писал очередной шедевр, истосковался по общению, по редакционным новостям и, бросив свое начинавшее наполняться жирком тело в кресло напротив меня, требовал угостить его чаем, я смотрел на него с тоской и уже не мог отказаться от привычного темпа. Этот стремительный галоп, как наркотик, затянул меня. Я не представлял, что можно жить просто так, без одновременного исполнения десятка обязанностей, а сидеть рядом с человеком и спокойно обсуждать одну единственную тему.

Но резервы души поистине неисчерпаемы. Чем больше сжималась пружина внутри меня, сопротивляясь вращающейся вокруг карусели дел, тем интенсивнее реагировала на внешнюю среду личность. Я не чувствовал усталости, хотя спал мало, практически не отдыхал, если не считать коротких прогулок с фокстерьером. Как в это время мне удалось еще самому сделать несколько материалов, съездить в стремительные кинжальные командировки, взять интервью — у Травкина, Станкевича, Собчака, вспомнить о встречах с Тарковским около Успенского собора во Владимире и написать о том, как мы сообща спасали фрески Рублева, рассказать о девяностолетней Зинаиде Немцовой, представительнице уходящей из жизни плеяды большевиков-ленинцев, считавших, что они, все испытав, понимают, как должна быть устроена жизнь, и при этом с мистическим ужасом взиравших на надвигающуюся лавину новой загадочной эпохи; почему мне повезло побеседовать с Натаном Эйдельманом и я успел сделать это до его нелепой кончины, а потом легко проник в заповедную светелку к Илье Глазунову, близко сошелся с ним и, вопреки вздыбившейся редколлегии, которая с большевистским упорством отказывала Глазунову в праве высказать свою точку зрения, напечатал нашу беседу, да еще слетал за океан, увидел собственными глазами Нью-Йорк с высоты планирующего «Боинга», побывал в этом городе Чаплина не раз, а дважды, а потом в Вашингтоне провел три часа в кабинете будущего вице-президента США Альберта Гора и записал его откровения (от которых он, попав в Белый дом, отрекся), познакомился с миром не то, чтобы не похожим на наш, а просто другим — иной планетой, — как мне это удалось за короткое время, почему я успел, не знаю. И еще не опоздал и собственноручно отнес секретарю парторганизации свой

партбилет — до летней всесоюзной партконференции и массовых демонстративных акций бегства из партии, вроде «сожжения» билетов, устроенного Марком Захаровым, или «коллективки» Егора Яковлева, Карпинского и других в «Московских новостях».

Плотность событий была невероятной. Под занавес 1988 года, в декабре, мы отправились в Запорожье по приглашению местной журналистской организации — выступать перед людьми, жаждавшими видеть и слышать нас, корреспондентов «Огонька», как будто мы народные артисты. Такие рейды редакция устраивала постоянно, дальние и ближние, живое общение с читателями, сотни записок за вечер. Мы еще не знали до конца масштабов своей популярности и интереса к нам и взяли в тот раз с собою — развлекать публику — Людмилу Сенчину, она специально прилетела из Сочи, где гастролировала, и в легком концертном сарафанчике красного цвета мерзла в холодных кулисах за сценой, а мы никак не могли закончить разговор с залом, продолжавшийся уже пять часов. За столиком кроме меня сидели Константин Смирнов, сын того самого Сергея Смирнова, оставившего в памяти вечный след призывом «Никто не забыт, ничто не забыто», Валентин Юмашев, уже опубликовавший свое первое интервью с Борисом Ельциным, но крутой взлет его был еще впереди, как и взлет его литературного героя, Олег Хлебников, в тот раз расстроенный какими-то семейными неурядицами и оттого грустный, и Анатолий Головков, кто, как и я, не был ничем озабочен, а был рад, что вырвался из московской текучки. Тем более что у всех у нас имелась тайная цель в этой поездке. Запорожье — автомобильный город, а мы, каждый, мечтали заполучить машину и, поскольку не были избалованны, рады были бы и «Запорожцу». Комбинат «Правда» откровенно игнорировал нашу редакцию, никаких машин нам не выделял — за нашу позицию — и мы, еще не искушенные в подобных сделках, отправляясь в Запорожье, рассчитывали больше на экспромт, надеялись: расскажем все, как есть, может, пожалеют, выделят из каких-нибудь фондов.

Сенчина наконец-то дождалась момента, попела под фонограмму. Мы стояли в фойе в толпе, продолжавшей нас расспрашивать, как будто мы прибыли с материка на отдаленный остров. Голод на информацию был такой, что, переждав полчасика, люди могли бы опять отправиться в зал еще на пять часов — им не нужна была популярная певица. Потом в автобусе, перевозившем нас за сотню километров, в Гуляй Поле, где уже ждали такие же жаждущие общения люди, Людмила Сенчина спросила, показав в окошко: «Это вон та что ли машинка „Таврия“?.. Хорошенькая! Я тоже такую хочу».

Быть может, невинный восторг женщины, ее каприз, решил судьбу будущего президентского сподвижника Валентина Юмашева и круто развернул его путь? Дело в том, что нам-таки согласились — так нас полюбили — отдать две машины из заводского резерва, и мы, сидя в ресторанчике при гостинице, тут же честно разыграли их — кому они достанутся, — бросив в шапку свернутые трубочкой бумажки, на которых было написано три не вполне приличных слова и два волшебных — ЗАЗ. Из пяти бумажек эти две были счастливыми. Юмашев посмотрел на меня пристально и сказал: «Сейчас выиграет Глотов» — и я действительно выиграл. Вторую машину должен был получить Олег Хлебников — он тоже вытянул листочек с надписью «ЗАЗ». Олег не только никогда не имел автомобиля (как и Юмашев), но даже не имел водительских прав и не причислял себя к клану автомобилистов, однако азарт втянул и его в игру. И он выиграл. Но тут вмешалась в расклад наших сил женщина.

Когда через неделю я отправился вновь в Запорожье — теперь уже за машиной, в купе поезда моей соседкой оказалась Сенчина, в долгополой шубе, в тонком платочке, яйцом охватившем голову, без грима и макияжа, неузнаваемо блеклая, простуженная попутчица, на которую, не знай я ее, вряд ли бы я обратил внимание. «А вы куда отправляетесь, Люда?» — спросил я удивленно. «На завод, за машиной», — ответила она. И только тут я понял, почему парторг завода, позвонивший в редакцию, сообщил, что вместо двух машин нам дадут одну. Как же так? — обескуражено восклицали мы, ведь обещали две и сказали: «Надежно». «Надежно бывает только на кладбище», — мрачно пошутил парторг, большой любитель советской эстрады.

Олег Хлебников вздохнул и сказал, что ему не судьба освоить автомобиль, а Юмашев, которому все равно ничего не досталось, наверно тогда и принял окончательное решение не зависеть от капризов судьбы. И взял ее в свои руки. Так он миновал типичный для нас этап передвижения на собственном «Запорожце» и сразу сел за руль японского монстра «Ниссан-патрол».

Я же был несказанно счастлив, став обладателем маленького белого чуда. Мы с сыном выкатили его за заводские ворота. Сенчина улетела в Москву, поручив перегонку ее авто профессионалам, а мы по мокрому асфальту покатили на север. За Харьковом, который мы, не разобравшись, полностью объехали по кольцу, начались снежные заносы. На спуске мы едва не попали в аварию, но наутро, уже освоив переднеприводной автомобиль, мы поддали газу и за час до нового 1989 года прибыли домой, успев поднять бокал шампанского «за счастье». Ни сын мой, ни я не знали, что принесет нам этот год.

4

В пасмурный день 19 февраля, после странно возникшего и странно прерванного, как бы и не существовавшего, грустного разговора с Еленой — я и повода для ее звонка не вспомню, — но рокового для меня разговора, словно знака, смысла которого я не понял, я вышел из дома в задумчивости, с тяжелым сердцем, и мне было необъяснимо грустно. Я брел по мокрому снегу мимо гаражей автостоянки, машинально приласкал дворовую суку, у которой были очередные щенки в ее бесконечной собачьей доле, прошел, переступая через наваленные кое-как бордюрные камни на пути к моему гаражу, расстегнул пальто — душно в оттепель! — открыл ворота, выгнал машину и только теперь понял: камни загораживали мне проезд.

Тогда я выбрался из кабины и, как был, в расстегнутом пальто — а может быть, в овчинном полушубке, ибо, насколько я помню, у меня никогда не было настоящего зимнего пальто, а все куртки, тужурки, полушубки, — принялся бессмысленно, машинально приподнимать метровые каменные глыбы, ставить их «на попа» и отбрасывать в сторону. Один раз, другой, вот еще немного. Я даже двигатель не выключил и слышал: мотор работает. Ничто не предвещало неприятностей. И я не понял, что произошло, а только почувствовал, что сейчас умру.

Дикая, ни с чем не сравнимая боль в груди едва не лишила меня сознания. Я стоял над последним бордюрным камнем, упавшим в снег, соображая, что со мной. Отметил мысленно, что теперь путь свободен, можно ехать, но понимал, что ехать никуда нельзя. С минуту я так стоял, приходя в себя. Боль не утихала. Войдя в меня, она по-прежнему разрывала мне грудь. Тогда я сделал несколько шагов, чувствуя, что меня начинает сгибать, придавливать к земле. Я добрел до машины, сея за руль, загнал «Таврию» в гараж, прикрыл ворота и даже запер их. Все это автоматически, не думая ни о чем, а только повинуясь неведомому инстинкту. И так же, следуя внутреннему голосу, я побрел в полусогнутом состоянии к сторожке и рухнул на руки бледного дежурного, успев сказать ему, куда звонить.

На мое счастье муж сестры моей жены, Иван, оказался дома. Он прошел еще ту войну, с немцами, шофером, потом много лет работал в военном госпитале на «санитарке», он сразу сообразил, в чем дело, и прибежал с зажатой в кулаке стеклянной трубочкой с нитроглицерином. Он знал все ближние пункты скорой помощи и по-своему, по-шоферски, по-русски, объяснил, что случилось и что надо делать. Через пятнадцать минут — не это ли меня спасло — усатый врач «скорой» делал мне укол, с помощью

подоспевших мужчин, оказавшихся в гараже, меня вытащили из будки сторожа и отнесли в машину. Я видел через мешавшую взгляду кислородную маску очертания лица моей Тамары — значит, все о`кей, поехали.

Не буду описывать дней, проведенных в больнице — кому это интересно, кроме моих близких, кроме Тамары, ее сестры Любочки, которая, стоя посреди улицы, в ужасе от случившегося, взмахами рук призывала «скорую», свернувшую не туда, или моего сына, мальчишки семнадцати лет, теперь уже возмужавшего, или моих нескольких друзей, неразлучных, преданных, как братья, кому это еще важно, чтобы занимать здесь подробностями место? А им, этим самым дорогим мне людям, воспоминания о тех днях и месяцах — лишняя боль.

Двадцать два дня я провел в реанимационном отделении. Обширный, сказали мне, трансмуральный. Субъективное ощущение было иное, не позволяло трезво оценить ситуацию. Поверх одеяла, на груди, в россыпь лежали записки из редакции, от жены, от сыновей и друзей. Строчки из некоторых я привожу не без умысла, который откроется чуть позже.

«Ждем скорейшего возвращения в наши боевые ряды, обнимаем. ПОЛИТотдел литературы. Олег Хлебников, Владимир Вигилянский».

«Конечно, ты бы не поверил, если б тебе сказали, что контора восприняла твою болезнь спокойно — все здорово переполошились. Держись, старик! А в Карабах мы еще скатаем. Анатолий Головков».

«Старшему лейтенанту Глотову от рядового Клямкина. Рапорт-анонимка. Докладываю: по случаю 23 февраля батальон залег, вставать отказывается, ведет заградительные бои. Кое-кто увлекся перекурами, топчется в нашем штабе и отвлекает вопросами: „Нет ли „Огонька“, товарищ?“ Противник пошел в психическую атаку. Некому поднять людей, поэтому слезно просим: „Поскорей возвращайтесь, Владимир Владимирович!“. Приписка: „Привет от ефрейтора Юмашева“».

«Признаться, не ожидал дезертирства с боевых позиций в столь напряженный момент. Все публицисты и А. Болотин».

«Держись! Бог не выдаст. А Головков песню про тебя написал. Андрей Чернов».

«Только что вернулся из 21-го века (из Кувейта). Расскажу, когда к тебе пустят. Все шлют тебе приветы и ждут. Владимир Николаев».

«Очень без вас скучаем. Девочки из машбюро».

«У нас запарка: сдаем план № 16, ждем Коротича от Маргарет Тэтчер, отвечаем на бесчисленные звонки о состоянии вашего

здоровья. Сердечный привет просили передать Евгений Евтушенко, Ярослав Голованов, собкоры и спецкоры, а также множество других людей, которые знают вас, но, к сожалению, не знаю их я. Пока все тихо, но тишина обманчива. Скоро мы с Сергеем взорвемся и будем ай-люлей раздавать направо и налево. Чем и радую вас. В. Воевода».

«Милый, милый, мы будем нежно вас любить и беречь. В Вашем распоряжении» — подпись неразборчива.

«Дорогой Владимир Владимирович, скорее выписывайтесь, а не то журнал прекратит свое существование и, как говорит рядом стоящая Ольга Никитина, превратится в „PLAYBOY“. С дружеским приветом, Артем Боровик. А сейчас гляньте в окно!»

Я глянул — внизу на улице, напротив, стоял крупнолицый, пышущий здоровьем Артем и рядом две редакционные девицы. Я, как Брежнев, помахал им со своей трибуны слабой рукой, и мне, как и Брежневу, была приятна лесть.

Словом, любовью, только ею одной я был жив. И что поделаешь, если любовь заметнее, когда сама бросается в глаза, а чувства коллег интенсивнее, если заболевают начальники. Но даже если на три неискренних пришлась бы одна искренняя записка, то мне бы и этого хватило. Я же в те дни ни о чем подобном не размышлял и повода для сомнения у меня не было.

Так я лежал, день за днем, обвешанный датчиками, неожиданно вырванный из привычного ритма, спокойно приняв известие о том, что у меня инфаркт. Однако подумал: чего доброго, так и помрешь ненароком. «Вся жизнь», как положено, никак не хотела представать перед мысленным взором, а без этого было глупо и обидно помирать. И тогда я, от нечего делать, чтобы заполнить вынужденный досуг, стал сам вспоминать свою биографию. Это оказалось увлекательным занятием.

Глава 2
Досуг в палате реанимации: побег в Сибирь

1

Иногда в минуту уныния мне кажется, что моя сибирская эпопея была бессмысленна. Давным-давно мы поспорили с моим школьным товарищем: надо ли ради познания жизни специально подвергать себя испытаниям, или можно стать человеком и добиться успеха, продолжая жить в привычной обстановке?

Москва начала шестидесятых представлялась мне душным мещанским городом. Других я не видел. Я страстно хотел вырваться из внешторговской среды, из высотного дома на Смоленской площади, где после окончания института работал. Уеду, думал я, поброжу по свету, испытаю себя.

Нужен был повод и он не заставил себя ждать. Я встретил Елену, ей было девятнадцать лет, она послушала мои стихи, посмотрела на меня шоколадными турецкими глазами и сказала серьезно и страстно: «Глотов — ты поэт!» Конечно, я поверил ей, и жизнь в бухгалтерии, среди престарелых женщин, стала для меня сплошным кошмаром. А тут еще я нанес визит в настоящую газету, в «Комсомольскую правду». Заместитель главного редактора Борис Панкин вежливо полистал то, что я сочинил, положил в нижний ящик стола и посоветовал поехать куда-нибудь в Сибирь на комсомольскую стройку, вот хотя бы в город Сталинск, где начинают сооружать металлургический комбинат.

— Месяца на три, на четыре, а? — предложил он — А потом приходи к нам. Надо набраться жизненного опыта, — пояснил он свою мысль и устало — время было за полночь, шла работа над номером, — пожал мне на прощанье руку.

Так неожиданно я получил поддержку, сперва от Елены, между ее поцелуями, потом от большого журналистского начальника. Окрыленный надеждой, я пришел в отдел кадров «Межкниги» и сказал, что покидаю ошибочно выбранную стезю. Не тут-то было! Принялись пускать мне кровь. Собрали комсомольское собрание. Меня прорабатывали две недели, грозили растоптать, но обещали поддержку, если выкину дурь из головы. Готовы были даже послать работать за границу, если я, конечно, к тому времени женюсь — не женатых не посылали. Я

мог стать с годами главным бухгалтером, сменить на этом поприще главбуха с хохлацкими усами, и согласись я тогда, поддайся на уговоры, выброс из головы Сибирь и журналистику, я бы с Еленой объехал полмира и дослужился бы до чего-нибудь на этой дороге, но я выбрал свой путь.

Меня не отпускали. Тогда я перестал ходить на работу. Отчаянный по тем временам шаг. Ко мне домой, где я сидел в одиночестве, как сыч, пришла делегация комсомольского коллектива — мои старые институтские товарищи. Они смотрели на меня с ужасом, как на самосожженца. Но доводы их не действовали. Елена по-прежнему считала, что я настоящий поэт, и кажется начинала меня любить. Я тоже испытывал что-то возвышенное. Наконец, в какой-то день меня насильно повели к самому страшному человеку в нашей конторе — к председателю объединения Змеулу. Фамилия у него была подходящая: я чуть не умер от страха. Не знаю, как выдержал, как вышел из кабинета, но чем больше на меня давили, тем меньше я хотел мириться с судьбой. Инстинкт самосохранения подсказал: беги!

— Давай уедем — предложил я Елене.

Остальное было делом техники: раздобыть комсомольские путевки на ту стройку, о которой говорил Панкин. Мы целый месяц ходили в московский горком комсомола, добивались, чтобы нас отправили в Сибирь, а нам не верили, как будто мы просились не на восток, а на запад. Такое и правда казалось подозрительным: ну кто же просто так, по своей воле ломает себе карьеру и едет по их призыву на стройку! Наконец, убедились, что один — идиот, а другая — влюбленная дурочка, и сплавили нас из Москвы с глаз долой. На прощанье нам выдали комсомольские путевки, а мне в «Межкниге» еще и характеристику. И те, кто совсем недавно распинал меня почем зря, теперь писали, что считают возможным использовать меня на работе по строительству металлургического комбината. Спасибо и на том. А когда я уехал, один мой однокашник по институту организовал даже письмо Змеула в Сибирь, где тот меня хвалил, отмечал мой патриотизм и высокие моральные качества. Письмо подписала вся внешторговская камарилья, в том числе и начальник отдела кадров, который грозил растереть меня в порошок, а потом, когда я пришел из горкома с красной книжицей, он засуетился и, решив что дело сделано, обратно меня не воротишь, продал мне несколько томиков из ненужной ему самому библиотечки поэзии — такие маленькие книжечки-лилипуты я впервые увидел и был очень рад. Меня канонизировали. Через месяц я стоял посреди Антоновской площадки, в пыли, горячечно оглядывая, куда меня занесло, а

заезжая журналистка из Москвы брала у меня интервью. Она опубликовала его под привычным для того времени заголовком «Сердце в тревожную даль зовет». Мой приятель из «Межкниги» сообщал мне в письме, что заметка красовалась в стенгазете рядом с письмом Змеула ко мне. При этом он приложил черновик этого письма, созданного, понятно, им самим — чтобы я не особенно зазнавался.

Я стоял посреди стройки. Под ногами — окаменевшая глина со следами от гусениц бульдозеров. Повсюду как бы одно лишь начало, ничего завершенного: там что-то вылезло из земли, здесь котлован с высовывающейся из него кабиной экскаватора. Нагромождения бетонных плит, блоков, стальных конструкций. Кустики травки сиротливо теснились, окруженные со всех сторон изуродованной землей, и я иногда находил такой островок, садился на запорошенную пылью траву, жалкую и беззащитную, и любовался окружающим ландшафтом. Глаза не замечали ни жестокости, с которой мы издевались над природой, ни убогости наших амбиций. Напротив, я был в восторге от увиденного. Дождь превращал окаменелости в трясину, в ней со стоном гибли машины, их рыдания сопровождали повсюду. Я ходил в клетчатой ковбойке, чехословацких ботинках на протекторе, в зеленой туристской куртке, выгоревшей за лето так, что я буквально сливался с серой землей. К тому же слой пыли покрывал меня с головы до ног. Худой и подвижный, совершенно не чувствовавший своего тела, я легко перепрыгивал с одной вздыбленной плиты на другую, не беспокоясь, что переломаю ноги.

В поселке мы ходили с Еленой по доскам, проложенным между несколькими домиками-двухэтажками. Но уже появилось два или три четырехэтажных здания. В одном проживало начальство. В других разместились общежития, мужское и женское. Судьба нам улыбнулась — мы избежали этой карикатуры на человеческую жизнь, но люди годами, а иные и десятилетиями — я встречал и таких — жили в сутолоке, на виду у других, располагая лишь койкой и тумбочкой, огороженные забором запретов и предписаний. Мы встретили иное общежитие — некое идейное братство. Теперь бы сказали: обычная тусовка!

Журналисты из местной многотиражки, секретарь комитета комсомола, инженер-сантехник с гитарой, пара девиц, мечтавших выйти замуж за кого-нибудь из этой компании и надеявшихся, что московские жены, не в пример моей, не последуют за мужчинами в Сибирь. Кое-кто из рабочих ребят, придававших собранию фундаментальность, да мы с Еленой — мы проводили вместе практически каждый вечер. Пели песни тех лет, от Визбора до

блатного фольклора, пели и — «… в коммунистической бригаде с нами Ле-е-е-нин впереди!» — пели вдохновенно, без иронии и заднего смысла. Конечно, и пили от души. Говорили о политике. Перемывали местные кости, толковали о делах на стройке, устраивая своеобразные домашние планерки. Все это с криком, в табачном дыму, с отлучками за очередной бутылкой. На полу грязь, окурки, на столе бычки в томате.

За полночь расползались по углам. Кто где, кто с кем. Инженер-сантехник по фамилии Лейбензон уступил нам однокомнатную квартиру — легко и естественно, а сам перебрался к комсомольскому секретарю в соседний подъезд, где уже обитал журналист из многотиражки. Из мебели нам досталась кровать. И шкаф — сваренный из арматуры каркас, обтянутый парусиной, наподобие пляжной кабинки. Мы были в восторге.

К хозяину квартиры, секретарю комитета комсомола стройки, мы ходили в соседний подъезд, не спускаясь, а по чердаку — тропа была уже проложена. После очередной вечеринки Карижский засыпал, сваливаясь без сил, но часа в три ночи раздавался стук в дверь. На пороге стоял комсорг управления механизации Поздеев. Он звал Карижского с собою. «Пойди, — говорил он, — пожми руку!» Это означало, что какая-то ночная бригада закончила монтаж чего-то по нашим масштабам очень важного, например, лыжной базы, крайне нам необходимой, и надо было поздравить ребят. Такие игры воспринимались как само собой разумеющееся. Карижскому в голову не пришло бы сказать комсоргу: «Ты что, парень, сбрендил?» Он мгновенно реагировал на ситуацию, ополаскивал лицо, пытаясь прогнать остатки сна и хмеля, надевал сапоги и уходил в ночь. И, как правило, не возвращался уже до вечера, встречая утро в бригаде. Я был наивен, смотрел на Карижского как на живую легенду стройки, хотя передо мною был способный партийный шаман, один из тех, из-за кого мы так долго пребывали в спячке.

Окружающий меня новый мир представлялся мне не только глубоко идейным, лишенным пошлости, но еще и эстетически совершенным, где общественные явления и поступки людей и даже их внешний облик, их речь — буквально все носило отпечаток гармонии, обладало чувством меры. Приятель Карижского журналист из многотиражки «Металлургстрой» Гарий Немченко ходил в кирзовых сапогах, выцветших штанах и ковбойке, в обычном наряде стройки, но я смотрел на него как на небожителя. Жесткий ежик, узкая полоска загорелого лба, под которым поблескивали юморком маленькие лукавые глазки. И речь — мягкая, полуюжная, выдававшая уроженца кубанской

станицы. Он говорил мне: «Старичок!» — и я был на седьмом небе.

В сущности, Гарий Немченко был добрейшим малым. Он был талантлив, обладал природным вкусом, острым глазом и — что немаловажно — был работоспособен, хотя и пил временами без меры, но наступал момент, когда Гарий завязывал и садился за стол. Он первым из нас расстался с журналистикой, решив: пора становиться писателем. Начал сочинять по горячим следам роман о стройке.

В поле моего зрения в это время появились в столице еще двое: Василий Аксенов, похоже, мой ровесник, и провинциал постарше — Александр Солженицын. Гарию в моей душе пришлось потесниться. Да и сам он понял, что это птицы большого полета. Я стал замечать, как менялся наш Гарюша, стоило завести речь об Аксенове. Может быть, профессиональная зависть, а возможно, и внутреннее несогласие, идейная неприживаемость мира Аксенова на ниве, которую распахивал Немченко, но только я почувствовал напряженность в его тоне, легкое пренебрежение знатока жизни по отношению к московскому пижону, как он называл Аксенова, не подозревавшего о завистливом конкуренте с комсомольской стройки. Аксенов продолжал радовать меня то очередным рассказом, а то и повестью. Все, что доходило к нам в Сибирь, я жадно проглатывал. В ответ Гарий в очередной раз завязывал и садился «кропать» свой ответ Чемберлену. Солженицын же находился вне его досягаемости, тут нужна была дальнобойная артиллерия, а такой у нас на стройке не имелось. Это понимали, как мне кажется, все, и Гарий Немченко, и его идейный вдохновитель Геннадий Емельянов, главный редактор «Металлургстроя», который тоже, конечно, сочинял «роман». Их обстрел не был рассчитан на такие масштабные цели, да тут и пахло не столько литературной дуэлью, сколько человеческой, не областью формы, а сферой духа.

Как бы там ни было, но буквально в считанные месяцы Гарий Немченко превратился в писателя. Сперва мы его так называли в шутку, а потом это стало привычным. Он написал и напечатал роман «Здравствуй, Галочкин!» — где ходил по стройке рабочий паренек с уголовными ухватками, бывший детдомовец, конечно, добрый и ранимый и в душе идейный, которому чужда показуха, ненавистен блат, словом такой, каким и пожимал в жизни руку Вячеслав Карижский, чтобы они не теряли веры в идеалы Ильича, а Ильич являлся в ту пору непререкаемым авторитетом. Мудрый парторг, старательно списанный с нашего секретаря парткома, живое воплощение вождя, помогал в романе детдомовцу бороться

с бюрократами и любовно пестовал душу Галочкина, тем самым подтверждая мысль, в справедливости которой мы не сомневались, что именно стройка формирует личность, а если шире — ее формирует система. Значит не плоха она, эта система, если стержнем ее служат кристальные люди, которым верят и на которых опираются рабочие пареньки.

По мере литературного продвижения Гарий толстел. Бывали периоды, когда он заплывал, как буддийский божок. На его счету уже были повести о первом милиционере стройки Павле Луценко, о парторге Иване Белом. Идеальные, отшлифованные люди, сумевшие сохранить себя среди морального разложения. Хитрость кубанского станичника состояла в том, что герои его сочинений, в отличие от героев Аксенова, не говоря уже о героях Солженицына, представляя советскую систему, утверждали ее право на место под солнцем, шлифовали тоталитаризм.

Эту границу между одними и другими я стал все яснее замечать. Конечно, я и сам пел, чуть не плача от счастья: «И Ленин такой молодой, и юный Октябрь впереди…» А однажды отправился в областной город, в музей, чтобы отыскать в его запасниках красное знамя 30-х годов, времен Кузнецкстроя, чтобы запустить его в качестве переходящего стяга по второму кругу, не очень задумываясь: а почему, собственно, нужен допинг для социалистического соревнования? Я привез знамя и описал свое путешествие на тяжелой грузовой машине — не обратив внимания на то, что в условиях крайнего дефицита техники Карижский раздобыл для такого дела новейший трехосный ЗИЛ, только что полученный стройкой. Путешествие через ночной Кузбасс, через освещенные огнями шахтерские поселки, мимо дымящихся рыжих терриконов — за куском ветхой материи, опоэтизированной мною, со значком «КИМ» и следами времени, казавшегося нам замечательным, — стало для меня первым журналистским сюжетом. Мы собрали оставшихся в живых строителей Кузнецкого комбината, устроили им на радость что-то вроде вечеринки, с речами и водочкой. Старики выпили, прослезились, рассказывали нам истории из жизни Кузнецкстроя, среди них помню покалеченного парторга тридцатых годов и огромного костистого старика, которого в ту пору называли «человеком-экскаватором», так как он в одиночку за смену выбирал 25 кубометров(? — *Д.Т.*) грунта. Но даже захмелев, никто ни словом не обмолвился о мрачной и таинственной стороне жизни. Мудрено ли, что я написал душевную заметку про знамя, про гитару Лейбензона, тоже перекочевавшую в музей. Новые мифы спешили занять место прежних. И я долго верил, что Карижский — это и в самом деле олицетворение нашего времени,

однако в качестве слабого оправдания себе могу сказать, что герой немченковских опусов Иван Белый все-таки вызывал у меня отвращение, несмотря на то, что был благообразен и по-отечески строг. Он отоваривался в местной рабочей столовке, делал это трусливо, с оглядкой. Для меня его житейское желание урвать кусок чуть больше нашего казалось равным библейскому предательству.

Сам я в ту раннюю пору оказался в роли ученика каменщика. Ни на что более серьезное, необходимое стройке, я не годился. Это Елена довольно быстро освоилась и работала мастером — все-таки у нее за плечами был техникум: мосты, тоннели… Защищаясь от пыли, она обвязывала голову натуго платком в виде овала с вытянутой верхушкой по моде. Долго не могла привыкнуть к рабочей среде, к матюгам, к залитым щами пластиковым столикам и подносам, у нее по вечерам сильнее обычного разбаливалась голова. Она говорила со слезами на глазах: «Ни к чему я здесь не привыкну, Глотов! Отбуду, как каторгу, и уеду». Я пытался ее успокоить, но сам порою еле держался на ногах. Мы и виделись не каждый день. То я уходил утром, а она в вечернюю смену, то наоборот. Каждый день я разгружал машины с кирпичом, шлакоблоками. Ветер сдувал в лицо доменную крошку, пыль била залпами, глаза болели, не переставая, уже неделю. Я молил Бога, чтобы к концу смены не было больше машин, но последняя приходила, как на зло, под самый занавес, значит надо остаться и разгружать, разгружать. На пустой пачке от сигарет «Прима», подобранной в кузове машины, я нацарапал карандашом:

Блоки, такие штуки —
Каждый — полтора пуда,
Бьют и царапают руки,
Работать с ними трудно.
Роют траншею парни,
Режут землю лопаты.
Вон устал напарник,
Катятся комья обратно.
Эта бригада — солдаты.
Им посвятят поэмы.
Им, в сапогах и бушлатах,
Памятник выточит время…
Знайте, поэты, знайте:
Песни пелись не часто.
Чаще работа в ненастье —
В ней находила счастье

Эта бригада — солдаты.

Откуда взялись «солдаты»? Никаких демобилизованных солдат около меня в те дни не было, хотя на стройку они приезжали партиями и, облачившись в новенькие синие телогреечки, кобелились стайками, охаживая какую-нибудь симпатичную геодезисточку. Я работал в паре то с Машей, то с Нюрой, здоровенными девахами, и ненавидел их за их мощь и двужильность. Я давно выбился из сил, а они все пашут и пашут. Угрюмые сибирячки. Спросишь о чем-нибудь, в ответ только: «Ну!» Иногда — с вопросительной интонацией. Сколько же в них силы, думал я. Когда же она иссякнет? Да женщины ли они? Маша с Нюрой таскали на леса к каменщикам носилки с раствором и я едва успевал замешивать песок с цементом. Нет, не успевал. И тогда одна из них хватала молча лопату и начинала шуровать в корыте. Но и тут мне не было отдыха! Я должен был браться за поручни носилок и плестись за необъятным задом напарницы по доскам лесов. Руки отваливались, меня бросало в пот уже не от усталости, а от стыда, что я сейчас выпущу две деревянные рукоятки и мерзкая жижа хлынет мне под ноги. И я твердил, как заклинание: «Ну споткнись же, споткнись!» Но ни Маша, ни Нюра никогда не спотыкались, и меня могло спасти только чудо. Я начинал пристально всматриваться в обтянутый грязным комбинезоном зад девицы, пытаясь настроить себя на сексуальный лад, что, как я думал, придаст мне силы, но и это не помогало. Мы были бесполыми существами, работягами, я — слабый и рефлексирующий, они — две машины, монотонно выполнявшие свою работу. И тогда в голове начинали из обрывков впечатлений складываться полуфантастические образы: романтические «солдаты», пополняющие рабочий класс, «поэты», не знающие жизни, которым я готов о ней рассказать, и вымышленное «счастье», которое мы находили в работе, именно в ней, да притом обязательно «в ненастье».

В стихах я выражался прямолинейно, моим кумиром был Владимир Маяковский. Страшно подумать, как малограмотен я был! Однажды меня спросили в редакции журнала «Юность», что я думаю об Эдуарде Багрицком, и я смутился. Я понял, что речь идет о классике вроде Маяковского, но я ровным счетом ничего о нем не слышал. Олег Дмитриев, задавший мне вопрос, опешил, переглянулся с Николаем Старшиновым, с которым они работали вместе в отделе поэзии «Юности» на улице Воровского в маленькой тесной комнатушке, прочитал мои стихи, посоветовал выражаться не так трескуче и написал тут же записочку своему

университетскому приятелю Гарию Немченко, когда узнал, что я отправляюсь в Сибирь. С этого клочка бумаги и началась моя литературная судьба. Что написал Дмитриев, я не знаю, его записку я не прочитал, полагая, что подобное совершенно не достойно, а вот Багрицкого раздобыл и проштудировал. Когда я вручал Гарику письмецо от его приятеля, краска стыда залила мое лицо. Я готов был продемонстрировать свое знакомство с Багрицким, но Немченко ни словом не обмолвился о содержании записки. Он сразу бесповоротно принял меня в свой кружок, опекал, как мог, а однажды даже вступился за мою честь, схватив охотничье ружье. Но все по порядку! Ружье еще выстрелит…

Так вот стихи…

Совет поменьше дребезжать пошел мне на пользу.

Клены опять застыли,
Листья в ногах шуршат…
Помню, вместе были,
Помню, осень ушла.
Помню, близко тает
Лицо твое и глаза,
Помню, как вставая,
Я ничего не сказал…

Что таить? Мне жаль их, этих неразвитых подростков. Они мои дети. И пусть они, тщедушные и наивные, но кто знает, возможно, из гадких утят выросла бы пара лебедей — достаточно, чтобы обеспечить поэту бессмертие. Однако я предал их. Пожелал иметь синицу в руке. Журналистика, будь она неладна, начисто вытеснила поэзию. В голове, как трубный глас, зазвучала гражданская тема. И пошло-поехало…

Но прежде чем мы навсегда расстанемся, давайте еще немного побудем в мире рифмованных строк, непредсказуемых поворотов мысли, неожиданных находок в лабиринте, где, подобно тропинке в зарослях мелколесья, перед тобою петляет таинственный путь. На этом пути ничего из того, что загадано, не бывает достигнуто. И каждая следующая строка — открытие. И куда тебя поведет через два твоих вздоха, ты не знаешь.

Я не слежу, как время мчится,
Ведь годы не пугают нас,
Ведь жизнь, как сон, и только снится,
А наяву — не началась.
Мне скажут, будто старше стала
Моя жена? Так это сон…

Воображенье и усталость.
Все тот же сон, сознанья стон.
Раз губы — в кровь и прежний трепет
В глазах ее, жива любовь!
И впереди у нас — столетья.
И все, что было, будет вновь.

Из бригады каменщиков меня, пожалев, перевели в монтажную бригаду. В качестве ученика каменщика я заработал за месяц рублей семьсот, примерно столько, сколько составляла моя студенческая стипендия. В монтажниках пошло веселее! Майна-вира, я лихо покручивал пальцами штопором и покрикивал крановщику: давай, мол, шуруй! Тут не было монотонной работы, появился элемент разнообразия, неожиданности. То возьмешь кувалду и отправишься долбить по какой-нибудь железке, которую тебе укажет бригадир, то держишь стальной профиль, прикрывая другой рукой глаза от вспышек электросварки и чувствуя, как через рукавицу теплеет металл. Или в одиночестве сидишь, как в окопе, посреди свинороя в так называемом «стакане», в бетонном углублении, куда поставят основание колонны, и долбишь замерзшую на дне воду, скалываешь ломиком лед. Никто тебе не мешает, не задает тебе ритм работы, не маячит ничья спина и ничей зад тобою не руководит — сам себе хозяин. Или в ночную смену шлепаешь плиту за плитой, перекрываешь крышу, отчаянно перебегая над невидимой в темноте пропастью по восемнадцатиметровым балкам — и хоть бы что, только на следующий день, при свете солнца возьмет вдруг оторопь. И что существенно — за такую, вполне творческую, работу платили раза в два больше. Да я бы за те же семьсот ее делал!

Таков был реальный мир. Но он не находил никакого отражения на листе бумаги. Когда я садился за стол, в голову лезло, Бог знает что. Вдруг какая-то песенка под гитарный перебор.

Моя душа споткнулась о беду,
Растерянная, просится присесть.
Ей от метаний тяжко, как в аду.
Она — как рыба, пойманная в сеть.
Освободи ее и сеть сними.
Пускай душа — как парус в суете,
А женских глаз тревожные огни,
Как маяки, ведут ее во тьме.
Но крикнул кто-то в этом забытьи —

И донеслось сквозь утренний туман:
«Ты о своем непройденном пути
Забыл с похмелья, видно, капитан!»
Забыл, как пахнут волны и песок,
Хотя я песен всех не написал,
Не все широты в море пересек,
Не всех я чаек в небе сосчитал.
Спешу на пирс по утренней тропе
Пока тропа росу не отдала,
Чтоб высыхала, помня обо мне,
Мои следы, как слезы, сберегла…

Я так и не справился с этими «слезами» и с этой «тропою», понимая, что слезы — как раз то, что вряд ли возможно сберечь, но оставил все, как есть: как сложилось, так сложилось.

А жизнь катилась своим чередом. Антоновская площадка, где разворачивалось строительство металлургического завода, исторгала из себя все новые промышленные уродцы и уже не хотела именоваться так прозаично, в честь стертой с лица земли сибирской деревеньки. Требовалось иное имя. И тогда возникло словечко: «Запсиб». Не Гарюша ли запустил его в обиход? Загудела идеологическая печь, пожирая наши души. В ней сгорали, не мне чета, поэты с апломбом, журналисты с именем, визитеры-кинематографисты и даже маститые писатели из Москвы. Все вылетали прахом в трубу. А мы, молодые и зеленые, не хотели отстать и тоже дули в эту трубу под названием Запсиб, создавали легенду о Карижском, об особом нравственном климате стройки. У Гария, например, лучше всего получались грубоватые и одновременно нежные рабочие ребята. Ради дела они могли пожертвовать даже тарелкой весенней окрошки. Сел такой парень к столу, отстояв час в очереди, вдруг его окликом из нее выдернули. Значит, надо! И человек, не попробовав этого весеннего чуда — опять за баранку, в грязную кабину. Рассказ так и назывался — «Первая окрошка». Мы рыдали от восторга!

Какое-то время роль поэта в нашей компании играл я. Конкурентов не было. Карижский — идеолог, легенда. Он патриций, почти божество. Ему вообще ничего делать не обязательно, просто сидеть во главе стола, произносить речи, а в стакан сбоку будут плескать без задержки и восторженно слушать его бред. Лейбензон — бард, но своих стихов не сочиняющий, он превосходно владеет гитарой. Гарий в основном балагурит и пытается спорить с патрицием, играя роль мешка с опилками, в который герой всаживает свои бронированные кулаки. Емельянов

просто пьет. Работяги — статисты. Поэтов же, почитая за умалишенных, никто не обижает в такой компании. Их даже не слушают, если они сами не напоминают о себе.

Так продолжалось примерно с год. Но вот однажды моя монополия закончилась. Из Москвы приехали сразу двое — Сергей Дрофенко и Владимир Леонович, можно сказать профессионалы. И я, дилетант, переквалифицировался в «управдомы». Леонович опубликовал стихотворение в нашей многотиражке и так воспел обыкновенный обрывок троса, брошенный у дороги — свое свежее впечатление, — что я понял: моя песенка спета.

К тому же он стал моим другом.

Сперва Леонович забрал у меня поэзию, о чем я думаю с грустью. Последние строки, как вопль отчаянья, вырвавшийся из груди, я написал на Дальнем Востоке, куда меня забросила судьба: я летал на самолетах, прыгал с парашютом, изображал из себя диверсанта-разведчика, играл, как ребенок, в войну по прихоти военкомата, на весь полумиллионный город Сталинск я был единственным, кто числился по армейской специальности как военный переводчик с китайским языком, вот меня зоркий глаз и заметил, а рука выдернула. Остались стихи.

Часто вижу над городом
Белые купола,
Будто катится гордая
Поседевшая голова.
Вот чалмою восточною
Поклонилась земле.
Голубиною почтою
Горизонт забелел.
Парашюты — не шуточки —
Рассыпал самолет.
Человека под тучею,
Словно птицу несет.
А навстречу распахнута
Женской грудью земля.
Пораженная ахнула,
Обнимая меня.
Небо — та же поэзия,
В нем не каждый парит.
Ну-ка, выхвати лезвие,
Парашют распори!
Мне под куполом мякотью
Не пристало висеть.

Лучше — всмятку,
Чтобы с вами не петь…

Трудно сказать, сколько бы продолжался романтический угар на нашей сибирской стройке. Зависел ли он от общих причин, от того, что происходило в стране, или все дело было в личности нашего геракла?

Пролетело жаркое и пыльное лето, настала осень, превосходная в Сибири пора. Только-только я начал зарабатывать приличные деньги в монтажной бригаде и расплачиваться с долгами, как вдруг Карижский засобирался в Москву. Мы восприняли известие как настоящую катастрофу. Его провожали узким кругом, как-то непривычно скоропостижно. Трезвым был только я. Погрузили нашего легендарного Славу в грузовичок, покрытый от ветра фанерой, а было уже морозно. Карижский — в узком легком пальтеце, — в полубредовом состоянии. Переваливаясь с боку на бок, грузовичок тронулся, нас бросало от борта к борту и наливать было неудобно. А очень хотелось добавить. Так и ехали, временами стуча по кабине, чтобы остановить на минуту машину, разлить. Еле успели к поезду. Втолкнули комсорга в вагон.

Почему он вдруг уехал? Может, устал, и жизнь взяла свое — не век же бегать с седой головой по стройке, произносить проникновенные речи и пожимать работягам руки. Или идеологические жрецы, прослышав про наши закидоны, отозвали от греха в Москву, чтобы не пропал ценный кадр? И действительно, в Москве Карижский скоро пошел вверх. Стройка послужила неплохой стартовой площадкой, он какое-то время работал секретарем парткома Гостелерадио — при небезызвестном Месяцеве, с ним и сгорел, однако не дотла, ибо вдруг оказался в качестве секретаря одного из московских райкомов партии и уже оттуда — в директора Госцирка. Где и столкнулся с Запашным, Никулиным, цирковой элитой, традициями. Годы спустя он рассказывал мне, какая это все «мафия» и как он с ней боролся, а она его съела. Никулин, правда, говорил мне совсем другое, хватался за голову и показывал — больше жестами — какой это кошмар: иметь в цирке в качестве директора бывшего комсомольского и партийного работника. И вот уже совсем недавно я нашел Карижского в полном здравии, при новом демократическом начальстве в роли помощника самого главного в России таможенника.

Последней его успешной акцией по заморочиванию на Запсибе голов был эксперимент со мной. Мы только-только

начали жить, нормально питаться, то есть Елена впервые пошла в магазин с моей монтажной зарплатой, накупила продуктов. Рядом с нами теперь вместо богемы с гитарой Лейбензона, озабоченными девицами, пьяным шутом у ног божества со стеклянными от перепоя глазами в окружении услужливых комсомолят, появилась нормальная обстановка: многокомнатная «секция», где жило пять или шесть семей, общая кухня, где всегда что-то варилось на плите, а по длинному коридору разъезжали на велосипедиках неизвестно когда успевшие народиться детишки, но мы с Еленой укрывались в своей маленькой комнате и были, как мне кажется, счастливы.

И вдруг меня позвал к себе Карижский.

— Старик, — произнес он проникновенно. — Пойми, старичок, ты единственный, кто сможет сохранить традицию.

Глаза его смотрели печально. Глубокие тени под ними свидетельствовали о неблагополучии почек. Хроническое недосыпание и груз выпитого кривили его губы. Как можно было отказать такому человеку, тем более что речь шла о сохранении тра-ди-ции!

Из бригады я ушел в одночасье, появился в комитете комсомола. Успел пару раз вымыть пол в кабинете и прихожей, подражая Карижскому. На какой-то субботник отвез лопаты. Вот и все, пожалуй, мои дела, все, что я успел в смысле перенятая традиций. Карижского проводили. Я не представлял, что мне без него делать.

Наконец, из Москвы прибыл новый человек. Маленького роста, вежливый. Активу он не понравился. Актив ощетинился. Я вел себя сдержанно и по-человечески сочувствовал новичку.

Мы перебрались поближе к стройке в только что отстроенный административный корпус посреди промбазы, где уже возникали объекты стройиндустрии. Будущий же металлургический комбинат терялся в дымке, на его территории пока росли овсы совхоза «Сидоровский».

У нового секретаря была скучная фамилия — Качалов. С ним приехала жена, дородная темноволосая казачка, привезла детишек. Чувствовалось, что новый секретарь собирается жить основательно, без палаточного энтузиазма. В своем кабинете он первым делом поставил на стол привезенный с собой фарфоровый бюстик Ленина. На стенах появились графики нашего продвижения к «школе коммунистического хозяйствования» — именно так и не иначе. В такую школу задумал Качалов превратить нашу бестолковую стройку. В чьих головах, в каких московских кабинетах родилась идея, не скажет теперь наверное уже никто.

Всю зиму мы бесконечно заседали. Что я делал конкретно, не знаю. Но весь день крутился, говорил по телефону, принимал посетителей. По замыслу, именно я должен был идеологически обеспечить наше чудесное преображение. Однако как это сделать, я не знал. Как можно силами двух десятков активистов превратить стройку с царившем на ней сплошным бардаком в некую школу хозяйствования, пусть даже коммунистического, не укладывалось в моей поэтической голове. Я наблюдал разносы на планерках, слышал мат-перемат, который уже не резал слуха, воровство становилось привычным, а чудовищный дефицит всего и вся казался планетарным явлением, обычным, как снег зимой в наших широтах. Мы патологически не умели работать, но были мастера разбазаривать.

Качалов проработал на Запсибе год. Нет, он не был циником, иначе не надрывал бы здоровье, носясь как с торбой со своей идеей. Но в голове не укладывается, что он верил в нее. Пожалуй, он представлял собою тот тип дисциплинированного комсомольского функционера, взращенного системой, которому по сути безразлично, есть ли здравый смысл в том, чем он занимается, или его нет вовсе. Его мозги повернуты в сторону от такой логики. Человек может загнать себя, довести до язвы, измотать вконец, пожертвовать семьей ради фантомов, не вникая в суть дела, а лишь шлифуя его до блеска армейской пряжки.

Мне такая перспектива была не по душе. Надо было принимать решение. Как всегда, помог случай.

2

Была весна. Народ по поселку слонялся без дела по случаю воскресенья. Пили пиво и винцо, стояли группами на бульваре около дома культуры. Казалось, что все ожидали чего-то. На самом же деле — просто убивали время. Какие развлечения на стройке? Побродить, да поддать. Потом еще добавить. Наши комсомольские мероприятия мало кого волновали. Стройка, как и страна, переживала не лучшие времена. Жили, как в лагере: получали паек — минимум необходимого человеку. Хотя, по правде говоря, никто не ощущал себя жителем «зоны», даже не догадывался о своем истинном положении. Было мясо. Покупали водку и хлеб. На закуску — трехлитровую банку зеленых маринованных помидоров. Нехитрые сладости к чаю. Гарантированный набор, скудный, но надежный. Он нас усыпил и развратил.

Весной начались перебои с хлебом. И сам он становился все

хуже: липкий, с какими-то чужеродными добавками. Народ зароптал. Мы были искренне возмущены, что нас перестали нормально кормить. Потерявшие способность самостоятельно принимать решения и думать о себе, мы сохранили в себе биологическое право пить и есть, как пили и ели вчера. Сделав нас рабами, власть не должна была нарушать правила игры — кормить своих рабов, — но она их нарушила.

Мы привыкли к бездарному управлению стройкой. Притерпелись к накопившейся психологической усталости. Не замечали — так нам казалось — идеологической пропаганды, заморочавшей нам головы. Скученность жизни, драконовские методы понукания человеком в общежитиях, искусственное разъединение полов, когда одни живут в женских, другие в мужских корпусах. Все это и многое другое еще бесконечно долго терпел бы наш народ, не считая издевкой над собой, если бы его сносно кормили. Но хлебные очереди?

С них все и началось.

А детонатором послужила одна воскресная история.

Итак, был выходной. И я, заместитель комсорга стройки, сосватанный на эту должность Карижским для сохранения традиций нашей романтической жизни, поднялся поздно и первую половину дня проводил в домашних хлопотах, убирался, мыл полы, когда вдруг мой приятель Коля Пужевич, крепыш-боксер, появился в дверях, необычно бледный, и сообщил: «Там творится та-кое!»

Дружинники схватили пару пьяных парней, поддали им, притащили в милицию, а та добавила. У тех, кто остался на свободе, взыграл справедливый гнев, по кучкам зевак прошла волна возбуждения, люди из любопытства стали подтягиваться к зданию, где помещалась поселковая милиция. Кто-то первым кинул в окно булыжник. Когда мы прибежали, на бульваре вовсю бушевал митинг. Стекла в окнах милиции были разбиты. Внутри происходило что-то невероятное. Мы с Пужевичем пробились сквозь толпу поближе к крыльцу, на котором — на бетонных ступенях — стояли несколько парней и орали в толпу невообразимые для нашего слуха слова.

— Бей милицию! — кричал один истошно. — Не бойся, — успокаивал он, — сейчас лагеря освобождаются. Бей дружинников!

Из темной пасти помещения милиции вдруг выволокли начальника отделения в разорванной форме, его держали за руки сразу несколько человек, продолжая бить и пинать. Сорвав со стены стеклянную вывеску с надписью «Милиция», разбили ее о голову человека и куда-то его потащили.

Я огляделся. Увидел несколько знакомых лиц. Люди сумрачно наблюдали за происходящим. Иные что-то выкрикивали, матерились. В голове моей была полная сумятица. Я не знал, какое принять решение, но чувствовал: надо что-то делать. В таком же растерянном состоянии находились и Пужевич, и Коля Тертышников, комсорг одного из строительных управлений, присоединившийся к нам в толпе.

И тут вдруг у нас на глазах вслед за начальником милиции расправе подвергся безобидный пенсионер-старик, который обычно дежурил у входа на стуле, щуплый на вид, в казенных галифе не по размеру, которые еле держались на иссохшем теле. Когда стали его избивать, я бросился ему на помощь.

Через секунду я оказался на парапете, на виду у толпы. Я стоял на возвышении и видел море голов. Такого стечения народа еще никогда не было на стройке. Ошарашенные моей выходкой люди, орудовавшие на крыльце, отпустили старика и тот опустился на бетонный пол. Все взоры сошлись на мне — и тех, кто стоял внизу, и тех — я чувствовал, — кто стоял за моей спиной. Ничего глупее я не придумал, как спросить толпу: «Что вы делаете?»

Вопрос прозвучал оскорбительно, толпа завыла. Прямо передо мной, в первом ряду метались мальчишки-пэтэушники. Я знал, их положение было ужасно, их почти не кормили. И теперь эти разъяренные зверьки тянули ко мне руки и вопили: «Дружинник?.. Давай его сюда!»

Я инстинктивно отпрянул вглубь крыльца, наивно рассчитывая найти спасение среди ораторов, которые только что лупили милиционеров, но меня грубо оттолкнули.

Из толпы крикнули:

— Кто такой?

— Я замсекретаря комитета комсомола стройки! — выкрикнул я в ответ. И это стало моим приговором самому себе.

— А-а-а!!! — завыла толпа.

Пацаны заметались с новой силой, пытаясь ухватить меня за ноги. Какое-то время мне удавалось отбиваться, но сзади меня отпихивали и, наконец, двое пареньков повисли на моих ногах, я упал. Не знаю, чем бы закончилась эта история, если бы чьи-то руки не поддержали меня за плечи. Я повис на какое-то мгновение между небом и землей, раздираемый надвое. Тысячи три народа наблюдало мое парение и потом в компании я был не прочь подшутить над собой, вспоминая свою комичную позу. Но в тот момент мне было не до шуток.

Меня спасло то, что десять минут назад я мыл в своей квартире пол. Когда прибежал Пужевич, я успел надеть на босу

ногу полуботинки. И как был в легких спортивных брючках, так, накинув куртку, и отправился на площадь. Ботинки соскользнули с еще влажных ног, а за ними и штаны на резинке. И в таком непрезентабельном виде я предстал перед народом, уже не рассчитывая удержать его от опрометчивых поступков. С этого момента моей заботой было только одно: не стать добычей озверевшей толпы, дыхание которой я чувствовал. Медлить было нельзя. На помощь пэтэушникам уже спешили ребята повзрослее и покрепче, но и я собрался и был готов к схватке. В одно мгновенье я поднялся на ноги. В ту пору я был хорошо тренированным спортивным парнем двадцати пяти лет. Хаотично вылетающие из-за плечей кулаки не могли причинить мне большого вреда. Главное — не дать себя свалить, оплести себя в вязкой возне.

Не более минуты продолжалась борьба. Наконец, мне удалось вырваться. Я бросился бежать прочь. Сверкая голыми пятками по весенней еще стылой земле, пока не понял, что погоня отстала.

Кружным путем я вернулся домой, не заботясь о своем виде. Елены дома не было, она ушла искать меня. Этого еще не хватало! Оставив для нее записку, в которой я наказал ей оставаться дома и ждать меня, я отправился опять на площадь, решив на этот раз не вмешиваться в ход истории. В карман я положил внушительного размера клещи — на всякий случай.

Не пытаясь пробиться в первые ряды, я наблюдал за происходящим. Помещение милиции горело, из окон валил дым. На верхних этажах в окнах в ужасе метались люди. Толпа угрюмо дышала. День заканчивался, наступали сумерки, однако народ не расходился. Подъехала пожарная машина, ее встретили с веселыми криками, опрокинули — пожарная команда под улюлюканье разбежалась. Русский бунт — бессмысленный и беспощадный — еще и удал. Это как бы народный театр, где каждый и зритель и актер.

Из окон выбрасывали груды бумаг и тут же жгли их. В черном проеме окна появилась перекошенная физиономия, человек что-то выкрикивал, звал на помощь — то ли громить, то ли тушить пожар. Летели стулья, обрывки оконных занавесок, на мгновенье промелькнул портрет Ленина в раме — все в огонь, в костер, разведенный перед окнами.

Стемнело. Народ стал скучать и потихоньку расходиться. К тому же голос парторга Ивана Белого из репродуктора призывал коммунистов собраться у входа в дом культуры. Белый засел в радиорубке метрах в ста от здания милиции. На его призывы собралось десятка три-четыре, в основном разного рода начальство. Взявшись за руки эта группа легко оттеснила

поредевшую толпу и та без сопротивления отступила вглубь бульвара, засаженного тоненькими молодыми деревцами. Те, кто громил милицию, разбежались. Захваченными оказались двое пэтэушников — с поличным: украденным милицейским фотоаппаратом.

Постепенно я узнавал кое-какие небезынтересные факты, связанные с происшествием. Оказывается, были вызваны из города три машины с дружинниками, но остановились при въезде в поселок, не решившись продвинуться дальше. Была попытка использовать армию, но вокруг Новокузнецка, как теперь назывался город Сталинск, никого кроме ракетчиков не было. Тогда послали курсантов-связистов, поднятых по тревоге. Они отправились на барже по Томи, но сели на мель — я думаю, к счастью. Часа в три ночи, когда все угасло и даже потухли костры, на стройку на самолете прилетел первый секретарь обкома партии. Событие случилось из ряда вон выходящее и присутствие «хозяина» было необходимо. Собрался надежный народ — неизвестно откуда понабежала, понаехала вся местная номенклатура. Собрали, как положено, ночной актив. Забубнили о серьезности обстановки, стали разрабатывать безотлагательные меры. Героем дня был Иван Белый.

Когда в кромешной тьме наступившей ночи пропала, как мираж, еще час назад бушевавшая толпа, я вдруг обнаружил, что все это время оставался совершенно один. Куда-то исчез, затерялся Коля Пужевич, не видно было и Тертышникова — пожалуй, с той минуты, как я полез спасать старика-милиционера. Я с удивлением оглядывался по сторонам, всматривался в лица людей и никого не мог обнаружить из многочисленного комсомольского актива. Да куда же все они подевались?

Где наши комсорги строительных управлений, механизированных колонн, автобаз, наши дружинники? Где вездесущий армянин Жора Айрапетов с его подручными? Я никого не находил. Это было странно.

Какое-то время я бесцельно бродил в поредевшей толпе, подняв для безопасности воротник куртки. Если быть до конца логичным, размышлял я, активу следовало бы находиться именно здесь.

Не мудрствуя лукаво, я отправился домой к секретарю комитета комсомола Виктору Качалову, благо он жил рядом и, при желании, мог наблюдать происходящее из окон своей квартиры. Каково же было мое удивление, когда на мои многочисленные звонки дверь приоткрыла Мила, жена секретаря, и в образовавшуюся щель я увидел несколько лиц с глазами,

полными тревоги. Но еще большее изумление охватило меня, когда я прошел внутрь и обнаружил во всех трех комнатах десятка два людей, весь наш актив. Не хватало меня, но о моих подвигах уже были наслышаны. Виктор стоял у телефона и с озабоченным лицом, едва кивнув мне в качестве приветствия, дозванивался в Кемерово, в Москву — информировал.

— Что вы тут делаете, братцы? — спросил я не к месту.

Какие у них могут быть разногласия, думал я, с этим комсомольским чиновником, если в такую минуту они сбились в одну кучу? Да никаких противоречий! Все одной масти. Как же здесь душно, в переполненной комнате…

Я выбрался на улицу. С этой минуты я закусил удила и взял курс на расставание с запсибовским комсомолом. Традиции Карижского, которые я призван был сохранять, оказались блефом, а наши комсорги, разухабистые на пикниках, проявили себя как трусливые коты. Я и сам был себе не симпатичен, вспоминая свое позорное бегство от тех, кого мы якобы возглавляли, воспитывали и вели.

Неожиданно эта история придала мне силы и я принял решение.

Парторг Белый попытался меня задержать. Даже угрожал. Но что мог поделать этот человек? Снять с работы? Да я и сам мечтал об этом. Сослать? Дальше было некуда! Я чувствовал себя свободным, независимым человеком. Всю жизнь я боялся замкнутых пространств — пещер, маленьких комнат, низких потолков и ограничивающих волю обстоятельств. Это не раз спасало меня. Мое упрямство, болезненная жажда немедленно, сию минуту выбраться на волю — спасли меня и на этот раз. Белый кипел, желчь разъедала его печень, а я тупо глядел в пол. За окном близился вечер. Разговор затягивался, становясь все более бессмысленным. Лицо партийного секретаря посерело от надвинувшихся сумерек. Он уступил.

А через пару недель я с Гариком Немченко сидел на солнышке на лавочке около импровизированного футбольного поля, которое мы называли высокопарно стадионом, мы пили пиво из трехлитровой банки, Гарик носил ее с собой, периодически пополняя из бочки тут же, неподалеку. Мы разговаривали о том, о сем, когда вдруг увидели подъехавшую легковушку — это выездная редакция областной «молодежки» прикатила на Запсиб по своим журналистским делам.

В тот воскресный день мы ударили с главным редактором газеты по рукам: я буду по-прежнему жить на стройке и писать для газеты. О таком можно было только мечтать. Но вот денег в редакции не было. Ни одной вакансии! Разве что «подчитчик» —

пятьдесят рублей в месяц — но кто же согласится?

Я посчитал, что это вполне сходная плата за свободу.

Так я вернулся к уровню ученика каменщика, а Елена — к нищему бюджету. Да в ту пору нам было не привыкать. Изменился лишь масштаб цен: отменили сотни, ввели десятки.

3

Я оказался среди хаоса впечатлений. Они обрушились на меня подобно водопаду: события, отдельные факты, встречи, разговоры. Я прожил на стройке несколько лет и то уходил из газеты в монтажную бригаду, то возвращался назад. Перед глазами проплыло много народа: монтажники, прорабы, мальчишки-мастера и отпетые «бугры» уголовного вида, столовские тетки в засаленных халатах, местные проститутки, шорцы с выкрошившимися зубами, комсомольские сучки на слетах, наглые и развратные, дед Степан из деревеньки Старое Абашево, приютивший меня под своей крышей, бестолковый русский человек, хотя и умелый работник, и его антипод Агнюшка из тех же мест, предприимчивая бабенка, знавшая толк, кого пускать на постой — механизаторы хотя и грязь несут в дом, но зато, не мне чета, и лес приволокут, и вдовье одиночество скрасят — мои командировки, газетные разборки заинтересуют разве что профессионала. Тут нет сюжета, а есть «просто жизнь», тем более давно прошедшая. В какой уж раз я с грустью отмечаю в своем сознании: кому сие нужно?

Например, однажды я встретил старого, патриархального вида, еврея-снабженца, одетого в овчиный тулуп с натянутым сверху от грязи халатом, и оттого похожего на рыбака у лунки. Из множества карманов вываливались какие-то бумажки с записями. Снабженец живо передвигался, я часто встречал его в разных местах стройки, прислушивался к его разговорам.

— Надо знать, откуда ветер дует, — поучал старик. И тут же спрашивал собеседника: — А как ты выполняешь наша программа?

Он имел ввиду, конечно, программу партии, которая у всех была на слуху. Иногда он сердился и грозил:

— Послушай, дружочек, я найду на вас управу, я пойду у парткома, у постройкома…, — но, конечно, никуда не ходил.

Окружающая жизнь и этот еврей, неизвестно откуда взявшийся, так не совпадали, он был так нелеп на комсомольской стройке, что я его искренне жалел и иногда подсаживался к нему, говорил ему: «Здравствуйте, Михаил Семенович…» — и мы минут

десять беседовали.

— Я хочу вам что-то сказать… — шептал снабженец, радуясь возможности посплетничать, и рассказывал о том, что у него в отделе работает русский парень, пьяница, который ему совсем не нужен, а нужна ему девочка. — Я вместо этого бандита возьму девочку, у нее блат на вокзале. Если я ее возьму, я всегда буду знать, какие вагону приходят. Надо выгнать бандита и взять девочку!

Ах, Михаил Семенович! Никогда мы с тобою больше не виделись. Где? В каком дальнем космосе летит твоя душа? Я даже не знаю, удалось ли тебе прогнать того бандита-пьяницу и взять на работу осведомительницу по части вагонов.

Иногда по долгу новой службы я заходил в общежитие.

— Опять по комсомольским путевкам пригнали? — спрашивает одна молодая женщина другую, кивая в сторону новенькой, и указывает рукой на свободную койку: — На ту вон ложись!

А другая, тоже старожил, молча подходит к стене и снимает коврик над койкой — пейзаж с лебедями, уносит с собой. Под ковриком на обнажившейся известке бурые пятна от раздавленных клопов. Новенькая смотрит безразлично. В комнате беспорядок, разбросаны женские вещи, хозяйки комнаты замечают мой взгляд, начинают оправдываться:

— Раньше ребят пускали до десяти вечера, а теперь не пускают, живем, как в монастыре, не стесняемся, заросли грязью, девки по коридорам в трусах ходят.

Вечерами на танцплощадке танцуют, обнимая друг друга — до полной сплющенности. Это норма — положить подбородок на плечо симпатичной Машеньке и дышать ей в ухо. Но вот появились дружинники, заорали на какого-то балбеса:

— Что танцуешь?

— Липси!

— А-а, стиляга, да?

Суровы нравы стройки. Липси под запретом. Я теперь свободный художник. Занявший мое место идеолог устанавливает, что можно танцевать, а чего нельзя. За соблюдением правил следит безумный армянин Жора Айрапетов, командир комсомольского оперативного отряда. По вечерам он наводит ужас на весь Запсиб. Жестокий садист, он избивает в коморке отряда доставленных нарушителей. Между прочим, Айрапетов был едва ли не самым близким и доверенным лицом у Карижского, его добровольным оруженосцем. Смотрел ему по собачьи в глаза и в его собственных глазах светился восторг и искренняя привязанность. Днем он работал машинистом на

экскаваторе, по вечерам крутился около легендарного комсорга, выполняя мелкие бытовые поручения, а к ночи превращался в грозного блюстителя нравственности, скорого на расправу, тщательно обшаривая злачные места стройки.

Иногда я записывал услышанные фразы. «Спина — за день не обцелуешь». Или например: «Тарахтит, как старая полуторка» — это о женщине-болтушке. Мне казалось по наивности, что я собираю материал для будущей книги. Я старался придумывать сюжеты, коллекционировал в записных книжках все оригинальное. Город Новокузнецк, под боком которого прилепилась стройка, центр металлургии, и вдруг заказал в другом городе, в Липецке, чугунные решетки для заборов. Почему? Или вдруг к нам пришел по разнарядке памятник Суворову. Какое отношение имел к сибирскому городу генералиссимус? Причем, заказ выполнила артель инвалидов. Я помечал в блокноте: ресторан «Тополь» — появился там-то и там-то, а вот и глобальный вытрезвитель «Камыш». Не помню уже, выдумка это или имело место. Как и то, что каждое утро Елена будила меня со словами: «Какую кашку сварить? Манную не хочешь, да?»

За стеной нашей сибирской квартиры бухгалтер Леня обмывал годовой отчет. Елена работала во вторую смену. Она поступила в местный металлургический институт и теперь служила в нарождающемся доменном производстве.

Я вышел на улицу, выпил из бочки винца, которым торговали два грузина, зашел к знакомым ребятам в общежитие — там было тесно, посреди комнаты стоял разобранный мотороллер, все галдели. Один кричал другому: «Ну ты, лопух, не мешай мне в университет готовиться!» А другой ему отвечал: «Все читаешь древних греков? Лучше бы пятки помыл!» На полу рядом с мотороллером стоял таз, в него кидали окурки.

На улице около клуба я встретил его заведующего, маленького роста мужичка по фамилии Бреев. Он стал говорить мне, что русский человек все-таки понимает толк в искусстве: вот привезли на стройку японский фильм «Голый остров», так люди посидят пятнадцать минут, встают и уходят.

— Потому что зачем же столько раз показывать, как японцы носят воду, — возмущался Бреев. — Достаточно трех раз.

Я купил билет. Действительно, зрители ворчали, смеялись, многие уходили.

На проспекте Красной Армии — на том бульварчике, где недавно мрачно стояла толпа и горела милиция, теперь мирно бренчала гитара, били в бубен и ныла гармошка. Голодные голоса орали песню. Народ из клуба валил на звуки импровизированного

оркестра.

— Девки чтой-та ни даю-ца…! — кричал певец.

Я бесцельно бродил, на душе было тоскливо. Елена уехала в Москву. В новой квартире, недавно полученной, было пусто, как на японском острове: стояла садовая скамейка, принесенная мною с бульвара, на ней я и спал.

Одиночество способствует творчеству. От нечего делать я перелистывал записные книжки. Вот перл, достойный эпохи! Комендант общежития говорит работяге: «Давай военный билет за простынь!» — в качестве залога.

От общежитий веяло тоской. В красном уголке, как обычно, стоял фикус, тут же в углу зеркало, а посреди комнаты — стол с подшивками газет. На стене — список актива и обязательство комбригады. Каждый — подписчик, каждый — член профсоюза, каждый — дружинник, каждому следовало посадить три деревца и, конечно, каждый охвачен хотя бы одной формой учебы… Здесь же стенд «Им жить при коммунизме» — много-много детских головок.

А послушаешь разговоры — иная жизнь.

— Пойдем на шахты, — мечтательно говорит один работяга другому, потягиваясь в теплой бытовке, на перекуре.

— Да там законтрабачат на целый год…

— Если я еще год здесь пробуду, меня дома не пропишут.

— Ничего! Помрешь, в Сибири закопаем.

— Слушай, у нас к другу жена приехала, — разговор переходит на более приятную тему, — а койки в общаге рядом. Аж голова кружится. Не могу!

— Ладно, — прерывает другой. — Пойдем поковыряемся.

Я вышел за ними. Издали слышались обрывки фраз.

— Я книги люблю… Жульверном заинтересовался… Разные капитаны гаттерасы…

Ветер отнес конец фразы. Долетело из другой оперы:

— Да он с ней спит!

— А ты что — у них в ногах стоял?

Моя журналистская жизнь приобрела отчетливо кочевой характер. Мне не сиделось на месте. Из редакции меня скоро выпроводили подучиться в Москве — так решили проблему отсутствующей вакансии, сплавив меня почти на год ко мне же домой, на курсы повышения квалификации — так называлась эта синекура. Потом, когда вернулся, я много разъезжал по Кузбассу, но и это надоело — ушел в многотиражку к старым запсибовским друзьям. Оттуда периодически погружался в родную монтажную бригаду: на полгода, а то и на год. Я понял, что я летун, и смирился с этим. И всегда находился какой-нибудь повод —

такой, что не уйти было нельзя.

За наши грехи к нам в редакцию «Металлургстроя» назначили куратора по фамилии Шамин. Он-то меня и доконал. Он так вошел в роль редактора, что — будучи прежде простым партийным функционером невысокого ранга — теперь жаждал поля деятельности, стал приезжать в типографию читать номер.

— Запятую надо убрать, — говорил он, изводя нас. И медленно сверял слово за словом: — «… пристрастен ко всем явлениям жизни», — читал он. — Пристрастен… Как это понимать?

Я объяснял. Через минуту Шамин опять цеплялся.

— Тут у вас написано: «Тяготы…» Что это такое?

— Это трудности.

— Не-ет! Это не трудности. Тяготы — это не трудности, — уличал нас Шамин в идеологической диверсии. — Я например, не чувствую тягот. Я чувствую удовлетворение! И приказывал: — Выкиньте!

И мы вычеркивали слово.

Но иногда нас так задевали его придирки, что мы сопротивлялись, придумывали на ходу: «Нельзя выкидывать. Это „Известия“. Мы статью из „Известий“ перепечатываем…»

Шамин сдавался.

— Ну тогда… конечно.

Однако все чаще верх одерживал он. Наступили крутые времена. В Москве Ильичев произнес свой доклад, и когда волна идеологических погромов докатилась до Сибири, у нас принялись, как шпионов, отлавливать абстракционистов. Да только где же их взять? Нашли! И на областном партактиве докладывали: «Вчера в городе металлургов Новокузнецке было покончено с последним абстракционистом…» — я-то знаю, это у нас в поселке разыскали бедного доходягу, художника, работавшего в клубе у Бреева. Он писал объявления о фильмах и иногда со скуки пририсовывал что-нибудь по своей инициативе. Пригляделись: что-то не наше! Выгнали с работы и отрапортовали.

Поэтому Шамин был на коне. И требовал пояснений ко всякой подозрительной фразе.

— А что это: «… сердце отдать временам на разрыв»? Или вот: «Народ они крутой, на слово крепкий». Извините! Народ у нас не «крутой», а великий и героический.

Мне казалось, что я схожу с ума. Шамин, этот кастрат с бабьим лицом, меня достал. А перед ним на этом посту была Мария Семеновна Протос, главный запсибовский идеолог, женщина-монстр, мужик в юбке. Фанатичка, я застал ее, когда

работал в комитете комсомола. Шамин по сравнению с нею был простым подневольным работягой на идеологической ниве, мы с ним кое-как управлялись. То соглашались, то отшучивались, то дурили. Но с каждым днем нам становилось все более тошно.

— Ну как? — спрашивали мы Шамина. — Будем травить китайцев?

— А другие газеты? — терялся он.

— «Правда» дала.

— А «Кузнецкий рабочий»? — интересовался Шамин на всякий случай.

— Не успели. И мы можем запросто вставить им пистон, — заключал морячок Ябров, наш редактор в ту пору.

Но и Шамин отыгрывался, дождавшись своего момента.

— А что это у вас за Стендаль? — спрашивал он грозно, делая ударение на первом слоге. — Кого это вы тут цитируете?

Владимир Леонович, работавший тогда вместе со мной в редакции «Металлургстроя», наш первый поэт, принимал позу римского трибуна и, ощущая себя жертвой политических репрессий, картинно произносил, как предсмертное слово:

— Это не Стендаль, а Фредерик Стендаль, французский, с вашего позволения, классик. К тому же он давно умер.

— Все равно незачем, — не сдавался Шамин. — У нас своих хватает!

Довод был, конечно, железный.

Как-то к празднику газета решила рассказать о тех, кто только что вступил в партию. Среди прочих в наше поле зрения случайно попала кассирша из стройуправления, выдававшая зарплату. Мы поведали и о ней. Шамин примчался, замахал руками.

— В такой день — о кассирше! Что у нас некого принимать в партию?

— Так это вы ее приняли! — парировал Анатолий Ябров. Бывший матрос, о чем напоминала тельняшка на широкой груди, был человеком прямым, из народа. Хотя такой же графоман, как и все мы. Только Леонович признавался нами аристократом литературного дела, да еще Немченко — за упорство.

— Вы же ее приняли, — повторил Ябров, сморщив в гримасе сократовский лоб.

— Не важно! — рассердился Шамин. — Все равно писать об этом не желательно. Надо показать, что в партию идут рабочие. У нас же тут стройка. А то взяли какого-то расчетчика… Вы еще молодые, не знаете, а мы прежде интеллигенцию вообще в партию не принимали. Вызывали секретаря парторганизации и прямо говорили: «Не принимать!» А если кто и подавал

заявление, мы его культурно разворачивали… А вы — кассиршу!

Эта тема — издевательство над личностью — все более становилась ощутимой в моей профессиональной жизни. Не успев насладиться романтикой сибирской земли, я оказался по уши в дерьме. Стоило ли совершать побег за глотком свободы?

Одно успокаивало. Они — сами по себе, а я — сам по себе. Только вот профессию я выбрал себе такую, что без контактов не обойтись. Шамин находился как бы всегда рядом со мной.

Кстати, история с кассиршей, принятой в партию не в русле установки, заставила меня задуматься на эту тему. Я посмотрел вокруг: а кто вообще-то в этой партии? Кто — в комсомоле? И сделал для себя открытие. Похоже, партия и комсомол так разбухли, что стерлась граница, отделявшая тех, кто был в рядах, от тех, кто в рядах еще не был.

Я присутствовал на заседании комитета комсомола, где принимали в союз парнишку из рабочей бригады.

— С уставом знаком? — спросили его.

— Путем не успел, — признался он.

— Та-к!.. Что же спешишь? Кто тебя тянул сюда?

— Да Антонов, — брякнул паренек. — Подполковник Антонов.

— Военком что ли?

— Ну да! Меня в армию забирают.

— Когда?

— Да сегодня нужно к четырем часам… Чего волынить-то? — вдруг произнес парень и посмотрел на комитетчиков открытыми глазами: чего, право, ломаетесь? И добавил: — У меня все бумаги чистые. Меня за границу служить посылают!

— За границу! — загалдели комитетчики. — Ну это другое дело!

— Ставлю на голосование, — произнес секретарь. — Кто за?

Конечно, приняли единогласно.

Я эту картину наблюдал часто да и цифры подтверждали: вот уже восемнадцать миллионов в комсомоле, вот перевалило за двадцать пять, приближается к тридцати… И партия не отставала, растворяясь в массе людей. Жрецы и глазом не моргнули, как, в погоне за масштабами, потеряли лицо, превратив свой орден просто в массу людей с удостоверениями. Народ поглотил их организацию. Однажды критический уровень был превзойден, и обнаружить фанатика среди рядовых членов оказалось так же трудно, как найти иголку в стоге сена. Люди несли с собою здравый смысл, хитрецу, российскую лень, своим прессом выдавливая идеологические догмы, оставляя их в качестве ширмы. Все научились обманывать жрецов, как мы Шамина.

Поэтому, когда мне говорят, что кучка диссидентов решила исход борьбы, я улыбаюсь: я тоже долго ласкал себя мыслью, что такие, как я, как мои друзья — именно мы и развалили систему изнутри. Нет, она рассыпалась сама по себе. Сработал народный инстинкт самосохранения. Не надо было Шамину принимать в партию кассиршу, а в комсомол — того бесхитростного паренька. Простые люди наводнили и партию, и комсомол. Система стала неуправляемой, все обессмыслилось. А кучка старых мудаков не сразу это поняла. Не сообразила, что труднее всего защититься от собственного народа. Они хотели всех сделать похожими на себя, всех затянуть в свою контору: и охранников, и шоферов, и президентов академии наук, и пролетариев, и крестьян, и нас, графоманов. И что в итоге? Затянули. Себе на погибель.

Одиозных старцев прогнали. Откуда-то нашлась предприимчивость, не смотря на упорное воспитание лагерного иждивенчества. Откуда? Да оттуда, из прежней эпохи, из обстановки двусмысленности, когда человек вечно жил с двойной бухгалтерией в голове, двойной моралью. И должен был всегда быть на чеку, не расслабляться — чтобы, даже заснув на собрании, мог, если разбудят, сходу толкнуть речь. И если добавить привычку жить и работать в условиях хронического дефицита, бардака, воровства, взаимного обмана, коварства и лицемерия, зависти к соседу, у которого дела идут чуть лучше, привычку вырывать у власти жалкие гроши, то чего же удивляться, что наши люди оказались превосходно подготовленными к джунглям рыночной экономики по-советски, и если что и умели, так это расталкивать друг друга локтями.

4

Я упоминал, что в череде дней тянувшейся месяц за месяцем моей добровольной ссылки — или, по иному, как раз «воли» — вдруг оказался тайм-аут. Меня отправили в Москву на курсы повышения квалификации журналистов. Были такие при Центральной комсомольской школе в Вешняках под Москвой (теперь черта города).

Школа располагалась неподалеку от Шереметьевского дворца в сталинских, с колоннами, постройках желтого цвета, довольно нелепых, но теплых, а дело шло к зиме. Нас распределили по комнатам — парами. Мне для совместного проживания достался исландец по имени Ульвур Хёрвур и я скоро оценил это по достоинству. Те же, кому выпал жребий жить с монголом, страдали от специфической обстановки юрты, напарники же негров должны были сопровождать их во время лыжных прогулок, причем негры облюбовали китайское байковое белье «Дружба», приняв его за спортивный костюм, что, конечно, привлекало внимание прохожих.

Школа готовила кадры для братских союзов молодежи. Может быть, эфиоп Менгисту Мариам тоже учился где-нибудь по соседству, а потом возвратился в Африку, сверг императора-генералиссимуса и стал проводить заседания своего политбюро, положив маузер на стол.

Ульвур был совершенно другим человеком. Он уже объехал Европу, поработал официантом на судах, совершавших круизы, занимался журналистикой и ни о какой противоправной деятельности не помышлял. Москва для него была очередной ступенькой в карьере, славянской экзотикой, местом развлечений.

Исландец регулярно писал письма своей длинноногой невесте, дочке генерального прокурора, а по возвращении на родину женился на ней, забыв все, что ему напевали преподаватели-марксисты.

Для меня Ульвур стал первым человеком с Запада, с которым я мог разговаривать о чем угодно. Мы, конечно, тут же забыли установку общаться исключительно на русском языке — исландцу русский давался с трудом, а я еще не забыл институтский курс английского. В отличие от меня у моего нового товарища было два костюма — настоящее богатство, я же всю жизнь ходил в свитерах домашней вязки. На особо ответственные вечеринки я надевал один из костюмов Ульвура и в его коротком пиджаке, сшитом по моде, — к тому же Ульвур был на голову ниже

меня, — я казался себе настоящим европейцем, хотя в действительности выглядел несколько по-цирковому.

Облачившись таким образом, повязав заграничные галстуки, мы отправлялись в Москву кутить — в гости к каким-нибудь моим знакомым. Елена, которая, конечно, не осталась одна в Сибири, а приехала вместе со мною и жила теперь у родителей, присоединялась к нам, но иногда мы с Ульвуром позволяли себе оставлять ее дома и окунались, как мы тогда говорили, в «богему»: к студентам суриковского института, в их общежитие… Сложность заключалась в том, что Ульвур Хёрвур, как две капли воды, был похож на молодого Владимира Ильича, по росту, по цвету волос, с такой же бородой и курносостью и даже намечавшейся лысиной. Сходство было так сильно, что пьяные студенты в порыве творческих чувств принимались писать его, но дело завершалось всеобщим загулом, и заполночь я увозил Ульвура домой в Вешняки. Иной раз мы засыпали оба в электричке и проезжали свою станцию, долго плутали среди дач и только под утро добирались до комсомольской школы, причем последние метры я тащил исландца на себе, ругал его и срамил перед лицом мирового пролетариата. «Не хорошо, Владимир Ильич…» — укорял я его.

Потом Ульвур приударил за рыжей переводчицей по имени Изольда и все стали называть его «Тристаном».

Однажды я взял Тристана на первомайскую демонстрацию.

Мы уже прожили вместе осень, зиму и весну, привыкли друг к другу, стали приятелями и расходились только на лекции — он в одну аудиторию, я в другую. Скоро нам предстояло расставаться, чтобы уже никогда не встретиться. Мы понимали это, и было грустно. У каждого своя жизнь. Для меня всегда было загадкой: как это так — думал я — где-то будет жить человек, с которым я был знаком, жил бок о бок, разговаривал, надевал его костюм, рассказывал ему о своей бестолковой стране и слушал его рассказы об Исландии, и вот потекут годы и этот человек, исчезнувший из поля моего зрения, будет где-то бродить по миру, дышать, есть и пить, обнимать раздобревшую прокурорскую дочку, свою жену, может быть, сам станет прокурором, но я никогда не увижу его, ничего не буду знать о его судьбе, и он для меня не будет существовать, как будто его и не было вовсе. Субъективный мир моих ощущений — это все, что реально, достоверно. Остальное — внечувственный мир информации — лишь умозаключение. Только при моем соучастии он оживает, становится подлинной жизнью, как бы всякий раз заново рождается, чтобы в очередной раз умереть при нашем расставании.

Молодость философична. Я терзал себя мыслями об эгоцентричности мира. В своих фантазиях я доходил до идеи Бога, сосредоточенного в каждой личности, до образа вселенной с ядром в моей собственной голове. Я признавал мир вокруг меня как единственную реальность, которая бесспорна, а меня убеждали, что и другие люди видят мир изнутри себя, значит и я для них — внешний объект. Этого не могло быть! Тут одно из двух: или меня нет, или всех их не существует. Потому что осознать, как факт, что каждый одновременно и Господь Бог, и песчинка в Космосе — совершенно невозможно. Мир может существовать только в моих глазах — или в глазах Ульвура Хёрвура, превращенного нами в Тристана. Только в чьих-то одних глазах он может отражаться. И если он отражается в моих глазах, то Хёрвур — фантом. И когда настанет минута, когда для меня мир померкнет и его демонстрация закончится, как кончается рано или поздно самый длинный телесериал, значит этим приемным устройством мгновенно станет кто-то другой, может быть, маленький сын Тристана, рожденный его прокуроршей. Но это будет обязательно кто-то один, кто-то единственный, избранный Богом, чтобы мир вновь проявился, обрел плоть и краски, звуки и свет — возможно так наш Создатель любуется делом рук своих. Может быть, он иначе и не может созерцать жизнь — как только нашими глазами. Одного из нас.

… Мы пристроились к первомайской колонне на улице Горького и торжественно поплыли к Ильичу. Один старенький Ленин лежал в стеклянном гробу, а другой — молодой, рыжеватый, словно сошедший с картины «Ленин в Шушенском», слегка хмельной, бодро вышагивал рядом со мной, не обращая внимание на странные взгляды, бросаемые соседями по шеренге.

В рядах демонстрантов все более становился заметным ропот. На Тристана смотрели как на ряженого. Люди оглядывались на нас. Кончилось тем, что перед самой площадью нас выдернули из рядов демонстрантов. Проверили документы. Я видел: парням в штатском явно хотелось подергать бороду Ульвура — не приклеена ли?

Наконец, нас отпустили и мы прошли мимо трибун. Я шел рядом с вождем как товарищ по его сибирской ссылке, что было в какой-то степени правдой.

Иногда Тристан переключался на свою компанию скандинавов. Я отправлялся к родителям Елены, они встречали меня борщом. Я отъедался на неделю и принимался за литературные дела. Москва меня пугала, казалась кокетливой и недоступной. В редакции «Юности», куда я заглядывал, можно

было встретить тучного армянина — поэта, такого уверенного в себе, что я забивался в угол и молчал, наблюдая, как настоящие литераторы торгуют своей продукцией. Закинув эффектно гладкую ногу, поэт нагло спрашивал: «По тридцать копеек за строчку заплатите?»

Вот это класс! — восторгался я. Мои же собственные опусы, содрагаемые гражданскими воплями о том, как мы героически преодолеваем трудности на комсомольской стройке, становились мне самому противны.

Что меня потрясло зимой 61–62-го, так это атмосфера Политехнического музея, диспуты, которые тогда устраивались в большой аудитории. Самые лирические темы, собиравшие Беллу Ахмадулину, Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко, были наэлектризованы, как воздух перед грозой, политическим смыслом. Мы усматривали подтекст даже в выступлениях лирика Анатолия Поперечного, когда он выл нараспев: «Ребята, ребята, ребята… кручина, кручина, кручина…». А начинал он так: «Стихотворение посвящается Светлане, а какой — не скажу!»

Даже Алексей Сурков казался мне смелым человеком, когда говорил: «Я не буду комментировать то, что происходит на съезде, учитывая вашу природную сообразительность». И многозначительно молчал с минуту, а мы, сидевшие в раковине, помнившей, как хотелось нам думать, времена Маяковского, делали вид, что понимаем подтекст, переглядывались и улыбались заговорщически.

При этом было вдоволь истошности, надрыва.

— А мне хочется жить! — кричала девочка с прядью, зачесанной назад, как у Крупской, наверное отличница и девственница. — Я родилась, поэтому я уже счастлива.

Это были диспуты — о счастье, о любви. Девочки с бантиками, строгие мальчики в очках. Парень с длинной прядью волос, как у Махно.

— Ваша цель в жизни? — ехидно спрашивал он.

— Быть человеком! — без запинки, как урок, отвечала девочка. — И сделать что-то хорошее для людей.

— А что хуже: пьянство или увлечение западной модой? — не унимался длинноволосый.

— Пьянство.

— А что такое скромность?

— Сделал хорошее и помалкивай.

Я соглашался с отличницей, вертя головой в самом центре зала. Я даже вошел в круг тех, кто готовил диспуты, мне нравилась атмосфера кухни. Но самое интересное — это экспромт, ибо никто не ведал, куда диспут вывезет.

— Островского читаю и хочу понять: действительно ли уйду из жизни без дела?

— А я не хочу жить с драмой… Можно ли уйти без драмы?

Зал гудел, зал реагировал остро: как можно «уходить без драмы»? Это же верх мещанства!

Наконец, мы дождались скандала.

Однажды мне постучали по плечу с верхнего ряда и передали для отправки в президиум листок — я машинально взглянул на текст, он напечатан был типографским способом. Нет, это не была записка ведущему диспут.

Я вчитался — ни-че-го себе!!! Это была листовка. Антисоветская! Такую я впервые держал в руках. Я читал текст и не верил своим глазам. Мне откровенно сообщали, что я и такие, как я, — все мы болваны, которых дергают за веревочки преступники. Хрущев с его съездом всего лишь морочат народу голову, пора бы понять.

Я думал, что эта граната сейчас взорвется в руках, казалось, что все забыли о диспуте и смотрят только на меня: чего же держу листовку так долго? Не передаю! Почему?

Я соображал. Успокоился. Убедился, что никто не обращает на меня никакого внимания. Все заняты очередным оратором. Если я сейчас передам ее дальше, как передали мне, подумал я, она попадет наверняка в руки чекисту — мы были уверены, что их достаточно в зале. Хороший повод, чтобы нас прикрыть.

Я положил листовку в карман, как ни в чем не бывало, а после окончания диспута — в силу наивности, присущей мне, — показал ее членам штаба. Как своим. Почти как заговорщикам.

Каково же было мое удивление, когда через две недели, выбравшись опять из Вешняков в Москву, в Политехнический, я узнал, что штаб распущен и диспуты прекращены. А еще через некоторое время меня выдернули с занятий к ректору курсов, нашей синекуры, для беседы с товарищем, специально приехавшим, чтобы повидаться со мной. Его интересовало, кто же передал мне ту листовочку — кто конкретно. Слава Богу, мне нечего было скрывать, я никого не запомнил.

С грустным чувством я возвращался в Сибирь. Стихи мои никому были не нужны, да и мне не нравились. Ульвур Хёрвур — Тристан — уехал в Исландию, в Рейкьявик. Лавочку в Политехническом прикрыли, и я, по глупости, имел к этому отношение. Нет, что-то не так в жизни, думал я. Где опора? Где кумиры? Зачем я опять бросаю одинокую мать и еду искать свое счастье среди странных и чуждых ей людей. Она, посетив Запсиб, бродила, озираясь, по стройке, машинально слушала мои объяснения, осторожно ставила ногу среди колдобин, плохо

держась на высоких каблуках, и так и не поняла, почему я все бросил: Внешторг, карьеру, возможность жить вместе в Москве, ходить в театр, читать книги, встречаться с друзьями.

Я и сам не знал ответа на этот немой вопрос в ее взгляде.

5

Теперь мне предстояла полоса увлечения простым людом. Ничего удивительного, такова русская традиция. Мы обязательно сворачиваем на эту дорогу.

Я пристально вглядывался в лица рабочих. Прислушивался к их разговорам. Мне казалось, что эти люди мудры, а в их детской грубости достаточно беззащитности.

Утро было мокрое. Мороза не хватило, чтобы сковать землю, и грязь мягко вбирала сапоги. Звучно, со стоном, как бы нехотя, отпускала их.

Я поднялся рано, затемно. Предстояло делать материал для газеты. В очередной раз я поменял место службы. Расстался с «Комсомольцем Кузбасса», перебрался к журналистам многотиражки. Здесь не заставляли меня готовить праздничные репортажи — про первую электричку, пущенную на Запсибе. Этим занимался Миша Субботин, писавший под псевдонимом «М. Веселовский». Названия у него выходили соответствующие. Если про электричку, то — «Станция назначения — коммунизм!» И конечно, обильно цитировались речи, разрезалась ленточка, на импровизированную трибуну выходили пионеры со словами: «От имени юных сердец пионерских строителям нашим привет!» Собственно говоря, Миша писал правду — так и было в жизни. Мы все желали счастливой дороги первому запсибовскому поезду. Просто у меня было другое амплуа. Кто-то должен был выискивать на светлом челе стройки темные пятна.

На платформе у кассы — человек пять. Кто за проездным, кто — за разовым, пятнадцатикопеечным. Те, кто за разовым, норовят без очереди.

— Ну куда? Куда, хамье, не научишь вас? — останавливают их.

— Не разоряйся! Я отдал, мне берут.

— Ты у задних спрашивай… так твою, гада, мать!

— Ух! — задохнулся от неожиданного отпора молодой парень в монтажной робе. — Оскорбил бы ты меня не здесь, я бы тебе…

Я разглядел при свете фонаря, болтавшегося над кассой: не такой он молодой, тот, что без очереди. Лет тридцати.

Ругались нехотя, подбирая слова пообиднее.

Вдруг монтажник стал растерянно озираться, спросил неуверенно:

— А паспорт обязательно для проездного? Ему ответили со злобой:

— Конечно, обязательно!

Рабочий выбрался из очереди и принялся сосредоточенно складывать свои рубли. Сложил и запрятал в глубину одежд.

Чего полаялись? И верно, дети, сердитые от непогоды. До слуха долетел обрывок разговора.

— Вот, говорят, когда теленок народится… если его поднимать по два раза в день, утром и вечером, то потом быка поднимешь!

— Ага… если он тебя не задавит.

Вокруг засмеялись.

Электричка остановилась среди тумана. Я спрыгнул на насыпь. Пошел по шпалам, покрытым инеем. Светало. Я разглядывал побелевшую траву. Каждая былинка была украшена изморозью. Особенно выделялись кусты полыни — их называли «сибирской мимозой». Впереди маячили два красных глаза — поезд остановился, дальше дороги не было. Миша Субботин расстроился бы: путь к коммунизму был прегражден трубами теплотрассы, в рваных щелях которой устраивались на зиму воробьи. Туман стремился вверх, открывая панораму стройки. Где-то застучали по металлу. Кому-то не терпится, подумал я.

Впереди меня метрах в пяти шагал кто-то в промасленной телогрейке — крановщик или бульдозерист. Я обогнал его, посмотрел искоса: не молодой, наверное крановщик. На бульдозерах больше молодежь. Подобрал кусок стекла и полуразодранную метелку.

— Домой? — спросил я.

— Нет. На кран, — уточнил рабочий. Точно. Крановщик. Хозяйственный.

Крановщик свернул, спустился с насыпи и стал медленно растворяться в клочках тумана, оставшегося в низине.

Я тоже повернул к своей старой монтажной бригаде. Навестить.

В рабочей будке было тепло и тесно. Меня хлопали по плечу, толкали, предлагали переодеться и лезть наверх, на корпус, который возводила бригада.

Раскосая девчонка топила печку. Не обращая внимания на гвалт и толкотню, она сидела за столом, раскидав в стороны локти, читала пухлую книжку.

— Вот, Володя, смотри, какого кадра к нам прислали на

легкий труд! — Мой тезка Гордиенко указал на девчонку. Гордиенко — балагур и задира. Лучший бригадный сварщик. — Чего натопила-то? — напустился он на девчонку.

— Для вас, черти! — огрызнулась она. Выбралась из-за стола и отошла в угол. Тут и я заметил ее солидный живот. Ясно — беременная, оттого и топит в бригаде у монтажников. Иначе таскала бы носилки с бетоном или ворочала шпалы.

Меня отозвал в сторону тихий паренек Коля Мунгин, скуластый мордвин.

— Ты видал мою бабу с ТЭЦ? — поинтересовался он.

Я отрицательно покачал головой. Разговор наш засек Гордиенко.

— Это та, у которой два зуба, один глаз? — поинтересовался он.

Мунгин смутился. С какой-то стати заметил:

— Мы с Володькой Гордиенко ходили в столовую на ТЭЦ, там и познакомился. Я ее прошу: «Ты моему другу положь курицу». А она ему назло рыбу.

И засмущался окончательно. Отошел в сторону. А вот и местный стиляга по имени Миша. Я улыбнулся ему.

— Ты все в тридцать второе общежитие ходишь? — спросил я, вспомнив его откровения.

— Не-т, — протянул он. — Мне врач сказал, что там две трети больных.

— Вон как!

Потом поговорили о расценках на железобетон. Их опять срезали. Недобрым словом вспомнили инструктора по технике безопасности. Висит на шее у бригады, изволь его «обрабатывать».

— Мать его так! — выругался Гордиенко.

— Что ты лаешься, ему тоже кушать хочется.

— И ему, и мастеру… Да не нужны они! Начальство привыкло швыряться деньгами. Ну ответь мне: зачем нам мастер, если он сам ничего не умеет?

— Может тебе и Марк не нужен? И Фенстер? — поинтересовался я.

Марк Хиславский был нашим начальником участка. Южанин, то ли из Краснодара, то ли из Ростова, он ходил зимой закутанный в синий плащ, натянутый поверх телогрейки, напоминая побитого мушкетера, с вечной каплей под длинным породистым носом. Как его занесло сюда, этого интеллигентного еврейского мальчика, этого тихоню? Да, видно, так же, как и всех. Его — по разнарядке после института. Странным было то, что местные головорезы, не смотря на его жалкий вид, приняли его в свою компанию, не обижали. Донимал Марка Фенстер, начальник

управления. Изредка он приезжал на казенном раздолбанном «Москвиче», и если Марк не успевал спрятаться в какую-нибудь нору, мы становились свидетелями очередного разноса.

Вот и теперь дверь открылась, вошел тучный Фенстер, про которого бригадные острословы говорили, что Фенстер съел сто шницелей, и из-за его спины показалась хилая фигура Марка в неизменном плаще на рыбьем меху. Было видно, что Марк с утра уже продрог. Фенстер придирался, а Марк гнусаво, от вечной простуды, оправдывался.

Монтажников как ветром сдуло. Я забился в угол поближе к девице. Фенстер тяжело опустился на скамью, положил пухлые руки на дощатый стол. Марк разложил перед ним чертежи, но Фенстеру не хотелось в них заглядывать, он привык орать.

— Значит так, как вывод! — Заорал он без передышки. — Объявляю тебе выговор!

Марк тихо трясся, не в силах согреться.

— Надо обеспечить людей, — повторял он. — Надо обеспечить…

— Они обеспечены! — веско произнес Фенстер.

Но Марк был глуп и оттого спорил.

— Не обеспечены.

— А я тебе говорю: обеспечены!

— Чертежей не было, — уточнил Марк.

— Еще скажешь, на всякую лебедку тебе чертеж? Да?

— При чем тут лебедка? — насупился Марк.

— А при том!!! — завопил Фенстер и вскочил, опрокинув скамейку. Раскосая девица вздрогнула. Фенстер бросил на нее взгляд и с еще большей страстью закричал: — Никто не пришел, не сказал, ни один болван! — Это относилось, конечно, к Марку. — А сроки? В конце концов, почему срываешь сроки?

— Рувим Владимирович!

— Везде срываешь!

— Рувим Владимирович!

— Ходишь, как мокрая курица!

— Рувим Владимирович!

— Всё-о!

Наконец, Фенстер выдохся. Или заметил, что в будке еще двое, девчонка и я. Кивнул мне:

— Привет!.. Ну что тебе? — Это уже Марку.

— Не хватает пары дней, — объяснил Марк.

— Ну ладно! Давай к четырнадцатому. К концу дня сделай. И учти — люди у тебя есть!

Фенстер уехал. Я спросил:

— Ну что, Марик, привыкаешь?

— Да привык уже…

В тот день беды визитом Фенстера не закончились. Шум за стеной будки дал нам понять, что стряслось что-то еще. Дверь открылась и с холодным воздухом в помещение ввалилась чуть ли не вся бригада. Притащили незнакомца. Оказалось — новый инженер по технике безопасности. Подкрался, когда готовились к подъему тележки от мостового крана. Начали было пробовать, стали уже обрезать бензорезом проволоку, а он тут как тут. Выскочил из-за спины монтажника и потребовал у крановщика его удостоверение по технике безопасности. Крановщик по имени Витька доверчиво отдал, а мастер взял и вырвал талон. И хотел было уехать в контору, да тут, к счастью, появился Костыль, наш бригадир, который пропадал где-то с утра. Костыль — это достопримечательность Запсиба. Добытчик, кормивший бригаду. За пару утренних часов он успевал обегать длинными ногами три километра в радиусе и все, что нужно, обнаружить: и железобетон, и шланги, и разную мелочевку. Следом отправлялся кто-нибудь из бригады и по его наводке тащил чужое добро к себе в будку.

Костыль появился в самый ответственный момент и быстро уладил дело.

Инженера усадили к печке, подтолкнули к нему девчонку со стаканом горячего чая.

Если бы не было поблизости Фенстера, Костыль достал бы заначку и налил инженеру полстакана, но пришлось ограничиться чаем и душевным разговором.

Инженер, раскрасневшись от жары и внимания, расслабился. Девица, прикрыв телогрейкой живот, прятала свое нестандартное положение. Раскосо улыбалась. Инженер совсем сомлел. Для порядка проверил карабины на монтажных поясах. Его проводили и через полчаса начали подъем.

— С образованием, а дурак, — веско произнес Костыль ему вслед.

Да, не слишком умен. Пояса проверил, а что груз велик для крана на таком вылете стрелы, ему, выходит, до лампочки.

Поверить на слово Костылю, что он не будет поднимать — верх наивности. У Костыля на физиономии написано, что он жулик.

— Ну, Вить, давай! — Повернулся Костыль к крановщику. — Давай помалу… А то и так время потеряли.

Крановщик, чуя неладное, заупрямился.

— Да ты что, Вить? — застыдил его Костыль. — Ты что? Не в первой. Тут пять тонн, Вить. Ну, от силы, пять двести…

Наконец, крановщик, отряхнув грязь с промасленных валенок

в огромных литых галошах, полез в кабину. Устроился поудобнее. Взялся за рычаги.

Костыль напрягся. Матерясь в полголоса, повел подъем.

Я наблюдал, как артистично он работал. Деликатно покручивая двумя пальцами правой руки — как штопором, — шептал: «Вира, Витя, вира…» А то и сам кидался помогать ребятам — принять груз, не дать ему качнуться. При этом одним глазом он продолжал следить за гусеницами крана — не подались ли вверх? Если подались — тогда тормози! Иначе кран опрокинется. При таком подъеме на каждом шагу поджидают опасности. И стрелу может задрать, и гак разорвет, и самое обычное — могут не выдержать тормоза и груз пойдет непроизвольно вниз.

Костыль жестом всех отогнал, оставив около себя только опытного Гордиенко.

Я смотрел со стороны. Не работа, а настоящий спектакль. Так, наверное, всегда будет в России. Наша иррациональная сущность не принимает порядка, мы художники, нам подавай шиворот навыворот, чтобы потом воспеть загадочную русскую душу. Разве какой-нибудь пунктуальный немец совершил бы такое? Зачем ему риск, конфликтность? Это нам наплевать на Витькину жизнь. Лишь бы заработать денежку. Ради нее можно нарушать, воровать, орать, как Фенстер. Я был уверен — Костыль закончит к вечеру четырнадцатого. Кровь из носа. А что там рухнет при этом? Или обвалится потом? К тому времени, когда заработает завод, никого из нас здесь не будет.

Но работал Костыль красиво!

Обедать пошли в тэцстроевскую столовую, ту самую, где у Мунгина была любовь.

По пути рассказывали истории из жизни. Я заметил: русский человек созерцателен и от природы литературен. Обожает слушать рассказы бывалых людей. И сам с удовольствием повествует, не стесняясь приврать.

— Стой, говорю ему, а он ползет, — рассказывал Опанасенко, тоже, как и Гордиенко, хохол. — Стой, кричу, а он молчит и лезет. Я тогда дал очередь из автомата, а он все ближе. Прибежал начальник караула, я ему докладываю. Говорю: лезет! И еще курит. Лезет и курит. Пошли смотреть. Автоматы наготове. Действительно что-то светится в темноте. Подходим — пень гнилой. Я его из автомата раскрошил. Гнилушки так и горят. А я думал: диверсант. Вот стерва — еще курит!

Опанасенко в бригаде — самый положительный. Иногда он заменяет Костыля.

Армейская тема — обычная. Меняется ландшафт. Теперь

перед нами пески Средней Азии.

— Помню, похоронили секретаря ихнего горкома. Поставили памятник и к нему — почетный караул. А жара — тридцать градусов. Или сорок! Я в увольнении был, проходил мимо. Говорю им: «Что вы тут стоите, ребята, такого дурака стережете? Вы бы шли купаться». Смотрю, они и правда, поотрезали куски от черных траурных лент, сделали плавки и прыг в большой арык. Хорошо, что никто не видел, а то бы запросто могли на десять суток на губу загреметь.

— Да… В армии с этим просто.

Гордиенко дождался своего момента. Теперь его очередь.

— У нас один хохол стоял у знамени. Надоело. Закурил. Офицер заметил, позвонил начальнику караула, но чуть отвернулся, и солдат окурок в ствол. Большим пальцем прикрыл, дым выпустил. Прибежал начальник караула, обыскали солдата с ног до головы. Ничего нет! «Курил?» — спрашивают. Отвечает: нет. А карабин он держит и не отдает, как положено по уставу. Да и невдомек. Наконец, говорят ему: ладно, признайся, ничего тебе не будет. Сознался.

— И что? — спросили мы все разом.

— Дали трое суток увольнительной, но предупредили: «Смотри, еще раз закуришь, за эти трое суток двадцать суток гауптвахты получишь».

Без всякой связи мордвин Коля Мунгин произнес:

— А ураган корову может поднять. — И замолчал. Понял, что брякнул что-то не к месту.

— Ага… Быка даже, — отреагировал Гордиенко.

Но все уже с удовольствием переключились на новую тему.

— Нет, правда, — сказал образованный Стиляга. — Я читал, что смерч с водой из океана засасывает рыбу.

— А кита, интересно, сможет поднять? — мечтательно спросил Мунгин.

— Нет, не поднимет. А кран, я думаю, унес бы.

— Смотря какой… Витькин не взять.

— Конечно… У Витьки сорок четыре тонны.

— Смотри, смотри! Стрелу развернуло!..

На вопль все разом повернулись, посмотрели на витькин кран. Сам крановщик даже влез на полузасыпанную плиту. Кран как стоял, так и стоит. Гордиенко заржал, довольный. Это обычная шутка. Но время от времени покупка срабатывает.

— А вот еще я читал… — начал кто-то новую повесть. — В одном колхозе, где-то в Прибалтике, трактористы зацепили здоровый камень. Смотрят — а под ним сокровище. Бриллианты, кольца, браслеты. В средние века захоронено. Словом, ювелирные

изделия.

— А денег не было?

— Написано: ювелирные изделия.

— Государству отошло?

— В музей.

— Ясно. А то бы в колхозе три дня пьянка была.

— Думаешь, трактористы себе не поднабрали? По карману-то унесли…

— Там проверили!

— Да ну, проверили… Не по полмешку, конечно, но… А что? Дураки там, думаешь, в Прибалтике были?

— Если по-уму, то немножко можно…

— Не то время сейчас, чтобы за скулу прятать, — сделал неожиданный вывод Опанасенко. Все посмотрели на него.

Опанасенко далеко пойдет. Он учится в вечернем институте. Метит на место «бугра».

Вдруг откуда-то появилась симпатичная геодезисточка в курточке с рыжим мехом. Пошла, вертя задом, впереди нас. Тут уже не до рассказов!

— Да-а… — мечтательно протянул Гордиенко.

— Говорят, она уезжает, не может долго сидеть на одном месте, — сказал я.

— Не может долго спать в одной постели, — уточнил Гордиенко.

— А ты, небось, не против был бы! — Выпалил вдруг Коля Мунгин и сам испугался своих слов.

Все засмеялись, а Гордиенко неожиданно покраснел.

— Я вот, Коля, отбалтаю тебе уши! — строго произнес он.

При чем тут уши, подумал я. Виноват язык. Но решил, что Гордиенко прав — можно и так.

Нехотя поговорили еще. Опять вспомнили Среднюю Азию.

— Говорят, когда в Киргизию пришли первые самосвалы, был случай. Киргиз кричит: «Эй, шофер, подвези!» Тот отвечает: «Полезай в кузов!» Только, говорит, баранов привяжи, чтобы не выпали. Тот так и сделал. Залез. Затащил двух баранов, привязал. Доезжают до места. Водитель кузов самосвала поднял, киргиза выкинул, а бараны остались. Опустил кузов и уехал.

— Вранье!

— Точно! Милиция разбиралась. Киргиза спрашивали: «Какой номер машины?» А он не запомнил, отвечает: «Такой новый машина».

Гордиенко поравнялся со мной.

— Все это болтовня, Володя… А вот помнишь ли ты, как мы жили вместе в одной секции?

Действительно, было такое. Короткое время мы с Еленой обитали в маленькой комнате в так называемой «секции» на пять или шесть комнаток, с общей кухней. В одной комнатке жил Гордиенко.

— А ты там же?

— А куда я денусь?.. Вчера разгон давал, бабье наше гонял. Зинка — помнишь? — сучка такая, налетела вчера. Не жила до этого три месяца, где-то пропадала, квартирантов пускала. А жировки накопились. Надо платить за свет. Она не хочет. Говорит: «Я тут не жила!» Притащила какую-то справку, потребовала, чтобы мы ее подписали. Моя говорит: «Вот Володя придет, он будет решать». Я пришел. Говорю: «Подписывать не буду». Ох, она взъелась!.. Визжит: «Бандит, ты тут не прописан!» А я говорю: не имеет значения. Раз не жила, надо было электриков позвать, они бы розетки срезали, тогда платила бы только за свет. За одну лампочку. А то жильцы по ночам плитку жгли, грелись. Все равно визжит: «Я в отдел кадров пойду. В милицию!» Да иди! Милиция знает, что я не прописан. А штраф прислать, у них совести не хватит.

Нас догнал Коля Мунгин. Близилась цель нашего похода и, чувствовалось, ему хотелось со мной поговорить. Гордиенко спросил:

— Как ты, Коля? Эту неделю во вторую смену походишь?

— Давай, — согласился безотказный мордвин.

— Ну тогда я на два дня на зайчика, — обрадовался Гордиенко. — А если на третий день не выйду, скажи «бугру», что я отгул взял. Завтра, думаю, снежок будет, — повернулся ко мне Гордиенко, — самая охота! Хорошо бы, если бы утром, часов до семи снежок, а потом чтобы перестал. Он утром играет, а на день заляжет спать. — И поводя широкими плечами, Гордиенко зашагал, обгоняя нас, к столовой. Перехваченный в узкой талии монтажным ремнем, стройный как оса, такой непредсказуемый, он поспешил вперед, чтобы высмотреть кого-нибудь из знакомых, пролезть без очереди, а с такой, как наша, компанией этого не сделаешь.

Мы с Мунгиным остались на минуту вдвоем с глазу на глаз.

— Ну как, а? — спросил Коля.

— Чего «как»? — не понял я.

— Ну — жениться мне?

— А-а… — сообразил я. — А кто она?

— Я же объяснял: в столовой работает, сейчас увидишь. А до этого полы мыла у нас в общежитии. Старше меня. И двое детей.

— Двое? А квартира?

— Нету. Живет, как и я, в общаге.

— А дети где?
— Да где-то… У матери что ли.
— Ну, а характер?
— Да вроде ничего.
— Давно ее знаешь?
— Месяца три хожу.
— Живешь с ней?
— А то…
— Может, подождал бы… Время подскажет.
— Ты все же посмотрел бы на нее… Потом скажешь. А хочешь, она тебе два шницеля брякнет? Или курицу? Это можно!

У дверей столовой я пожал Коле Мунгину руку, пожелал ему счастья, сказал, что времени у меня в обрез — и так засиделся в бригаде, а у меня задание от газеты. Коля попрощался, расстроившись — ему хотелось показать мне свою подавальщицу. Зря я не пошел. Два шницеля — это хороший обед.

6

В тот раз я собрал материал об Алексее Федоровиче Куликове. Начальник участка на Тэцстрое, пожилой грузный мужчина — Куликов сидел в своем кабинете, выглядел скучно, обыденно. Туда-сюда шныряли посетители.

В ту пору мне казалось, что надо обязательно придумать какой-нибудь ход, сюжетец. Мы состязались в оригинальности подачи материала, и «Металлургстрой», если полистать подшивку за те годы, вполне может послужить подспорьем для тех, кто помышляет о литературной профессии. Там собрано все наше экспериментаторство.

Этими «ходами» и «поворотами» были озабочены не мы одни. Когда, спустя время, я пришел в «Комсомольскую правду», инкубатор столичной журналистской элиты, там занимались тем же. И только один-единственный журналист, Александр Егоров, царство ему небесное, поразил меня ответом, когда я, зная что он вернулся из командировки и работает над очередным материалом, спросил его: «Какой у тебя „ход“, Саша?» — ответил: «Да никакого».

И я вдруг прозрел. Вот это и есть высший пилотаж.

А в начале журналистской судьбы я считал, что надо обязательно украсить жизнь каким-то вымышленным зигзагом. И чем он будет замысловатее, тем приятнее читателю.

Поэтому я придумал «посетителя», который заходит будто бы к Куликову — разбитной крановщик — и просит перевести его в

монтажники. Там веселее, побольше заработки. А Куликов не отпускает. Паренек кипятится, требует, произносит фразу: «Имею право!» И тут Куликов в ответ задумчиво, как бы про себя: «Да где ты добыл его, это право?»

Собственно, с этого момента и начинается рассказ о Куликове. Взгляд паренька натолкнулся на изуродованную руку начальника участка. Куликов погружается в раздумье и вспоминает свою жизнь.

Все это было мне нужно лишь для того, чтобы поведать о судьбе моего героя. Я считал, что просто так рассказать о нем нельзя — это банально, обыденно. Я должен был как-то оправдать этот рассказ — так нам казалось: надо обязательно «оправдать» наше журналистское вмешательство в чужую жизнь.

Так или иначе, но в итоге я действительно поведал — хотя и в такой нелепой форме — о деревенском парнишке, прибывшем в тридцатые годы на стройку «Кизилгрэс». При этом у меня не хватило любознательности спросить Куликова — а что за стройка? Где она была? Что строили-то? Но зато добросовестно выведал, как они жили, как одни вылизывали за другими миски и как Куликову, вечно голодному парню, советовали подсаживаться поближе к семейным, так как те чуть более сыты, чем остальные, и иногда не доедают свою порцию.

И конечно, в красках описал драматический случай — кульминацию очерка, как у Куликова, уже молодого бригадира, придавило тросом от лебедки руку во время подъема, который, конечно, молодой герой не прекратил. По мысли автора, вот там, в тридцатые, добывалось «право» — мой вымышленный крановщик, казалось мне, достаточно унижен моим рассказом, но я садистски добивал его. По моей воле Куликов должен был написать на заявлении парня: «Перевести подсобником», — причем в самую плохую бригаду. И вот растерянный человек смотрел в лицо своего начальника и испытывал вполне естественные для такого момента чувства, но в очерке, по моей прихоти, он смотрел в глаза того Алеши, из тех тридцатых годов, закрытых дымкой романтики, и страдал от охвативших его чувств, как бы все сразу поняв.

Завершался очерк просто, по-мужски. Куликов, видя смущение парня, выходил у меня из-за стола, брал из рук паренька его заявление и, скомкав его в кулаке, сжимал кулак до хруста. Я так и написал: «До хруста». До боли в пальцах. Таков был символ позора поколения детей. А благородные отцы? Куликов сказал рабочему просто: «Иди на кран».

Самое поразительное, что я не слишком приврал. Было, хоть отбавляй, охотников попасть в монтажные бригады — привлекал

заработок. Такие заявления ложились на стол Куликова в большом количестве. И личная история не была выдумана. Тридцатые мне, и правда, представлялись временем достойным, «Архипелаг» Солженицына еще не был написан. Что же касается наивного антуража — таково было всеобщее увлечение.

Иногда я ввергал своих героев в настоящие приключения. Не умея разобраться в обыденной жизни, мы старались, как могли, украсить ее. В горах Кавказа, например, я уговорил начальника автобазы дать мне шофера с грузовиком, чтобы совершить рейс из Тбилиси в Кутаиси, — надо было подготовить для столичной газеты очерк о типичном грузинском комсомольце. Такого выделили — он подходил по всем статьям, был передовиком, национальным кадром. Никаких предосудительных поступков. Полная гарантия, что и в Грузии, и в Москве будут довольны. Но когда на пыльном дворе гаража резко затормозил новенький «Зил» и из кабины выпрыгнул толстячок лет под тридцать с лысой, как колено, головой, я чуть не упал. Какой же он комсомолец? Как такое лицо может появиться на странице журнала «Смена»? Но другого не предлагали — только этого! И мы поехали. И все было замечательно. И даже завернули к дедушке с бабушкой в горную деревеньку по пути, напились чачи, отоспались, потом снова пили и пели песни с половиной села, собравшейся в доме. А утром я снимал его на фоне грузовика. Снимал, закамуфлировав лысину бабушкиным вязаньем — получился лихой джигит с немыслимой конструкцией на голове.

Однажды мы уговорили машиниста грузового состава взять с собою в рейс своего юного племянника — нам надо было показать, как младшее поколение страстно желает следовать по стопам своих старших братьев. Конечно, и мы поехали в организованный нами рейс. Фотокор Петрухин отщелкал пленку, я за дорогу выспросил все, что мог, пытая угрюмого машиниста. Парнишка смотрел вперед и повторял по нашей просьбе: «Вижу зеленый!» — все, как положено по инструкции. Но нам показалось этого мало и мы попросили сбросить нас в живописном месте на границе Европы с Азией. Машинист оторопел, но согласился. Притормозил, и мы, не дожидаясь полной остановки, спрыгнули на насыпь — Петрухин со своей швейцарской камерой. Состав, вильнув змеиными сочленениями цистерн, ушел в сторону Златоуста, а мы остались в тишине, среди лета в Уральских горах. Как дети мы бегали с Сергеем, скакали, как горные козлы, по каменистым осыпям, все более удаляясь от железнодорожного полотна, постепенно забираясь все выше и выше, погружаясь в тень деревьев и выбираясь на скалистые открытые места. Мы потеряли ощущение времени. Перекусили. Сергей вдоволь

наснимал живописных видов, проходящих далеко внизу составов. Наверное, мы иногда забегали в Европу, возвращались в Азию, и были счастливы, когда вдруг услышали надсадные гудки тепловоза. И поняли, что это гудит наш. Нас отделяло от него несколько сотен метров лесистого склона, крутых и опасных осыпей, то подъемов, то спусков — мы и дорогу-то забыли, каким образом забрались сюда. Не могло быть и речи, чтобы мы успели добежать до состава. А ждать он не мог. Строго говоря, он не имел права даже останавливаться. Это было и запрещено, и чревато неприятностями — тяжелый состав в горах не так-то просто стронуть с места. Все это мы усвоили, расспрашивая машиниста по пути сюда, не предполагая, что подобные детали коснуться нас лично. Мы замахали руками — давай, мол, езжай! Но машинист остановил поезд. Он стоял минут пять, но мы не в силах были добраться до полотна и за час. Поднатужившись, тепловоз стронул с места состав, и через две минуты мы оказались в полном одиночестве под сводами елей.

Мы спустились вниз и зашагали по шпалам навстречу накатывавшей с востока ночи. Порой стены сжимались и мы втягивались в узкие коридоры с нависавшими слева и справа глыбами гранита. Над головою мерцали звезды, а сзади начинала неприятно подрагивать земля — приближался состав. Тогда мы ускоряли шаг, надеясь проскочить узкое место. Измученные, мы вышли километров через десять к станции, где нас подобрала поездная бригада, предупрежденная нашим машинистом.

По мере обретения профессионального опыта и выработки собственной линии поведения, такое безобидное трюкачество трансформировалось в привычку к риску и нестандартным ситуациям. Когда из сельской школы мы получили — а я тогда работал в молодежном журнале — тревожное письмо, крик души сельского учителя, над которым форменным образом издевалось местное начальство — и над детьми, как он сообщал, — я не стал заезжать в областной центр, как было принято, отмечаться в Облоно, а потом в Роно, прихватывать с собою соглядатая в юбке под видом строгого инспектора, а без предупреждения заявился прямо в маленькую деревянную убогую школенку. Но для этого надо было пройти пешком десять километров по двадцатиградусному морозу — иных расстояний Россия не знает. Но зато сразу на бал! То есть в учительскую, где все как есть, без прикрас. Меня не ожидали. И даже вождь стоял на подоконнике, задвинутый лицом к окну, задернутый шторой. На белой лысине бюста заметны были следы чернил: дети забавлялись игрой в крестики-нолики.

Такое никогда не обнаружишь, если не истопчешь башмаками

сельской дороги и не поставишь своих героев в обстоятельства в соответствии с замыслом.

Постепенно вырабатывалась странная привычка: даже тогда, когда я восхвалял, на мой «положительный» очерк приходил разъяренный отклик начальства. Однажды — дело было в «Комсомольской правде» — прислали «телегу» в ответ на публикацию «героического» очерка о комсорге со стройки в Азербайджане, — и я насчитал в ней семьдесят страниц документов, опровергавших мой материал. В ту пору еще не было заказной журналистики — если не считать таковой всю официозную партийную печать — не было и заказных убийств. Мы не испытывали страха, не оглядывались, не соизмеряли свои поступки с роковыми последствиями — все, что могло грозить за своеволие, так это отказ под благовидным предлогом в публикации. Безмятежное было время! Даже уволить журналиста не всегда было просто.

В этих «телегах» присутствовала, как правило, одна особенность. Все, кто сообщал мне в ходе расследования о злоупотреблениях своего мафиозного начальства, теперь с завидным единством утверждали прямо противоположное. Их «объяснительные записки» тут же прилагались. Я не сразу привык к таким разворотам на сто восемьдесят градусов трудового человека. Я все еще обожествлял его. Ругал судьбу, обстоятельства. Подверженный влиянию грубого социологизма, винил несовершенство общественного устройства. И был увлечен конструированием разумной системы управления — вот если этих поставить сюда, а тех туда, то получится замечательное общество. По машинописным листкам я изучал лекции по социологии, прочитанные Левадой на факультете журналистики в МГУ. Откровением были Гэлбрейт, Поршнев, Ян Щепаньский. Отдельная личность как бы перестала для меня существовать, она легко передвигалась, как фигурка на шахматной доске. И я силился найти для нее такое место, чтобы ей, униженной и оскорбленной обстоятельствами жизни, стало бы чуть легче.

Потом одна крайность сменилась другою. Я увлекся людьми, которым не нужен поводырь. Моим идеалом стала личность, способная по собственной воле менять обстоятельства — творить их.

Но это позже. А в том нежном возрасте, в котором я пребывал, находясь в Сибири, я еще только осваивал азы журналистики. Мир был еще прост и понятен. Тут добро, там зло, это подлость и предательство. Иногда я грустил, но чаще веселился. Зарабатывал на хлеб насущный. Любил свою жену, которая собиралась сделать меня отцом.

И все-таки одна беспокойная мысль, нет-нет, да занимала мою голову. Как же это так, думал я, мой отец, большевик с дореволюционным стажем, утверждал вот эту систему, а я — его сын — все чаще занимаюсь тем, что вставляю ей палки в колеса. Я плохо помнил отца, он умер, когда мне было двенадцать лет, но по рассказам матери — это был образованный человек, поживший в Европе. Он учился и в Берлине, и в Лондоне. Свободно говорил по-французски. У меня сохранилась фотография — крыши Парижа, вид, снятый им самим из окна своей квартиры. Шахтер из Горловки, а еще прежде — крестьянский парень с Брянщины, он вступил в партию, отвоевав войну с германцами, двадцати пяти лет от роду. Я сравнивал его с собою — мне было двадцать пять, когда я только-только стал понимать, что не туда забрел, приняв предложение Карижского стать его замом. Вот и он — в феврале семнадцатого — вполне мог в мутном утре России разглядеть не ту тропу.

Бессмысленная ошибка на перекрестке. И два поколения занимаются тем, что раскачивают лодку то влево, то вправо. Третье — мой младший сын, вообще плохо представляет, какие у нас нынче «партии» заседают в Думе. Он безразличен к сутолоке политической жизни. И ему — те же двадцать пять. А Россия, содрогаясь своим истерзанным телом, все меньше напоминает жертву заговора злых сил. Напротив, войдя во вкус, переродившись, она болезненно реагирует на все иное, все удачливое. На месте былой самобытности — утвердилось своенравие. Вместо варварской дикости, романтизированной и воспетой, — грубый беспредел хама, вооруженного вековым опытом демагогии. Это уже не причудливая стрекоза с глазами, как два солнца — существо из сказки. Это зомби, в котором заложена программа самоуничтожения. И как ему помочь, один Господь знает.

Земными стараниями мы ничего не меняем, а лишь раскачиваем лодку с борта на борт, создавая иллюзию движения. Возможно, в этом и состоит хитроумный замысел создателя мира — чтобы мы на Земле не скучали. Уродства жизни обретают порою такой отвратительный вид, что рука невольно тянется оттолкнуть их. И вот суденышко уже накренилось — и кажется, что мы плывем.

Я помню, как весною забрел на территорию яблоневого сада, заложенного еще в первые послевоенные годы, и теперь оказавшегося в черте стройки. Зеленый оазис какое-то время держался посреди изуродованной бульдозерами земли, но вот кварталы дошагали до его границ. Появился акт приемки сада на баланс будущего завода. Это означало, что ему подписан

смертный приговор.

Три гектара яблони европейской, больше двух с половиной гектаров яблони-ранета, четыре гектара малины «Новость» должны были пойти под нож. Все закорючки подписей уже были собраны.

Я приехал, когда операция началась. Деревья вырывали экскаваторами, сшибали панелевозами — а они продолжали цвести даже полузасыпанные грунтом. Смотреть на полузаваленную цветущую яблоню, как она тянет свои цветки к солнцу, а вокруг все ревет, грохочет, осыпается и матерится, — зрелище не для слабонервных.

Я ходил от одного начальника к другому, всем надоел, на меня оглядывались, как на ненормального, совали мне документы: все по правилам, сад списан.

— Вы что, молодой человек, против строительства жилья? — раздраженно спросил меня некто Фойгт Александр Павлович, заместитель директора строящегося завода.

Вот паразит, подумал я. Привык задавать вопросы. Я пошел бунтовать механизаторов. Экскаваторщик как раз примеривался, как берет его машина после ремонта.

— Как же так? — спросил я. — Ведь живые деревья!

— А что? Начальство сказало: «Проект». Я лично себе пару яблонь выкопал, в свой сад. Тут и куратор заводоуправления был, тоже не побрезговал.

Подошел мастер. Поинтересовался, о чем речь.

— Нам чертежи дали, мы свое дело делаем. Мы-то еще милостиво. А вот дома начнут строить, краны ставить, длинномеры пойдут, материалы начнут завозить, сваливать, склады разбивать, тут все искромсают. И яблони, и тополя.

Неважный был из меня агитатор. Я говорил об уникальности таких садов для Сибири. Рисовал картину апокалипсиса: разрастется завод, задымит, газы задушат поселок. Апеллировал, если не к разуму, то к сердцу и ругал начальство. Просил подождать, не добивать то, что осталось. Обещал найти управу на головотяпов. Меня слушали молча. Механизаторы в черных промасленных одеждах, стоявшие кружком около гусениц экскаватора, топтались, как вороны на снегу — на фоне белых от цветения деревьев.

Тут же приютился домишко сторожа сада. Вернее, когда-то в нем действительно жил сторож, а теперь доживали век два пенсионера. Глубокий старик и бабка, на вид помоложе. По имени тетя Катя.

— Жалко ли вам сад? — спросил я, терзая себе душу.

— Жалко, — ответила тетя Катя. — Да мы каримся. Бузотер

пришел, все поломал.

«Каримся» — это значит принимаем кару. А «бузотер» — ясно: бульдозер.

Что мог я сделать?

Написал статью, перечислив по имени и отчеству всех, с кем беседовал, назвал их головотяпами. Не обошел и генералов стройки. Мое донкихотство добавило каплю в чашу терпения, и без того переполненную. Партийное начальство нас не любило. Считало, что мы позволяем себе много лишнего. Все чаще нам ставили в пример газету времен Немченко. «Вот когда Гарик был редактором…», — говорили нам. Тогда, мол, газета была и боевой, и радостной. А теперь стала мрачной и злобной. Даже бравурные репортажи Веселовского не спасали. Ни отчеты с партконференций, ни стихи рабочих поэтов. Мы становились занозой в их собственном глазу и чувствовали: на нас катит лавина.

7

Повод для расправы не замедлил себя ждать.

Летом шестьдесят третьего года наш моряк Ябров отправился в отпуск, а я остался его замещать. Мы собрали очередной номер «Металлургстроя» и в типографию его повез Владимир Леонович, тем более что сам он написал обширную статью к юбилею Маяковского. Начало ее и должна было появиться завтра. Мы работали, что называется, ухо в ухо, мне и в голову не пришло просматривать, чего там Леонович написал.

Прочитаю в номере, решил я. Мы никогда не читали опусы друг друга заранее.

Собственно говоря, если бы я и прочитал его произведение «до того», ничего бы не изменилось. И линия жизни ни у него, ни у меня не стала бы ровнее.

Именно на это мне потом указывали: подменил принципиальность приятельскими отношениями. Ах, если бы наши идеологические пастухи знали, что я не просто «подменил», а — верх легкомыслия — вообще не читал до публикации, они бы меня тут же выгнали бы из многотиражки. А так — оставили, но объявили выговор.

Итак, напечатали мы ту статью. В ней Леонович среди прочего писал, что Вл. Федоров и А. Гарнакерьян и тому подобные идут по стопам тех, кто травил Маяковского. Цитировал стихи Евтушенко, чье имя и упоминать-то не полагалось, и в своих комментариях проводил прозрачные

параллели: преступные действия по отношению к большим поэтам совершаются и сегодня.

Всю неделю мы публиковали статью — из номера в номер. Я, конечно, к тому времени, когда разразился скандал, изучил ее досконально. Нам дали выговориться. И когда публикация последней части завершилась, городская партийная газета язвительно обрушилась на нас. Это сделал главный редактор «Кузнецкого рабочего» по фамилии Баландин, человек не лишенный литературного дара, почитавший себя интеллигентом, с землистым, каким-то пыльным лицом, этакий породистый эстет провинциального масштаба и, конечно, отменный негодяй. К тому же попивавший.

Самый, надо сказать, распространенный тип «подручного партии».

Баландин назвал Леоновича «премудрым теоретиком». В то время, писал он, когда вся страна сказала большое и теплое слово о великом поэте, в «Металлургстрое» напечатали полную заумных суждений статью под заголовком «Живого, а не мумию». Баландин уличал нас в использовании юбилея Маяковского для защиты Евгения Евтушенко. Печально известного, писал он, своим недавним грехопадением (имелась в виду «позорная» «Автобиография рано созревшего человека»). Леонович, получалось, выплеснул наружу то, что усердно хранил на задворках души. Струсил высказать прямо на недавнем совещании творческой интеллигенции города (как раз на том, где громили художников-абстракционистов), воспользовался нетребовательностью приятелей — это камень в мой огород! — и позволил себе высокопарно вещать о каком-то творческом одиночестве великого советского поэта, о какой-то «революции духа».

И уже совершенно недопустимо, считал Баландин, объявлять «узким местом» такое понятие из Программы партии как воспитание нового человека. А именно это делает Леонович. Да еще допускает связь между Маяковским и Иисусом Христом — тут я бы, по правде говоря, согласился с критиком — да чего не скажешь в запале. И самое главное: Леонович позволил вопиющую бестактность. Он, подбоченясь, — так Баландин и написал, — разглагольствовал насчет сложного вопроса об отношении Ленина к творчеству Маяковского!

Это уже слишком! Ильич — святое.

Посыпались оплеухи. На стройку приехало в полном составе бюро горкома партии (пикник на обочине) для показательного разноса. Шамину, нашему «куратору» — «на вид». Белому, неприкасаемому парторгу — было «указано».

Но основной объект их внимания — конечно, мы. В зале в качестве статистов посадили толпу пролетариев — бригадиров, мастеров. Именно для них спектакль.

Подняли Леоновича. Он рад был высказаться. Но кто-то из президиума заметил его боевой вид, понял, что сейчас эта беспартийная сволочь испортит обедню, подсказал председательствующему — и Леоновича, так и не дав ему слова, посадили на место.

Подняли меня. И конечно, отыгрались, когда услышали, что я со статьей согласен. Объявили выговор.

Мы потом размышляли: что же сердиться на них? Они, в русле своей логики, поступили правильно. Мы для них — подрывная группа. Кем мы еще могли быть после идеологического пленума шестьдесят третьего года?

Перечитывая ту статью нынешними глазами, я вижу, как наивна она была. У Леоновича и Белинский, и Чернышевский, и Ленин, и Блок — все были «…бережны в отношении к своей душе, чисты в своих принципах… глухи к мелкостям бытия и мнениям черни». И Маяковский у него был с жизнью в расчете, был затравлен, оклеветан и расстрелян врагами коммунизма. И с Пастернаком мой друг не был согласен, считая, что агитки РОСТА и Моссельпрома написаны искренне, а не «в услужение» партии.

Я не знаю, как насчет Маяковского, но в искренности Леоновича я не сомневаюсь. Надо принять во внимание и время, когда происходили события, и наш возраст.

«Партии и поэзии нужны солдаты, а не услужливые „простаки“», — писал Леонович.

Он посвятил мне стихотворение, где были и такие слова:

Неблагоразумны —
как вызов,
как выстрел —
рылеевцы,
писаревцы,
коммунисты…

Для него это был один ряд. Но его это не спасло. Баландина не проведешь. Тем более в статье были прозрачные намеки насчет обеспокоившей партийного критика «революции духа».

Леонович писал: «… чтобы она победила, потребуется переделать социальный мир… Все препоны на этом пути уже осознаны, осуждены и приговорены. Остается „только“ моральную гибель их сделать реальной».

Поблагодарим судьбу за то, что Леоновичу в тот раз не дали

слова на показательном заседании бюро горкома. Пронесло.

Через месяц Леонович уехал в Москву, а я, на зиму глядя, опять ушел в бригаду.

С отъездом моего друга что-то произошло во мне. Стройка перестала меня занимать. Окружающая жизнь все более казалась пресной, провинциальной и бессмысленной.

Я оглядывался на прожитые в Сибири годы. Вспоминал, как вслед за нашим с Еленой прибытием пришел по железной дороге огромный деревянный ящик с книгами, его погрузили на машину краном, привезли, сбросили, он раскололся, книги рассыпались по земле, люди с удивлением смотрели на «добро» новосела, а я стопку за стопкой носил в дом. До сих пор обложки книжек несут следы мытарств, передвижений, мышиных набегов.

К чему столько усилий, метаний? Сплошная головная боль для близких людей. Мать собирала нам коробки посылок, их отправляли и родители Елены — бесчисленное множество. Из дома, с берега Черного моря, из Краснодара, их родного города, любовно паковалось что-нибудь «вкусненькое». Использовалась не только почта, но и проводницы вагонов, попутчики. Все это двигалось, ехало, летело, сопровождаемое сотнями писем. Сестра Елены Софья, вышедшая замуж за моего школьного товарища — того самого, с которым мы выясняли, где лучше набираться жизненного опыта, — среди собственных проблем находила время попереживать о нас, непутевых. Мы жили далеко — за четыре тысячи километров — нас жалели, о нас вздыхали.

Зачем все это? Не прав ли был мой товарищ, оставшийся в Москве, не пожелавший растрачивать попусту столько усилий?

Что я узнал такое на сибирской стройке, чего не открыл для себя он вблизи от дома?

Все труднее мне приходилось убеждать себя: нет, мое хождение в народ протекает не без пользы.

Я застал романтический период Запсиба, оказался среди, комсомольцев одного из первых наборов, когда актив был активом, не желавшим смешиваться с городскими «аппаратчиками», комсорги ходили в солдатских бушлатах, а летом в выцветших гимнастерках, в комнатке комитета в углу стояли лопаты — воскресники шли за воскресниками, и никто не стыдился петь жизнерадостных песен. Их пели в грузовиках, пели, набившись в квартирку Карижского, пели на слетах. Со стороны незашоренному человеку, наверное, казалось, что все люди пребывают в каком-то ненормальном, приподнятом настроении, в состоянии экзальтации, под воздействием неизвестного наркотика. Но вот прошло два или три года, и я, сам живший будто во хмелю, спрашиваю себя: ради этого я уехал в Сибирь?

Невеселые мысли не давали мне покоя, когда я стоял на перроне вокзала, провожал отбывающего в Москву друга.

Трезвенника Леоновича провожали не так, как Карижского — без водки. Только Паша Мелехин, как всегда, был под газом.

Мы же, затаив дыхание, слушали стихи.

Голос поэта, читавшего их, как молитву, звучал для нас не просто прощанием — мы расставались с наивной молодостью. Куда мы зарулим, каждый из нас?

Себе вы пророчите
бури и беды.
До старости строчите
гордые «кредо».
Исполнены света,
прозрачны, глазасты —
на вас эта мета
особенной касты.
В судьбе вашей светлой
никто не виновен,
поклонники ветра,
невольники крови,
и этой наследственности
не осилить,
суровые мальчики,
дети России!

Я смотрел, как Леонович рубит в такт стихам воздух рукой, и был, несмотря на грусть разлуки, почти счастлив. Стоило уехать, думал я, чтобы самому провожать. Я ощущал себя братом этим людям, гражданам «нашей республики», как мы называли Запсиб.

Но поезд ушел. Потух красный сигнальный огонек на последнем вагоне. Поэт уехал. Я давно перешел на прозу. Вплотную подступила будничная жизнь: жена училась в вечернем институте, у меня прибавилось забот — по дому передвигался, делая первые шаги, маленький сын, мое неопределенное положение — и ни журналист, и ни рабочий — становилось в тягость, я не мог отдаться безрассудно творчеству, безденежье напоминало о чувстве долга, если само это чувство вдруг засыпало. У меня перед глазами стоял Паша Мелехин. Вот устроился, завидовал я. Теперь у него какая-то татарка Роза — буфетчица. И кормит, и поит. Я все более осознавал, что приходит конец моей полукочевой жизни. На верхнюю пыльную полку заброшены стихи, вытесненные журналистикой. И стройка вокруг все более напоминала тривиальную слободку, где

занудство советской действительности то же самое, что и в столице, только гаже. Это меня убивало. Где «республика»? — немо вопил я. В моем воображении? В стихах Леоновича?

В какой уж раз я пытался разобраться в мире, меня окружавшем.

Итак, что мы имеем?.. Вячеслав Карижский — легенда стройки. Бывший секретарь райкома комсомола из Москвы.

Высокого роста, с болезненным, но одухотворенным лицом, иной раз сумрачным. Лишь живые глаза светились теплом.

Карижский спустился на Запсиб — как инопланетянин. Его окружала крестьянская масса — демобилизованные солдаты, призванные из сел. И мы — его компания, такое же чужеродное вкрапление.

По утрам Карижский старательно чистил кирзовые сапоги. Через полчаса они до колен покрывались грязью. С восьми он уже шагал от бригады к бригаде — каждый день, все два года. Говорил он негромко, был подчеркнуто демократичен. Теперь я понимаю, что внешняя естественность достигалась постоянным внутренним контролем. Политический лидер заботился о своем авторитете, а мне его поведение казалось таким естественным. Сплошным экспромтом.

Умный и дальновидный человек, он выбирал простые и понятные цели. Не было на стройке своего клуба — бросил клич: «Построить!»

И действительно — построили за тридцать шесть дней. Я и сам, только-только начавший работать в бригаде у Петра Штернева — Костыля, которому комсомольская затея Карижского была «до лампочки», но давала возможность неплохо заработать, потрудился на том объекте.

Все было организовано, как в кино: между нами шныряли комсорги, не давая покоя, отслеживая график, машины с раствором и кирпичом стояли к нам в очередь. Мы еще только лишь монтировали фермы, а внизу уже гнали кладку каменщики Игоря Ковалюнаса, тоже москвича, разбитного красавца с голубыми глазами.

Темп был ужасающий! Штернев бросил на время пить. Он гонял нас до пота, а сам в уме судорожно подсчитывал, сколько же мы отхватим на этом клубе.

Карижский кинул на эту стройку в качестве начальника комсомольского штаба Юрия Юшкова. Тот тогда отчаянно стремился сделать карьеру, завидовал славе легендарного секретаря, и готов был расшибиться в лепешку, лишь бы выделиться — он был безумно тщеславен. И он действительно — так развернулся, такие закрутил вокруг себя вихри деятельности,

что она дала плоды: мы, работяги, ни в чем не нуждались. Юшков вытрясал душу и из рядового прораба, и из управляющего трестом Казарцева, из которого ничего вытрясти было нельзя, он сам из любого вынимал душу играючи. Юшков мелькал тут и там, кричал на всех петушиным голосом, бил кулачком по столу на планерках, его мотоцикл «Урал» носился по стройке, поднимая за собой тучи пыли.

Как бы там ни было, а клуб — уродец, больше напоминавший депо или цех, с фермами, жутко нависшими над головой, — открылся в срок.

Народ повалил в него, как дети в цирк. Что люди имели, пока не было клуба? Зеленую тоску по вечерам. Запертые в общежитиях, они пили, били друг другу морды, выползали в хорошую погоду побродить по пустому поселку, рискуя нарваться на фанатичного стража нравственности Жору Айрапетова или не менее жестокого в разборках Павла Луценко. Гора Маяковая, возвышавшаяся над поселком, была переименована в «гору Любви», но и она не могла скрасить скудную действительность. Достаточно представить всю эту убогую обстановку, чтобы понять, как обрадовались люди появлению клуба, где теперь хотя бы крутили кино. А иногда приезжали с концертом. Невероятно — но с тоски народ ломился даже на выставку «Нормандское искусство семнадцатого века», которую привезли на стройку по разнарядке и не знали, что с нею делать. Теперь все пошло под общую радость. Так на свадьбе — едят и пьют все подряд. И все довольны.

Потом в голове Карижского возникла новая идея — открыть на Запсибе филиал металлургического института. Убедил, уговорил. А ведь мало кому из педагогов хотелось ехать кружным путем — моста через Томь еще не было — через Старокузнецк и вести занятия в наспех оборудованных холодных помещениях, учить пеструю публику, не похожую на студентов. Наглядные пособия, транспорт, питание для преподавателей — масса проблем.

— Никанорыч! — звонил Карижский главному диспетчеру треста, нашему частому полночному гостю на посиделках. — Дай, старик, сегодня автобус для учителей.

Ни заявок, ни виз — все делалось на элементарной дружеской основе. При этом Карижский оставался для всех просто Славкой, мало кто знал его полное имя, не говоря об отчестве. А ведь ему шел четвертый десяток.

Он мог с каменным лицом стоять в почетном карауле у гроба разбившегося на железнодорожном переезде шофера, мог вместе со всеми сажать деревца, пить до полночи, проникновенно

смотреть в глаза, вручая комсомольский билет. Его руки сжимали древко знамени — он гордо нес его на слете, голос его в такие минуты дрожал. Лихость и штурм сопутствовали всему, как и расширенные в экзальтации глаза. А хорошо ли мы работали? По всякому. Но работа романтизировалась. Например, возили самосвалы грунт и гравий. Жижа, море грязи. Машины тонут в ней. Шофера ругаются. Сирены ревут. Народ шарахается и звереет. Но Карижский назвал объект «курской дугой». Он сказал: «Это бой!» — и бочку кваса доставил шоферам в карьер.

Все мероприятия нашего Славы носили откровенно ритуальный характер. Он не выносил серости жизни и стремился придать ей ореол необычности. Загадочности. Конечно, не без идеологического акцента, в духе эпохи. Нам все это очень нравилось. И мы в нетерпении мысленно опутывали земной шар миллионами километров проволоки, которую произведет Запсиб. Тянули ее до Луны. Может быть, таким способом мы защищались от прозы жизни? Согласитесь, мало романтики в том, чтобы каждый день видеть полдюжины портянок в прихожей, есть осточертевшие маринованные помидоры, наблюдать бестолковщину на стройке, слышать призывы экономить, экономить, когда рядом ржавеет под дождем импортное оборудование. Все эти оперативки, «втыки», простои и штурмы так однообразны и скучны. И вдруг — автопробег «Запсиб — Марс»! Противостояние планеты вооружило нашу фантазию и уже обычная работа — мы рыли траншеи под баню — начинала казаться краше. Если еще присесть в кружок и выпить по стаканчику «Анапы» (почему-то на стройке в те годы продавали исключительно это дешевенькое винцо, ставшее как бы частью нашей легенды), то жизнь предстанет совсем в другом обличье.

Вот и задумаешься — чем был Запсиб для нас?

Для Костыля — надежда вырваться из нужды. Для хитрого хохла Опанасенко — способ выбиться в люди, то есть получить образование, уйти из рабочих. Для Юшкова — трамплин в партийной карьере. Да и для Карижского, я думаю, тоже. А мы — образованный слой — журналисты, поэты, люди без профессии, вроде меня (нельзя же было рассматривать как профессию мое бухгалтерское прошлое), искатели приключений — мы рассматривали Запсиб как полигон для экспериментаторства. Прежде всего над самими собой.

Но было нечто, что присутствовало в представлениях каждого. Оно как бы объективно существовало в облике Запсиба — с какой колокольни ни взгляни.

Стройка, именовавшаяся поначалу Антоновской площадкой, а потом нареченная Запсибом, стала для нас *ситуацией отклонения*

— от нормы, от эталона, каким была совковая жизнь.

На Запсибе многое — не все, конечно, — но многое было не так. Сибирский оазис. Что-то вроде воли. Запорожская сечь. Пальмы в снегу.

А если подлинной новизны не хватало, мы дополняли ее нашей фантазией. Конструировали жизнь, которой хотелось бы жить. Фаланстер. «Республика Запсиб».

Так мы пытались прорваться в будущее, которое плохо себе представляли. Но знали определенно: в настоящем нам оставаться не хотелось. Отвергая унылую действительность, мы утверждали собственные порядки — смесь максимализма и амбиций, идеализма и выспренности. Нам нравилось, что мы не такие, как там, за рекой, в городе Сталинске. Вся страна продолжала жить в городе Сталинске, а мы — казалось нам — уже выбрались за его пределы.

Наш эксперимент, как и следовало ожидать, провалился.

Карижский, едва не спившись, измученный, покинул стройку вовремя. Гарий Немченко заперся в доме, принялся поспешно формировать свое литературное лицо, в меру улыбчивое, в меру правдивое, рабоче-партийное и соцреалистическое. Передовик Игорь Ковалюнас, которого пестовал еще Карижский, выжимал из нового комсорга последние соки. Как красную краску из знамени. Рассаживал бригаду в комнате комитета комсомола — по периметру стен, прямо на полу, сам выходил на середину, снимал картинно шапку, швырял ее на пол и матерился. «Чем работать? — кричал он. — Где кирпич? Где раствор?» И тогда уставший от бесплодных усилий навести порядок на стройке начальник комсомольского штаба Николай Гробов, активный, но малообразованный, хватал поспешно телефонную трубку и кричал в нее: «Иванов! Отдай машину с кирпичом Ковалюнасу! Почему-почему… Я тебе говорю: отдай! Мне виднее…»

Легенду надо было питать.

Но уже все шло прахом. Происходило уничтожение возведенного замка. То бунт — с огнем и мордобоем. То аварии одна за другой. То сад, о котором я хлопотал, стирали с лица земли. То художников гоняли взашей. То нас, журналистов. Общественная, личная жизнь, производство, природа — все перекорежилось, подтверждая закономерность: беда не приходит одна.

Игорь Ковалюнас комнату оклеил почетными грамотами — столько мы ему их навручали. Переходящее красное знамя, как домашняя утварь, стояло за тахтой. Передовик из передовиков, которого как Деда Мороза возили чуть ли не по детским садам, пошел в разнос. Купил легковушку, посадил девчонок из бригады

и на полной скорости врезался в бетонную опору, на которой держалась арка с надписью «Запсиб — ударная комсомольская стройка». Через несколько лет я встретил его в Москве. Он шел прихрамывая — память о той аварии. Работал он антикоррозийщиком на техстанции. Рассказывал, что деньги идут сами в руки, но и работа — не приведи Господь. «Тут Клондайк», — пояснил он. Я спросил: а жена, дочка? Игорь отмахнулся: «А-а… Водкой в Сокольниках торгует…»

Я понял — это не та жена, не сибирячка, не красавица-блондинка из его бригады. Та, когда Игорь неожиданно укатил в Москву, погибла. Сперва спилась, потом ее видели в компании с нашей местной чемпионшей-велосипедисткой, ревниво оберегавшей красотку от мужских взглядов. Говорят, она ее и убила и сама выбросилась с пятого этажа. А где дочка, очаровательное дитя, я не знаю.

Трагические повороты личной судьбы роковым образом повторяли уродливые изгибы социальной жизни.

Учительница Эрастова обнаружила в трех километрах от стройки, в заброшенной деревеньке, где с незапамятных времен жили бок о бок русские и телеуты, парализованную девочку. Русские, жившие в деревне, все как один, носили фамилию Поросенковы, а телеуты — Коргачаковы. Аня, так звали девочку, была записана как Коргачакова.

Рядом грохотала великая стройка. Ключом била жизнь. А в жалком домишке лежала без движения девочка — не училась, не знала большого счастья. Примерно так размышляла учительница, воображение которой рисовало нелепость ситуации. Контраст разросся до небывалых масштабов, когда учительница пришла к нам в редакцию многотиражки и горячо поведала о своей находке.

Первым слушателем Эрастовой оказался Владимир Леонович. Почему именно он, не знаю, но только неспроста.

Леонович, по природе своей гуманист, человек, не способный обидеть муравья, писавший на полном серьезе: «… если негра убивают в Алабаме, то я к убийству этому причастен», — именно он первым слушал Эрастову и в этом проявился рок. Судьба таинственно предпосылала Аню Коргачакову нашему поэту. Вручала ее в его добрые и чистые руки.

Сколько он о ней писал!.. Как могуче раскачивал тяжелый язык колокола — народной запсибовской щедрости. Ходил в бригады, читал стихи, убеждал: «Надо помочь девочке!» Приводил нетленные примеры. И добился: шофера автобазы взялись над нею шефствовать. А заработанные на воскреснике деньги передали к нам в редакцию для покупки для Ани путевки в Саки.

Это был красивый почин. Аня — лучшая запсибовская легенда. Школьники приходили к ней вместе с учительницей. Аню зачислили в школу. А язык колокола все раскачивался нами, и колокол все звонил — редкий номер обходился без заметки на эту тему. Мы продолжали тревожить сердца людей. Уже и центральные газеты разведали о таинственной находке под боком у комсомольской стройки. Все новые трудовые коллективы желали приобщиться к шефству. Аня же, обездвиженное дитя забытого Богом вымирающего сибирского народца, демонстрировала нравственное здоровье нашей молодежи. Да что там — всей советской системы. Ее упоминали в докладах комсомольские и партийные секретари.

Шло время. Аня подрастала. Все так же безнадежно сидела в постели с подушкой за спиною — теперь уже в новой квартире, предоставленной для пользы дела. Она привыкла каждый год отправляться в Крым. И обиженно надувала губы, когда путевку задерживали. А добиваться путевок было непросто. Сменялись комсомольские секретари, передавая телеутку, как эстафетную палочку. И каждый новый, принимаясь хлопотать, уже плохо осознавал, почему он должен этим заниматься. И преподаватели все хуже понимали, почему они должны бесплатно год за годом учить. А тут еще очередная волна энтузиазма втянула в процесс студентов вуза и преподавателей — Аня стала и их почином. И одновременно — обузой. Ее рассматривали как откровенную «нагрузку».

Сама же она не без искусства играла предложенную роль.

Настала пора, когда имя этого человека стали произносить с тяжелым вздохом.

Леонович негодовал. Он писал из Москвы гневные письма Запсибу. Газета их печатала. Поэт увещевал, находил меткие слова, но воспитательный почин все более увядал в атмосфере новой жизни. Стройка была озабочена собой. Лишь несколько друзей еще хлопотали вокруг Ани.

Я встретил Аню много лет спустя, когда ей было за тридцать. Я приехал на Запсиб в командировку от столичного журнала и с удовольствием навещал старых знакомых. Аня жила все в той же квартирке. Полулежа, она ловко вязала шерстяную шапочку. Парадокс состоял в том, что шапочка предназначалась для жены комсомольского секретаря — какого конкретно, не помню. Этот промысел давал добавок к пенсии, но на этот раз Аня старалась не ради денег, а рассчитывала, что жена секретаря замолвит словечко, и ей помогут с путевкой или какой-нибудь ссудой.

Мать ее умерла. Собственная личная жизнь не сложилась. Аня рассказывала, что полюбил ее рабочий парень, носил на

руках — в буквальном смысле слова. Конечно, попивал горькую сверх меры. И однажды разбил ее инвалидный «Запорожец», соседи же накачали ее: «Не оставляй так, пусть заплатит!» В итоге — свое вернула, а мужика потеряла, своими руками упекла в тюрьму.

— Все было… — горько покачала она головой. — Почин был. Заботились. А теперь бросили.

И капризно, как ребенок, надула губки.

Так сидели мы с ней, беседовали. Аня пошарила рукой за кроватью, изогнулась, достала бутылочку, уже початую.

8

Возвращаясь в бригаду, я сразу оказывался в мире без рампы и софитов, заученных мизансцен, без символов и героев. Здесь действовали антигерои. Штернев кричал мне, что я для него нахлебник, не способный сам себя обработать, и ему придется меня кормить, а ничего нет — ни шлангов, ни рукавиц… Он по-прежнему, до хрипа в горле, спорил с Марком Хиславским, закрывая вместе с ним наряды, пытаясь выцыганить лишнюю копейку. Он был нашей нянькой, заботился о нас, все время был в движении, что-то вечно воровал, возвращался в будку кряхтя, жалуясь на старые кости. Кому-то мимоходом помогал, что-то подтаскивал. И без конца орал благим матом. С виду бестолковый, суматошный, он все отлично знал — где находятся многочисленные звенья его бригады, разбросанные по стройке, чем заняты, постоянно менял нас местами, как полководец, одних направлял туда, других возвращал, манипулировал, отлаивался на наш лай, колдовал, но к концу месяца наскребал в самый мертвый сезон «на молочишко», как он выражался.

Жердеобразный, с изможденным, вечно красным от холода и водки, помятым лицом, напоминавшим старую, заброшенную скворешню, с маленькими хитрыми и злыми глазками, темным провалом рта и двумя рядами стальных зубов — настоящий Костыль, не зря окрестили. Петр Штернев стал для меня подлинным символом Запсиба.

Так то — для меня.

Его всегда отодвигали в сторону, стоило в бригаде появиться корреспонденту. Да не дай Бог, с фотоаппаратом!

Наша бригада никогда ни с кем не соревновалась. За нас это делали в конторе. Там сравнивали наши цифры с цифрами других бригад. Мы же просто зарабатывали себе на жизнь, стремясь, по-возможности, еще приписать себе кое-что. Костыль был большой

мастер по этой части.

В один из дней у нас особенно ладилась работа. За ночь мы перекрыли плитами большую бойлерную. И вскоре нам сообщили, что по итогам соревнования нам присудили первое место и даже переходящее красное знамя. Бригада отреагировала безразлично. Мне же, заведенному всей предыдущей запсибовской гонкой, показалось, что такое событие надо отметить. Не банальной пьянкой, а как-то возвышенно. Столько работаем вместе — и ни разу не собирались в домашней обстановке. Все на ходу — по стакану… и разошлись.

Я сказал, что квартира есть. Соберемся у меня.

Пришли прямо с работы, заглянув по пути в магазин. Сбросили брезентухи, разулись, раскидали портянки в прихожей. Елена смотрела на нас, улыбаясь. Увидав Елену, монтажники растерялись. Елена была красива, а тут еще принарядилась. Петро Штернев чуть не умер со страху. Ворчал, что все это зря. Надо было раздавить по-быстрому где-нибудь в подъезде. И по домам.

Комната наполнилась запахом пота и бензина. Гордиенко сунулся к полке с книгами, дотронулся до корешка рукой — осторожно, как до стеклянного. И не взял — из вежливости. Ничего не трогали. Толпились посреди комнаты, вокруг стола.

Наконец, сели. Стаканов на всех не хватило. Костыль налил себе в пустую консервную банку.

После второго стакана пошел треп о жизни. Кричали: «Фенстер гад!» Костыль кривлялся, говорил, что он знает — я его не уважаю. Потом заспорил с Гордиенко.

— Опять ты, — кричал Костыль, — вчера грелся на солнце! Кепку на глаза надвинул, падло, и лежит…

Костыль поворачивался то к одним, то к другим, ища сочувствия. Падал на тахту, показывая, как лежал Гордиенко на балке на десятиметровой высоте.

— Я его пнул ногой, он даже не пододвинулся. Я ему говорю, уйди хоть с высоты, скройся куда-нибудь и лежи. Так нет! Ему надо на балке… Я на фронте «тридцатьчетверку» водил. У меня нога сломана в Темиртау. Я монтажник! А он кто? Сопляк! И он передо мною лежит…

Костыль какое-то время еще кипятился, но его плохо слушали, разговор раскололся, потек по углам. Каждый наливал себе сам.

— А я женился, — признался тихий Коля Мунгин, лопоухий, как зайчик, о котором все мечтает красавчик Гордиенко.

Я мыл посуду, Елена убирала со стола. Нужно им знамя, рассуждал я, как негру валенки. Вот посидели — нормально.

Странно, думал я, что Карижский не тронулся умом — с

этими его закидонами. Бочки с квасом доставлял в карьер, руки по ночам бегал пожимать… Его преемник Витя Качанов, тихий незлобивый человек, вызывавший у меня симпатию, сделал первый робкий шаг по разрушению мифа, но тут же сам нагородил: охватил всю стройку штабами, завесил стены графиками и диаграммами, пообещав кому-то в Москве превратить Запсиб в «стройку коммунистического сознания».

Ни шага у нас — без этих хоругвей. Опять мы рапортовали. Складывали, умножали — и рапортовали. Делили, вычитали — и снова рапортовали.

Через год Качанов уехал с сердечной болью. Уехал в Крым начальником лагеря «Спутник» — на заслуженный отдых.

А прораб Тарасенко (можно подумать — одни хохлы населяли стройку), когда мы с ним разговорились на больную тему, сказал:

— Жить надо без трёпа.

Я согласился. Только не получалось.

9

Мастерами «трепа» были мы, журналисты.

Значение «Металлургстроя», крошечного средства массовой информации, первым среди нас понял Карижский. С максимальной выгодой для себя и для дела он использовал дружбу с пишущей братией.

А Шамин, дремучий партийный бюрократ, спрашивал меня: «Вы с кем-нибудь советуетесь, когда пишете? Оговариваете?» — ему не дано было управлять нами даже тогда, когда его сделали нашим куратором.

Карижский и Иван Белый делали это с большим искусством. Белый производил впечатление честного и скромного работника низового партактива. Не карьерист. Коммунист «с человеческим лицом». Ходил в телогрейке и кирзовых сапогах, как и мы. Редко повышал голос. Косил глазом, изуродованным на фронте. Не думаю, что Гарий Немченко сделал его одним из своих литературных героев из примитивного расчета. Но, читая теперь опусы моего товарища, не могу отделаться от чувства неловкости.

Я запомнил Немченко в неизменной связке с другим журналистом — постарше нас — Геннадием Емельяновым. Худой — вид язвенника — узколицый блондин, остроумец и балагур. Раз пять за день он кричал петухом, разгибая спину над столом. Или изображал Буратино воплями: «Папа Кар-р-ло!» Острый длинный нос помогал ему в этом. А коронный номер — это песенка под гитару Лейбензона. Собственно, их было две. Я слышал их еще в детстве, когда жил в районе Сухаревки. Но тут, в Сибири, они были окрашены по особому.

Стою я раз на стреме,
Держу в руке карман,
Как вдруг ко мне подходит
Незнакомый мне граждан.
Он говорит: братишечка,
Могёшь меня свести
Туда, где мы с тобой
Могли бы время провести.
Он говорит: в Марселе, брат,
Такие кабаки,
Такие там девчоночки,
Такие коньяки.
Там девушки танцуют голые,

Там дамы в соболях,
Лакеи носят вина,
А воры носят фрак.
Потом он предлагал мне деньги
И жемчуга стакан,
Чтоб я ему передал (ударение делалось на втором слоге)
Запсибзавода план.
Мы взяли того субчика,
Отняли чемодан,
Отняли деньги-франки
И жемчуга стакан.
Потом я этого субчика
Отвел в НКВД.
С тех пор его по тюрьмам
Я не встречал нигде.
Меня благодарили,
Жал руку прокурор,
А после посадили
Под усиленный надзор.

Но любимая песня была другая. Емельянов исполнял ее жалостливо, не сразу, куплет за куплетом, а с перерывами. Споет куплет — и молчит, читает мою заметку, вычеркивает лишнее. Я сижу в уголочке редакционной комнаты, жду. Вот опять запел…

Течет речка по песочку,
Бережочек моет,
А молодой, а инженер
Начальничка молит:
«Ты, начальник мой начальничек!
Отпусти до дому.
А надоело мне, а… (что-то такое, не помню)
Жить в тоске-печали
Парню молодому».
(А начальник ему отвечает)
«Нет, нет-нет, не отпущу тебя,
Здесь работать будешь.
А поработаешь годок-другой
И про дом забудешь».
(Молодой инженер настаивает…)
«Ах, начальник мой начальничек,
Грудь тоской сдавило.
А как умру я, а как погибну я,
Не простившись с милой».

(Не помню всю песню, но финал ее каждый из нас примеривал на себя)

Умер парень, умер молодой,
Пусть грустит молодка.
А знать сгубила, а добра-молодца
Грусть-тоска, да водка.

В зависимости от настроения в финале могла быть «селедка».

Если Гарий и стал писателем, то благодаря Емельянову. Или вопреки ему. Они состязались: кто кого перепишет. Как, впрочем, и кто кого перепьет. Все чаще Гарий вырывался вперед. Но и Емельянов старался. Написал роман «Берег правый» (Запсиб расположился на правом берегу Томи, ниже по течению, а на левом — город и старый КМК) — как и положено, с рабочими людьми, парторгами и комсоргами. Если бы не моя лень, я бы, наверное, тоже внес вклад в общее дело. Немченко корил меня, дарил свои книги с надписью: «Работай!» — но я безнадежно отставал от бегунов, занятый сиюминутными журналистскими хлопотами.

В противовес этой удачливой паре обособилась группа странных личностей. Центром ее стал Владимир Леонович. На Запсибе в это время наступила пора духовной переналадки: Карижский, его лидер, уехал, на его место прибыл козлик с грустными глазами, не способный собрать вокруг себя никого, кроме функционеров. Емельянов перекочевал в город, Лейбензон окунулся в производство, да и тоже готовился к отплытию в теплые края. К тому же они вряд ли смогли бы всерьез привлечь молодых людей нового призыва, появившихся на Запсибе, вслед за мной. Гарий женился, заперся дома, «кропал» своего «Галочкина…» Возник некий вакуум лидерства. Не одному мне хотелось кому-то поклоняться… Леонович и заполнил этот вакуум.

Он создал литобъединение. Собрал вокруг себя графоманов, вроде меня, но я в него не вошел. К тому времени я уже полагал себя профессионалом, газетчиком, стихи писал редко и никому их не показывал.

Среди публики, окружавшей Леоновича, было несколько интересных людей. Приходила, например, старуха с палочкой, прямая и несгибаемая во всех смыслах — Мария Матюшина. Рассказывала о своей фантастической жизни. Что в ней было правдой, не знаю.

— Жгли меня электричеством, — говорила старуха. — Каганович жег! Опять меня сегодня вспоминали Цыбин и Останин!

Стихи же она писала совершенно потрясающие. Я запомнил лишь несколько строк.

Белогвардеец вздернул шашку
Над головой
И взмахом отрубил фуражку
И разум твой.
Глава кудрявая летела
И что-то вслед
Кричала громко,
Что хотела,
Оставив след…

Заходил рыжий Копылов, то ли бетонщик, то ли мастер. Веснушчатый, с красными кистями рук, похожими больше на клешни вареного рака. Он привязался ко мне — или ему нравилась Елена — и часто заглядывал к нам, как всегда, не кстати. И стихи он сочинял — про водку и про баб. И даже написал пьесу, которую читал нам громко и азартно. И был вечно пьян. Хотя иногда, стесняясь, заявлял: «Сегодня я не зайду, я выпивши».

Колоритной фигурой был Павел Мелехин. Он называл себя «всероссийским поэтом» — именно всероссийским, а не всесоюзным. Паша был по-есенински светел, бесхитростно-лукав. Очень русский, с торчащим хохолком на макушке коротко стриженой головы, неприхотливый, вечно в долгах и неустроенности. И конечно, под хмельком.

Промелькнул, как звездочка, в нашей жизни Сергей Дрофенко. Приехал, поработал в «Металлургстрое», — скромный, красивый человек, и уехал, чтобы через несколько лет нелепо погибнуть в ресторане ЦДЛ. Когда я возвращался с Запсиба в Москву, я вез для Сергея честно заработанный им кусок металла первой запсибовской домны — сувенирную чугунную отливку, — но не успел передать. Так она и хранится у меня — как грустный знак непредсказуемости нашей жизни. И тут же книжечка его стихов, выпущенная товарищами после его смерти.

Может, счастья и вовсе не будет.
Только пусть, прилетев на заре,
Меня птицы веселые будят
и живется друзьям на земле.

Леонович и Дрофенко приехали вместе. Оба серьезные, правильные, они на голову возвышались над всей нашей братией. Может, только Паша мог состязаться с ними… Но он был совершенно другим человеком. Матрос Ябров, наш редактор, поручал ему очередную тему, и Паша никогда не смущался — писал о чем угодно. Газета служила способом пропитания, а для души Паша находил другие сферы. В отличие от Леоновича, трибуна и философа, он был лириком, а лирику все простительно. Паша Мелехин завел себе для облегчения жизни татарку Розу, работавшую в буфете, и теперь пил вволю молоко, которое обожал не меньше, чем водку. На людях Мелехин подшучивал над Розой, учил ее иностранным словам, а «иностранным» для нее была половина русского, и Павел говорил: «Она у меня стеснительная».

Или просил:

— Роза, дай половник! Я половником буду есть, как рыцарь. Рыцари ели большими ложками.

Роза беспрекословно выполняла все пьяные прихоти Паши.

— Роза, сбегай в магазин за бутылкой!

— Он закрыт, Павлик, на обед с двух до трех.

— А ты в буфете возьми.

Однажды я спросил Мелехина:

— Зачем ты морочишь ей голову иностранными словами?

— Развиваю.

Он пристально посмотрел на меня, понял смысл моего вопроса.

— Нет, я ее люблю. — И не кстати добавил: — Жить-то надо!

А жить Паша перебрался вместе с Розой в квартирку приятеля, временно свободную. Я помогал перевозить небогатый багаж.

— Целый день дома сидела, не могла увязать, — ворчал Паша. Пнул ногой выскользнувшую из узла вазу, та отлетела на голый лед, разбилась. Мы собирали распадавшийся на части старый диван. Когда выносили последние вещи, в дверях встала полногрудая девица, соседка Розы по многолюдной «секции», преградила дорогу, не стыдясь распахнутого халатика.

— Ну ты давай, Паш, заходи… Паш, а?

На улице Мелехин мне сказал:

— От нее коровой пахнет.

Мы тряслись в машине, но езды-то всего квартал. Я держал на коленях елочные игрушки Розы. Первым делом Роза повесила в черном проеме пустого окна горшок с вьюнком. Нет, думал я,

бравирует Мелехин, Роза для него не просто так.

А через пару месяцев мы отправились с Пашей в больницу. По-наивности, я не сразу понял, что с Розой.

— У вас тут Хайрулина должна быть? — обратился Паша к сестре в санпропускнике. — Вчера вечером поступила.

Та порылась глазами в тетрадке, подтвердила:

— Да есть!

— Ну как она? Не померла еще?

— Как вы сказали? — оторопела сестра.

— Как пройти к ней? Через какой подъезд?

Они стояли рядышком на третьем этаже больницы. Роза — в халатике и шлепанцах, прижалась к Пашке. Он шептал ей что-то. Мне за стеклом дверей не было слышно.

— Чего с ней? — спросил я, когда мы вышли из больницы.

— Да все какие-то выкидыши.

Он уехал со стройки так же неожиданно, как и появился на ней. Отправился в родные края — в свой Воронеж. И Розу — чем всех нас удивил — увез с собой. Она последовала за ним, преданно, как мать, заботясь о нем.

Мы виделись редко. Уже в Москве — иногда Мелехин появлялся в редакции, где я работал, занимал деньги, но всякий раз — даже и через много месяцев, отдавал. В памяти осталась такая сцена. Мы шли по сибирскому поселку, возвращались из редакции многотиражки, переходили из магазина в магазин, но водки нигде не было, а Паше не терпелось выпить. Тут Мелехин вспомнил, что есть еще один магазин — как раз он о нем писал в газете.

— Пойдем!

— Не стоит унижаться, Паша…

— А… брось. Пошли!

Мы пошли в магазин, прямо к директору. И тут Паша выскреб мелочь, пересчитал. Немного не хватало.

— Дай еще тридцать копеек, — обратился он ко мне.

Я протянул ладонь. Паша скрупулезно отсчитал ровно тридцать, две копейки оказались лишними, Мелехин протянул их мне обратно, но одна копейка выскользнула из пальцев и упала в снег. И тут Паша опустился на колени и стал ползать по снегу, не смотря на мои уговоры не делать этого.

— Нету, — виновато повторял он, — нету! Куда-то отлетела… Таким он у меня и остался в памяти — на четвереньках на грязном снегу среди окурков. Молодой, непутевый, странный русский поэт. Немного он прожил. Пришла весть: в Воронеже, в самую душную брежневскую пору, бросился с высокого этажа вниз головой. Только смерть разорвала его узы с татарочкой

Розой, которую он, без сомнения, очень любил.

Я процитирую его стихи, взятые наугад из книжки.

Меня гнетет судьба ведра,
С которым по воду ходил я.
И цепко пальцами худыми
Таскал его я у бедра.

И о колодезный о сруб
В свою коротенькую бытность
Оно все билось, билось, билось,
В железный превращаясь труп.

И ныне, словно инвалид,
С сырою папертью помолвленный,
Оно под всякими помоями
Угрюмо в уголку стоит…

Неужто и моя судьба, —
Вспоив колосья и турбины,
Пройдя колодцы и глубины,
Поставить в уголок себя?!

Под сплетни — про мои грехи,
Под взгляды — умненько сощуренные,
Под чье-то мелкое сочувствие,
Под «охи», «ахи» и «хи-хи».

Нет, это не подходит мне.
Я — не ведро. И — не тупица,
И постараюсь отцепиться
И вовремя, и в глубине.

Редела наша редакция… Наконец, настала пора, когда матрос Ябров, как и положено капитану, остался на корабле один.

Об Анатолии Яброве говорили, что он кремень, на нем можно затачивать топоры. Чувство долга он понимал, как надо, никогда никого не подводил, тянул лямку, не любил пижонов. Слово «пижон» для него было ругательным.

— Опять пижоны приехали, — сообщал он, встретив меня на перекрестке бесчисленных временных дорог, опутывавших стройплощадку.

Это означало, что в редакции появились московские гастролеры. Журналисты из какой-нибудь центральной газеты.

Ябров выкладывал им на стол подшивки «Металлургстроя» и, как правило, этого было достаточно для не слишком любознательных. Редкий «пижон» отваживался отправиться в самостоятельный поход дальше комнаты редакции.

Жил Ябров бедно. Но как человек неприхотливый, он мог пересидеть перебои с деньгами на одной картошке. Труднее давались профессиональные неприятности. Ябров — это как бы наш местный вариант Максима Горького, с поправкой на время. Он тоже проделал над собою гигантскую работу, наверстывая то, что мы, шутя, получали в детстве и юности. Он не менее упорно, чем наш Гарий, просиживал штаны над рукописями, но лишенный его обаяния, не мог поладить с издательством, с областным отделением писательского союза, с литературными журналами — никто не хотел его издавать. Сравнивая их творчество, я вижу: Ябров не уступал Немченко во владении словом. Но один печатался, а другой все точил, точил свой рубанок. Как тот плотник, которого спрашивают: «Когда строгать будешь?» А он отвечает: «Да еще подточу». Все переделывал свои повести, переделывал… Реагируя на каждый редакторский чих. Потом плюнул, вообще залег, как медведь в берлогу, на годы. Так и тянулось, пока, наконец, не сдвинулось, не напечатал своих «Стриженных», повесть о молодости.

В редакции Ябров выполнял всю черную работу. Успевал написать репортаж с места события, да еще постоять смену с метранпажем у талера в типографии.

В личной жизни у него было как будто все благополучно. Он не любил распространяться на эту тему. Как вдруг рассказал мне — годы спустя, когда мы повзрослели, — что его обалдуй, его сын, вернулся из армии, не успел оглядеться, как обнаружил в своей постели девчонку.

— Я ему говорю: дурак, — кипятился Ябров. — Ты хоть посмотри вокруг. Какая красота! Какие люди ходят. Поговори с ними. Что ты сразу под юбку полез к первой встречной? Одичал в армии! Я же понимаю, — сокрушался Ябров. — Теперь мне восемнадцать лет выплачивать за него алименты. Потому что ясно же, что он с нею жить не будет.

Говорили мы с Ябровым и на темы, которые обозначены в этой повести. Об Ане Коргачаковой, о Леоновиче.

— Все началось просто, — вспоминал наш морячок. — пошли поглазеть, что за телеуты. Все заварил Леонович, а другие клюнули. Сострадание присуще людям. Ну и забили головы этой Аней. Забота о больной девочке-телеутке отвлекала от заботы о здоровых. Так вот и на кита нападают — кидают бочку для отвлечения. В путевках-то нуждались все, да и не только в

путевках. В питании, в отдыхе, в нормальном рабочем дне, в культурном обслуживании. В ДК стояли вышибалы, двери не успевали новые вставлять… А тут эта Аня! Ах, как трогательно. Типичный способ уйти от проблем большинства. Это был просто привилегированный инвалид, не имевший никаких заслуг, кроме человеческого права, то есть права человека, попавшего в несчастье.

— Ты жесток.

— Нет. Я хочу, чтобы заботились обо всех людях, а не об исключительных. Забота об Ане была аномалией для Запсиба. На самом деле Запсиб был бесчеловечен. Лишь «давай-давай». Заботиться — это не норма для власть имущих. И когда поддержка Леоновича иссякла, исчезла и забота. Потому что заботиться о человеке было чужеродно для Запсиба… Ну куда, скажи, куда деть себя здесь человеку? Летом в домино подолбят. А зимой? Зимы же в Сибири длинные. Я тоже хочу почувствовать себя человеком, посидеть под фикусом…

— Ну, у тебя и представления о барстве!

— А что ты смеешься? Хочу посидеть в кафе. В каком-нибудь таком клубе. Пообщаться хочу. А где? В ресторане «Дружба»? Туда в субботу без звонка не суйся.

— А нынешние комсомольские вожаки?

— А-а… — Ябров махнул рукой. — Помнишь, ты ездил в Кемерово. Привез знамя Кузнецкстроя из музея? Вручили его тут одной передовой бригаде. И потеряли. Где знамя? Нет знамени! Приходят из райкома в редакцию, говорят: «Давай дадим объявление…» Вы что, мужики? Если в части потеряют знамя, часть расформировывается. Говорю: ваш райком надо ликвидировать!

— Нашли?

— Музейщики, кажется, нашли его и опять к себе забрали. Это была моя последняя встреча с сибиряком Ябровым. Он тогда особенно бедствовал. Мы ели картошку, которую морячок сам сообразил на какой-то подливе. Пошли пройтись по поселку. В мои планы входило заглянуть к одной запсибовской даме, заведующей столовой, которая знала все обо всех.

Таисия Варфоломеевна вышла к нам навстречу, улыбнулась, морщинки испещрили лицо. Стала вспоминать, как привезли ее на Запсиб, как выложили приказ: принимай столовую! Столько людей перед глазами прошло. Вот Слава Карижский. Придет в столовую — и все вокруг сияет. А Качанов приехал и словно на стройке темнее стало или кто-то умер. Сухарь, бюрократ. Уже не звали на воскресник: «Девочки, пошли!» Только поздоровается вежливо: «Здравствуйте, девочки». И ходил — в желтых

тупоносых ботинках.

Я слушал Таисию Варфоломеевну Лапшину — знакомая песня…

— Да-а, — вздохнула она. — Многие теперь уже покойнички.

— В каком смысле? В моральном что ли?

— Почему в моральном? Просто умерли. Жизнь-то идет… Жизнь, действительно, не прекращалась. Таисия Варфоломеевна еще повспоминала немного, но то и дело звонил телефон, Лапшина брала трубку, лицо ее мгновенно менялось, а голос суровел. «Да… Да, говорю! Да нет же!» — бросала трубку, пыталась опять повествовать, разминала в душе своей воск умиления, но теплоты не хватало.

Лаконично закончила — как отчет:

— Шесть школ обслуживаем. Горячее питание. Почти стопроцентный охват. Была недавно комиссия. Понравилось! — уточнила Лапшина.

Мы сидели с Ябровым у приоткрытой двери. Моряк молчал. За дверью изредка возникал какой-то шум, кто-то проходил, мелькали белые халаты. То одна девица с подносом шмыгнет в соседнюю комнату, то другая. Лапшина оглядывалась, заметно нервничая. Наконец, наступил, как видно, ответственный момент. Разгоряченная официантка, румяная, принаряженная, с подносом, на котором дымились парком зразы под шубой жареного лука и стоял графинчик с водкой, влетела к нам и прямо к Лапшиной за указаниями.

— Таисия Варфоломеевна…!

Но та махнула рукой — прочь! Коротко сказала:

— Неси! Сама обслуживай… И к нам с улыбкой:

— Так о чем я рассказывала?..

— Мы вас отвлекаем, Таисия Варфоломеевна? У вас гости?

Бедная Лапшина! Всю жизнь между прилавком и задней комнаткой, где управлялась в основном сама, обслуживая местную власть. Вот и теперь в прошмыгнувшей тени Ябров узнал местного кагебиста. Все тут побывали. И писатели. И их герои. Как-то и мы с Немченко получили у Лапшиной дефицитное в ту пору пиво — целое ведро нам подняли из подвала на грузовом лифте. Гарий был большой охотник до пива.

— Вы пообедаете? — спросила Лапшина неуверенно.

Я посмотрел на Яброва, но тот решительно взялся за плащ.

— Спасибо, Таисия Варфоломеевна, — сказал я. — Мы сыты.

— Ну, может, пивка по стаканчику?

— Да нет, спасибо! — отрезал Ябров.

Ну вот, подумал я, обидели женщину.

Посмотрел на широкую спину морячка. Понятно: честь

дороже. Ладно, будем уважать выбор человека. Где-то он теперь плавает?..

10

Работая в «Металлургстрое», мы развлекали себя розыгрышами и мистификациями.

Очередной нашей мишенью стал поэт Василий Журавлев, создатель монументальных полотен о советской действительности. Однажды под рубрикой «Лирические строки» мы пожелали доброго пути его однофамильцу, простому пареньку и — как ни странно — тоже Василию. Так и написали: «Сегодня мы выносим на суд читателей стихи молодого железобетонщика Василия Журавлева».

Придумали ему биографию.

«Родился он в 1937 году в Хакасии. Окончил школу, отслужил. Работал сапожником, но потом жажда нового, неизведанного, собрала его в путь-дорогу… Писать Василий начал уже здесь, на Запсибе. Мечтает поступить в литературный институт. Его стихи подкупают непосредственностью чувств. Правда, зачастую они подражательны. В них чувствуется влияние поэзии его однофамильца, большого советского поэта Василия Журавлева, автора поэм „Енисейская новь“ и „Весна коммунизма“. Но впереди — годы упорной учебы. Доброго тебе пути, Василий!»

Предпослав прозрачное напутствие нашему фантому, особо обратив внимание на год его рождения и на влияние на его стихи его маститого однофамильца, мы предложили на суд читателей такое стихотворение.

Наш народ
Упорно идет вперед.
Сегодня бетонщик я —
Завтра на Марс полечу.
Любое дело
Мне по плечу.
Вижу: работать идут
Шеренгой мои друзья.
Мы — вдохновенный труд.
Все мы — одна семья.
Первый колышек
забивал
Здесь старший товарищ

мой.
Сегодня он в рядах
запевал.
И мне говорит он:
— Пой!

Нам показалось этого мало. Не достаточно убедительно просматривалась связь с поэзией однофамильца. Тогда мы создали еще один шедевр железобетонщика Василия Журавлева.

Молчаливы и грубы
Красноярские «Столбы».
Чу! То ль песня,
то ли плач?..
Под сосной сидит косач.
Даже птицам не до сна —
Разлилась кругом весна.
Вдалеке во всей красе —
развесенний Енисей.
А над ним горят огни —
Это ночи, это — дни.
Это — новая весна.
К ней шагает вся страна…
Молчаливы и грубы
Красноярские
«Столбы».

Вот теперь, подумали мы, достаточно.

Бдительный Шамин ничего не заметил, никакого подвоха. Но обиднее всего было то, что и московский классик молчал — наверное, ему понравились стихи молодого железобетонщика 1937 года рождения (а мы постарались, чтобы газету Журавлеву доставили).

Владимир Леонович, автор мистификации, загрустил и, уже всерьез, написал мрачное послание, которое я храню с его автографом.

Как в сказке,
Чересчур зловеще
зло прошлых лет. Оно — как диво…
Куда реальнее и резче
сегодняшние рецидивы
и скромные переизданья

того, что низменно и подло.
Малейшие напоминанья
больней того, о чем мы помним.
Они подтекста и значенья
исполнены…
Крепись, художник:
новейших зол предощущенье —
вот что воистину безбожно!

Я ответил ему зарисовкой, выражавшей мое настроение.

За окном посеревший, побитый,
Как арена потрепанный
мир.
Не дождаться мне в нем
Аэлиты.
Как слезами,
дождями залиты
крыши.
Рвутся антенны в эфир.

И кажется, поставил точку на собственном поэтическом творчестве.

11

Однажды я получил письмо от живого классика. От писателя-сатирика Леонида Ленча. Мы были знакомы еще в Москве. Я побывал у него по протекции моей тетки, показал ему стихи. Ленч, интеллигентный человек, посоветовал мне перейти на прозу. А его жена, московская писательская барыня, популярно объяснила выгоду такого перехода.

— За рассказ, если его напечатают, вы получите 300 рублей. А за стихи? Ну подумайте, сколько вы получите вот за этот свой стишочек? — Лиля Борисовна поморщилась.

Ленч смотрел на меня, уезжавшего в Сибирь, как на героя. В сердцах он, от полноты чувств, пообещал приехать в командировку — писатель должен изучать жизнь! Я наивно поверил и, спустя время, написал ему письмо, сообщил адрес и изложил два-три сюжета, кое-какие истории, услышанные на стройке. Я писал, что в одной из бригад — как раз в бригаде Игоря Ковалюнаса — объявилась некая Рая Бурова, существо

совершенно необычное — убежала из семьи сибирских кержаков, то есть староверов, из-под Салаира, словом, из мест экзотических, где на «железном заводе» ковали для всей России кандалы и куда в тех кандалах и ссылали. Я живописно обрисовал заимку в тайге, угрюмых старцев, суровые порядки и гордую и непокорную красавицу-сибирячку, в одиночку противостоящую патриархальной старине.

Письмо так взволновало столичного классика, что он всерьез решил: надо ехать в Сибирь. Он посылал мне письма с запросами — что взять с собою, есть ли гостиница и аэропорт?

Наконец, было намечено время приезда.

И вот в один из летних дней мы привезли Ленча к нам в редакцию. Посадили на стул посреди комнаты и долго разглядывали его, как заморское чудо. Он был в светлом плаще, гладко выбрит, улыбался зубастым ртом и тоже с интересом разглядывал нас.

Ябров принес новенькие кирзовые сапоги и свежие портянки.

— Эх! — воскликнул радостно Леонид Сергеевич. — Давненько не надевал я сапог.

И лихо принялся навертывать портянки. Но годы взяли свое, рука забыла, как надо манипулировать портянками. Ленч их отбросил, натянул сапоги, похрустел ими, потопал по полу, попружинил, поприседал, выглянул в окно, где разливалось море грязи, и сел опять на стул, сказав:

— А знаете, друзья, стоит ли куда-то идти… Давайте их сюда!

И жестом конферансье пригласил публику к себе — на стул напротив.

Делать нечего — слово классика: закон!

Мы побежали по стройке загонять к Ленчу народ.

Ему все казалось пресно, ему нужна была Рая Бурова, кержачка. Надо было организовать доставку молодой каменщицы в редакцию. Но тут вмешивалось одно обстоятельство. Ради красного словца, желая потрафить старшему по литературному цеху товарищу, я преувеличил истинные достоинства нашей Раи. Она была совсем не красавица. Может быть, даже наоборот. Дело вкуса. Суровая девица с тяжелым взглядом на скуластом лице. В безобразном комбинезоне.

Наконец, она предстала перед ним.

Рассказ ее так потряс писателя, что он простил мне мою ложь. Но зато потребовал, чтобы я помог ему в поездке в Салаир. А именно туда, в тайгу, разыскивать отца Раи, ее мать, решил отправиться Леонид Ленч.

Только этого нам не хватало! Что будет делать в тайге рафинированный интеллигент, привыкший читать свои салонные

полуанекдоты с какой-нибудь сочинской эстрады?

Делать нечего, стали готовиться к поездке.

Я не знал, как писатели собирают материал. Я делал лишь первые шаги в журналистике. «Материал» располагался вокруг меня — за ним никуда не надо было специально ехать.

Но тут особый случай, решил я. Понаблюдать за настоящим писателем, увидеть, как он будет работать — от такого грех было отказываться.

К моему удивлению в назначенное утро к гостинице, где остановился Ленч, подъехала новенькая «Волга» — заказанное им такси. Я понял, что Ленч круто берет быка за рога. В тайгу никто еще здесь на такси не ездил.

К тому же — где Новокузнецк и где Салаир? Тут сибирские расстояния.

Мы проезжали один за другим небольшие шахтерские городки. Перешли с асфальта на гравийный тракт. С двух сторон к нам угрюмо подступали вековые деревья. Наконец, добрались до районного городка Гурьевска, где решили переночевать. Оттуда предстоял бросок до Салаира.

В городке нас ждали. Оказывается, Ленч обо всем побеспокоился. Была заказана гостиница. Ленч небрежно продемонстрировал свое крокодильское удостоверение, да в этом и не было нужды, нас встречали почитательницы литературного таланта сатирика, две сморщенные старушки и местный чиновник. Старушки умильно лицезрели московского гостя. Нас разместили в номерах старенькой, но крепенькой деревянной гостиницы, а потом повели в зал особнячка купеческих времен, где собралась публика. И даже я ощущал на себе теплые взгляды.

Ленч добротно прочитал несколько своих рассказов, артистично изображая персонажей, которых он бичевал. Скалил в улыбке большие, выступающие за границу дозволенного, зубы (народ не деликатно называет такие «лошадиными») — и вдруг сообщил, что вместе с ним в поездке молодой московский поэт, временно пребывающий в длительной сибирской командировке.

Старушки, как по команде, повернулись в мою сторону. Я прочитал стихи и мне похлопали.

Вечер завершился дружеским ужином в компании местного партийного секретаря. А утром Ленч поведал мне свой план.

Оказывается, мы отправляемся на санэпидемстанцию, берем там бонифатора — специалиста по энцифалитным клещам — облачаемся в защитные костюмы и под видом проверки тайги на зараженность энцефалитом заявляемся на заимку к старику Бурову. Тот, конечно, в панике — сейчас будут опылять — а у него пчелы, и чтобы от нас отвязаться, охотно рассказывает все,

что знает.

Я подумал, что Ленч спятил. Но московский классик был не так наивен, как казалось мне. Он за ночь обзвонил пол Гурьевска, поднял на ноги всех необходимых ему людей, и теперь утром нас ждал в вестибюле местный милиционер, немолодой мужчина, внешне, как две капли воды, похожий на артиста Филиппова в роли Кисы Воробьянинова, а рядом в потертом кресле расположился худощавый молодой человек в спортивном костюме — секретарь горкома комсомола.

Все вместе мы отправились на санэпидемстанцию, где с раннего утра весь персонал стоял на голове — приезжает классик!

Ленч не зря придумал вариант с проверкой на клещей. Он убивал двух зайцев: и «крыша» появлялась, оправдание для нашего визита, и вполне уместная забота о собственной безопасности. Путешествовать летом по тайге, да без прививки — не самое безопасное занятие.

Защитные костюмы были уже готовы. Нам изложили краткие сведения о клещевом энцефалите. Лаборант по имени Рудольф, выделенный для похода, готов был своим телом защищать тело писателя.

В машине по пути в Салаир я читал брошюрку про эту мерзость.

«Клещи относятся к существам, — сообщалось в ней, — обладающим малой подвижностью. Поэтому они скопляются вдоль троп и дорог, где встреча с прокормителем наиболее вероятна…» — прокормитель — это я, или белотелый полноватый Ленч. Пожалуй, они предпочтут его. — «…К кровососанию прибегают самки. Самцы редко пьют кровь и в небольшом количестве". — Все, как у людей! — „…Кровососание длится 4–8 дней. За это время клещи-самки увеличиваются в объеме в 80–120 раз“». — О, Господи! Я по достоинству оценил опыт писателя союзного значения. Он все предусмотрел! Нас будет сопровождать бонифатор Рудольф и лично снимать с нас клещей. Комсомольский секретарь обеспечит связь с общественностью, а милиционер заляжет в засаде неподалеку от логова староверов — на всякий случай, чтобы чего не вышло.

Когда мы прибыли в Салаир, «разведка» донесла, что старик Буров сейчас не на своей заимке в тайге, а как раз торгует медом на местном базарчике. Ленч, показалось мне, растерялся — рушился его план. Но милиционер предложил заявиться на базар и нахально купить у Бурова медку, и тут подойдет он и проверит у приезжих документы и громко скажет: «О! Товарищи из Москвы? Из общества охраны природы? Интересуетесь нашей тайгой? А вот, кстати, и таежный житель свой мед продает.

Поговорите с ним, он много интересного расскажет…»

Ленч опешил. Но, подумав, оценил сообразительность милиционера.

И вот мы действительно заявились на базар, нашли Бурова, без труда вычислив его по рыжей, лопатой, бороде. Подошел милиционер — и все устроилось, как нельзя лучше.

Через два часа мы оказались в глухой тайге за высокими деревьями и метровой стеной травы, за стенами, будто специально сложенными из упавших елей — да еще за забором заимки и под надзором свирепого волкодава по кличке Постой.

Поскольку план изменился, милиционер остался в Салаире, а с нами к Бурову отправились комсомольский секретарь с мелкокалиберной винтовкой и бонифатор — без него мы ни на шаг.

Расшифровал ли нас Буров, не знаю. Рассказывал он охотно. Горе переполняло его душу и старик рад был распахнуть ее даже перед первым встречным. Мало — дочь сбежала. Она еще с новыми дружками заявилась на заимку и выкрала двух девочек-сестер. Одну — совсем маленькую. Обезумевший Буров пустился вдогонку на стройку, оглядывался вокруг, шарахался от ревущих самосвалов, искал дочерей. Потом он пытался объясниться со старшей дочерью — ладно, мол, ты отрезанный ломоть, Бог тебе судья. Но маленьких отдай. Мать от горя умирает. Нет, не согласилась Рая. И Ленч в своей повести нашел образ: нашла коса на камень — и назвал повесть: «Кержацкая кровь». Старик упал перед дочерью на колени, просил, и когда, наконец, увидел младшую, то просто взял ее за руку и повел к автобусу. Но не тут-то было! Налетела вся бригада, отняли девочку и самому бока помяли, еле ноги унес.

Все это Буров рассказал Ленчу. Я сидел тут же, слушал. Мы ели мед с хлебом. Мать украденных детей подавала нам и едва ли сказала два слова. Лишь в конце произнесла фразу: «Нет такого закона, чтобы детей от отца с матерью насильно отнимать».

Тут же с нами сидел какой-то древний старичок, живший на заимке или тоже гость, не знаю. Чистенький, коротко остриженный, седой и худенький. Старший сын, крепкий на вид парень, поймал освободившегося от цепи Постоя, взял его, как щенка, на руки и понес. Ленч потом в повести не оставил этот эпизод без внимания. Свою дочь, как собаку, на цепь не посадишь… Большой писатель!

Когда я вернулся на стройку, я посмотрел на нее глазами ополоумевшего старика Бурова. Что же мы здесь творим?

Повесть Ленча напечатала местная городская газета. Я тогда был в Москве, жил в компании с исландцем Ульвуром Херваром

— Тристаном — и получил от Гария Немченко письмо. Тот писал: «Ты Ленчу не говори, не обижай старика. Но яиц у нас сейчас на базаре нет — куры все подохли со смеху. Так всё тяп-ляп».

Гарий был прав. Классик позволил себе расслабиться. У самого Гария в это время перо в руке держалось крепче.

12

Менялась стройка. Разъезжался близкий мне народ. Исчезала ситуация отклонения. Мы превращались в захудалый район промышленного сибирского города. И первое, что бросалось в глаза для человека, который соприкасался с комсомолом, это засилье молодых аппаратчиков.

Время Карижского с его душевностью прошло. Закончился и период Качанова с его гигантоманией. Наступала пора функционерства.

Мало кто вылезал теперь с починами. Все служили! Главное было — отпечатать в типографии перспективный план мероприятий. Чтобы аккуратно и солидно. И непременно — в типографии. У мало-мальски заметного комсомольского начальника появился свой кабинет. Слонялись туда-сюда люди по коридорам. Разъезжали на персональных машинах.

Как-то я зашел в новое здание, где располагался комитет — теперь уже райком — комсомола. Зашел не ранним утром. В помещении — ни души. Уборщица поздоровалась, стала жаловаться, что тряпок ей не дают и мыла нет окна мыть.

— Вот приду, все помою и сижу. Они говорят: «Ты дежурь! Вдруг кто придет!» Они-то к десяти явятся. А я неграмотная. Что от меня толку?

— Сколько получаете?

— Сорок два пятьдесят… Смотрю, чтоб семечки не щелкали. Чтоб лампочка горела. За мною прослеживать не надо.

— Да я не прослеживаю. Мне они нужны, — кивнул я на пустые кабинеты.

Мы разговорились.

— А подарки какие-нибудь вам дарят к восьмому марта?

— Какой там! Спецовку бы дали… Из инструмента — одно ведро. И мою из-под крана ключевой водой.

— Ну, а здороваются?

— Когда поздороваются, когда пробегут.

— А почему мыла-то нет?

— Не знаю.

Уборщица поманила меня пальцем.

— Вот стоит какое-то удобрение в мешке. Я вчера попробовала — раковины хорошо моет. А вот скажи, руки оно не изъест?

Я наклонился, повернул мешок. Прочитал надпись: «Строителям Запсиба от строителей и эксплуатационников треста Кемеровохимстрой». Подарок, понял я. Входило в привычку дарить друг другу свою продукцию, с сувенирами потом не знали, что делать.

— Если раздобудешь перчатки, — сказал я, — тогда мой. Тут надолго хватит!

— А не заругают? Может, это им для какого дела надо?

— Не думаю. Мой… Но в перчатках.

Да, решил я, стройка устала. Люди хотят нормальной жизни. Функционеры тоже ее хотят. Надоела фальшь. Мало охотников обслуживать ложные легенды. Все возвращается к норме. Вон и сопку любви запахали под огороды. На первых пятиэтажках еще остались скворешни, но уже почти нет никого из тех, кто их повесил. В тот год, когда я приехал, по комсомольским путевкам прибыло пять тысяч человек, а в нынешнем — сорок человек, не больше. Появились общежития для заключенных. Павел Луценко, которого после повести, написанной Немченко, так и звали «Пашка — моя милиция», теперь работал комендантом такого общежития. Мы начинали Запсиб. Заканчивают вербованные и зеки.

Зато по случаю пуска первой домны кипели настоящие страсти — из-за наград. Кому-то дали, кого-то обошли. Вечный литсотрудник городской газеты старик Теплицкий, знавший все обо всех и повидавший на своем веку не мало, я думаю, и комбинат на другом берегу, но всегда остававшийся за бортом — он говорил: «Слава Богу, живым», — на этот раз рассчитывал чего-нибудь урвать, какую-нибудь захудалую медальку. Но дали журналисту из областной газеты, который три недели выпускал на Запсибе листок «Даешь домну!»

Обидно.

Николай Шевченко, красавец-монтажник, вместо «Ленина» получил «Трудовое красное знамя». Тоже недоволен…

Я очнулся. Уборщица перестала шаркать по полу тряпкой. Шел одиннадцатый час. Наконец, появились хозяева кабинетов. Мне предложили подождать. «Минуточку!» — сказали.

Во всех комнатах сразу закрутились диски телефонов, пошла работа. В приоткрытые двери я слышал обрывки фраз, которые, соединяясь друг с другом, превращались в одну сплошную речь безымянного функционера.

— Матафонов?.. Как у тебя с цифрами охвата? Та-к… А

сколько обсужденных?.. Понятно… Послушай, ты чем-нибудь занялся бы, Степа! Ведешь? Ну и веди! А я ответственный от комитета… И если в три дня не заплатят, пеняй на себя… Что? В три дня у них получки не будет? Ничего, соберешь… И помни: надо воспитывать убежденников, иначе нас не поймут. Как пишут в газете: «А что ты положишь в котомку потомкам?» Имей в виду, проблемы сейчас нельзя решать хип-хоп. Надо сделать замечательное движение еще более… Понял? Ну, усиль, усиль… Сколько у тебя учетных карточек? Триста пятьдесят? Ладно, Матафонов, вижу, мы с тобой сработаемся. Главное, чтобы ты сориентировался. А то, Матафонов, на ковер бросим, на гвозди!.. Не понял? Ну, потом поймешь. Дисциплина у тебя, не спорь, хромает. Не работает в бюро, выгони к чертовой матери. Выгоняй группкомсоргов… И потом — ты стол у себя поставь, кресла купи, портреты повесь, чтобы видимость была. Пригласи в гости! Я приду быт проверять. Через год пригласишь? Через год я переизберусь. И вот что, Матафонов, мы не слышим от тебя ни одного телефонного звонка. Не понятно, чем ты там занимаешься?

Думаю, сообразительный Матафонов понял, что к чему… У него свои заботы, у меня свои. Он скоро отправится домой, а я — во вторую смену. Опять я в бригаде. И снова зима, холодно, электричка не ходит, ремонт линий. Пустили старенький паровоз — по-местному, «бочку с дымом». Все ступени обвешаны, негде руку просунуть, схватиться за поручень. Втиснулся, руку положил на ладонь в варежке молоденькой девчонки — никаких эмоций. Так и доехали. Спрыгнули, разошлись в разные стороны. Повалил снег, заметая следы.

Леонович говорил о Запсибе: «Моя республика!»

Я написал ему письмо. Сообщил: «В твоей республике идет снег». И совсем не «теплый», как в одном из ранних рассказов нашего Гария.

В тот день и смена не заладилась, мы разошлись… Домой возвращаться не хотелось — Елены нет, она в вечернем институте. Сын — в Москве у бабушек. Куда себя деть?

Столько лет на Запсибе и ни разу не был в ресторане. Зайти, что ли?

Пересчитал наличность.

В дверях меня встретила грозная старуха.

— Ну куда? — оттолкнула она меня. — Куда в рабочей одежде? В рабочей не пускаем!

Я отошел.

Знакомый парень заметил меня.

— Ты что это в рабочем? Бригадиришь?

— Да нет… Так… Монтажником.

— Ты же был в редакции?

— Ушел.

— Что-то судьба всё к тебе боком…

Я промолчал. Подумал: идти домой переодеваться? Тогда уже назад не вернусь.

Быстро сбросил на морозе брезентовую робу, одернул куртку с меховым подкладом, почистил снегом брюки и валенки. В валенках, пожалуй, не пустит… Но попробую.

Робу свернул потуже, засунул под мышку и встал к бабке боком.

— Открывай!

И пока та соображала, проскользнул внутрь.

В зале было накурено. Я нашел себе место. Заказал по средствам. Шницель и сто пятьдесят.

Сидел и думал: почему у меня все так кряду — и с работой, и с Еленой? Тоже кошка пробежала. То поцелуи и рыдания, то нудные выяснения отношений. В один из таких тяжелых вечеров я, не находя аргументов, в сердцах разбил свою маленькую пишущую машинку, подарок тещи, еще трофейную. Поднял над головой — и бросил на пол, только железки полетели.

— Монтажник, иди сюда! — позвали меня.

Я повернул голову. В облаке дыма, за раскромсанным столом сидели трое. И один из них — я не поверил своим глазам — Петро Штернев. Наш Костыль.

Штернев с полгода как исчез со стройки. Говорили, что его посадили за то, что украл пустой ящик из-под водки. Осудили и дали срок. Его место занял, как и ожидали, Саня Опанасенко. Он освоил кое-какую штерневскую механику и мы зарабатывали сносно. Хотя в бригаде стало тускло и не было прежнего шума-гама.

— Ты откуда, «бугор»? Из тюряги что ли? — спросил я, подсаживаясь к их столу и беря стакан, на три четверти наполненный для меня Штерневым.

— А-а… Приехал, видишь, — отмахнулся Штернев. Он был уже изрядно пьян. — Неймарка знаешь, да? Марка Семеновича? Спрашивает меня: «Ты все пьешь?» Я говорю: пью! Но и горблю. Спрашивает: «Одну выпиваешь?» Чего там пачкаться? Две! «А я, — говорит Неймарк, — стакана не могу». Вот так, мужики! Что жизнь с людьми делает… Ну, ладно, поехал и… Крестная сила и обэхээсэс…, — и Штернев выпил, обильно смочив губы.

Откуда он вынырнул? Из прежней жизни… Я вспомнил нашу рабочую бытовку времен моего первого знакомства с Костылем, разбитую и перекошенную, со слепым окошком. Теперь у

специализированных бригад будки стоят красивые, как стюардессы, с дверями из прессованной стружки, разукрашенные и с цветочками в горшках, с плакатами по технике безопасности, чертежами на столе и железным ящиком-сейфом в углу. У нас такой не было. У нас под ногами были свалены шланги от газосварки, всякий хлам, ничего путевого. Но Костыль все тащил и тащил на всякий случай. На лавке сидел Штернев и закрывал наряды. Раз в месяц, в долгих тяжбах с Марком Хиславским, а то и с самим Фенстером, Штернев совершал это почти ритуальное действо. Кричал: «Деньги не мне — парням!» Никто так не умел закрывать наряды, как наш Костыль. Писал аккорд на восемь рыл, а нас было, допустим, пятеро. Правда и вкалывали. «Парни, подъем!» — кричал Штернев. А мы только-только оттаяли в тепле. «Ты куда, дед?» «Поднимайся! Аккорд!» — расталкивал он нас, сонных, выгонял по одному на мороз, заставлял лезть на верх, ворча: «Пить хорошо, а горбить плохо, да?»

— Вот так, Володя, или ты вразнос, или семья в нужде, — произнес Штернев, словно прочитав мои мысли. — Запомни эту истину.

— Ну да, — улыбнулся я. — Особенно, когда у тебя шестой разряд, а у меня второй. Не ты меня, а я тебя обрабатываю.

— А-а, падло! Разбираться стал, — захохотал Штернев. Костыль заканчивал уже третью бутылку. Разговор пошел совсем пьяный. Наши соседи куда-то исчезли. «Бугор» поднял глаза, обвел мутным взором зал ресторана, опустил голову, махнул рукой: «Ладно, у меня гроши есть. Я заплачу».

— Монтаж, — внушал он мне, — тяжелое дело. Чуть что, упал! Я убьюсь, обо мне некому плакать.

— Брось, Петро!.. У тебя сын есть. Дочь.

— Приемная. Но я ее люблю. Говорю: Галка, на тебе деньги. Пойди возьми одну. Берет две бутылки! Понимает…

На седой голове Костыля, как и у Паши Мелехина — хохолочек. Рубаха расстегнута, видна грудь. Костыль достал старый клеенчатый бумажник, набитый документами, стал вытаскивать справки о заработках, показывать мне. Показал удостоверение монтажника.

— Вот он, шестой разряд. Мой родной!

На Костыле, еще более похудевшем, болтался, как на вешалке, пиджак.

— Шеф! — позвал Костыль официанта. — Шеф, керосину, — Штернев погладил себя пальцами по шее.

Я попытался его остановить. Костыль заупрямился.

— Я пью, но я и кормлю! — Он опять показал мне в десятый раз свою сломанную ногу, завернув штанину. — Темиртау

ебучая! — выругался он, объясняя, где это произошло. Я все это уже слышал. — Семь месяцев на костылях… Останься, говорили мне, но я не остался, поехал сюда, на этот ваш Запсиб. Приехал, сказал: «Я раб божий, батрак, у меня ловить нечего, пять классов образования». Но я на фронте воевал танкистом… Скажи, Володя, — заплакал Костыль, — за что меня сняли? За нее? — указал он на пустую бутылку. — За нее! За нее падлюку! — и выпил посошок. — Сейчас пойдем, Володя, сейчас. Неймарк меня спрашивает: «Где, сэр, был?» Он мне толкует: жилья нет. Да я знаю…

— Петро! — сказал я вдруг. — Ты прожил жизнь. Скажи — что самое главное для человека?

— Главное, Володя, семья.

Я посмотрел на него внимательно. Сам всех раскидал по свету. Где-то сын, где-то дочь. Мотается один по стройкам, по общежитиям, а теперь вот — и по тюрьмам. Мужику уже пятьдесят пять. И тоже — семья!

Прощались у ресторана, покачиваясь на ветру, приваливаясь друг к другу.

Петро спросил меня:

— Ну ты понял теперь, что такое монтаж?

Я кивнул.

— Когда мне предложили взять тебя, я не хотел. Сказал: какой он монтажник? У него высшее образование! А мне Фенстер объяснил: возьми его, он нам пригодится. А я ему: «Ты коммунист, ты и бери!» Вот так было… Но я тебя взял, Володя!

И Штернев полез меня целовать на прощанье — по русскому обычаю.

Больше я его никогда не видел.

13

В конце зимы я сбежал со стройки.

Объявили, что ищут добровольцев строить в тайге пионерлагерь. Собирают сводную бригаду. Ее возглавит «бугор» — одноглазый, по кличке Камбала, такой же ханыга, но опытный монтажник. Его недолюбливали в управлении, говорили, что жлоб. Идти под его начало охотников нашлось мало. Да и нужно было — человек десять. По зимнику их забросят в тайгу, там они обоснуются, примут материалы, а когда сойдет снег, начнут из стеновых плит монтаж столовой и жилых корпусов. Суть была именно в десанте, в заброске людей, материалов и техники по снегу, иначе весной в тайгу не сунешься, выбранное место рядом

с деревенькой окажется отрезанным речками и ручьями, которые превратятся в бушующие потоки.

Такая экспедиция меня устраивала. Она давала нам с Еленой передышку. Мы устали друг от друга. Что-то необъяснимое происходило не только на стройке, но и в нашей личной жизни.

Деревенька Старое Абашево прилепилась у края тайги. Стоящие хуторками дома образовывали улицу, которая сбегала изгибом к речке, притоку Томи, как раз у самого устья. Говорили, что здесь со временем построят мост через Томь. Пока же до этого захолустья добирались по берегу реки, но в некоторых местах он так крут, а обрыв так близко подступает к воде, что и пешеходу, скачущему по валунам, не всегда удается пройти, не замочив ноги, а о том, чтобы доставить таким путем технику, не могло быть и речи. Возвращаясь домой, я испробовал этот путь. Преодолев несколько километров обрывистого берега, выходишь на гравийную дорогу, а там дотопаешь и до пригорода Старокузнецка. Потом на автобусе, растряся печенку, доберешься до Антоновской площадки — до дома.

Можно добираться перелесками по холмам, постепенно поднимаясь все вверх и вверх — до перевала. В итоге оказываешься на горе Маяковой, над самым поселком и, беря пространство в клещи, заходя справа, спускаешься мимо шахты к промбазе, а оттуда к поселку уже по равнине.

А что в самих клещах — никто не знал. Сопки да мелколесье. Никаких дорог. Коренная тайга начиналась как раз за огородами Старого Абашева. Стена из берез, пихтача и елок. На вид — густо и непроходимо, а приглядишься, и тут свои лазы, проходы, еле заметные прогалины и тропинки. Но, конечно, перегороженные стволами поваленных деревьев, которые рассыпаются под ногой в прах. Все лежит в покое десятки и сотни лет, истлевая. Гигантский папоротник, в заросли которого входишь, как в пальмовый лес, потрясает воображение, когда видишь его в первый раз. Ты идешь туда, куда ведет тебя тропа, не пытаясь отклониться ни на шаг в сторону, да и не удастся — слева и справа стена непроходимой травы, бурелом, опутанный лианами, как в джунглях. Тайга — это и есть наши джунгли, потому и говорят здесь — не лес, а «тайга». По ней не гуляют. Здесь приходится работать не только ногами, но и руками, продираясь сквозь чащу, бывает — и с топором.

В деревеньке жили в основном шорцы, но было несколько русских семей. Мы поселились, кто где. Механизаторы пошли в дом к телятнице Агнюшке, моложавой еще вдовы с двумя дочками, остальные рассыпались по домам, подальше от тайги, поближе к реке, в надежде на скорую весеннюю рыбалку, а я

потянулся к опушке, к крайнему дому, в котором жил с женой и маленькой дочкой дед Степан. Хотя какой он дед? Ему было тогда пятьдесят восемь лет, и он, дорабатывая до пенсии, нанялся в нашу бригаду по первому разряду.

Степан поразительно был похож на Чапаева — на постаревшего артиста Бабочкина. Такие же вислые усы, да еще зимняя шапчонка вроде папахи. Странно, но у меня всегда кто-нибудь на кого-нибудь похож. Исландец — на Ленина, салаирский милиционер — на Кису Воробьянинова. Теперь вот собственный Чапаев ходил рядом, постукивал топориком. Степан, отменный плотник и опытный таежный охотник, слонялся без своего дела, нам его искусство пока не требовалось, и он таскал туда-сюда, что попадало под руку, пособлял, кому надо, суетился, и рад был небольшим деньгам, которые ему выписывал Камбала. Конечно, грабя его.

Над нами стоял наезжавший со стройки прораб Бенюх. Тоже легендарный, как все на Запсибе. Он строил еще кузнецкий комбинат. Таких старожилов осталось мало. У Бенюха была старомодная привычка к честности, Камбала его побаивался.

Но в основном мы были предоставлены сами себе, жили автономно. По вечерам каждый нырял в свою избу. Дойти до ближайшей — это преодолеть немалое пространство, засыпанное снегом. Да и что ходить? Сидели — кто парами, кто один. Встречались утром.

Мне хотелось остаться одному. Но когда я выбрал себе в хозяева нашего Степана, вдруг поднялся немолодой уже, лет сорока, мужик по фамилии Пойкин — я не знал его прежде — свернул в трубу свой матрац, привезенный из общежития, взял объемистый фанерный чемодан с висячим замком и пошел со мной.

Так мы и стали квартировать вместе.

Пойкин тихий человек. И на работе выбирает место там, где поменьше народу. Голова у него большая и круглая, как арбуз. Он коротко острижен. Я люблю Пойкина за то, что вернувшись с работы и поев, он тут же ложится на койку, не раздеваясь, как был, в пиджаке. Попросит у меня книжку, посмотрит в нее, закроет глаза и заснет.

Я ложусь поздно. Пойкин в той же позе лежит, не раздеваясь, посапывает.

А утром встаю — он уже под одеялом. Когда разделся? Сопит и невнятно матерится, не хочет идти на работу.

Рабочий день короток. Мы сами себе хозяева. Часа в четыре уже смотрим, как бы удрать.

Степан, когда приходит с работы, долго сидит в кухоньке на

табуретке собственного изготовления, курит. Смотрит в одну точку — выберет сучок или гвоздь в бревне и смотрит.

Сегодня Степан устал. Как-то умудрился перетрудиться. Припадая на каждом шаге, согнув спину, прошел к сундуку, посмотрел на окрепшие кустики помидорной рассады в ящике на подоконнике, сел на сундук, почти лег на него, привалился к крашеной спинке железной кровати.

— Рейку мастер не велел на стены брать. Приказал тес. Ух, тяжелый! Набух весь, — пояснил Степан свою усталость.

Мы лепим себе рабочую бытовку. Без нее нам неуютно среди тайги.

Самокрутка в руке задрожала, пуская дымок, выскользнула из пальцев и стукнулась об пол неожиданно звучно. Старик заснул.

На лбу у Степана морщина, как большая морская птица раскинула острые крылья. Усы, цвета мокрой осины, не могут скрыть добродушной, чуть дурашливой улыбки. От глаз разбегаются лучами мелкие линии морщинок, придавая светло-голубым, почти белым глазам выражение постоянного удивления. Замечал я и грусть в них, но чаще все-таки безмятежность. Обладателей таких глаз называют «блаженными».

На телогрейке у Степана, под самым сердцем, квадратная заплата из плохо подобранной по цвету ткани — как будто какая-то специальная мета. В этой телогрейке он ходит весь год. И в тайгу бегает с топором за поясом. И у нас в ней работает.

По полу шаркает веником Степанова дочка Ларка, дитя поздних лет. Ее подросшие сестры разъехались.

Мать по имени Зинаида из кухни за занавеской по звуку определяет, как метет Ларка. Комментирует:

— Чище мети! А то жених корявый попадет.

Девчонка пискнула в ответ, прикрыв рукой рот. Смешно ей.

Степан открыл один глаз.

— Почему молока нет в деревне? — спросил я, удовлетворяя любознательность.

— Я так думаю, что быка не было.

— А у тебя же корова в загуле.

— Мы водили.

— Да, жаль. Сейчас хорошо бы молочка! — Это Пойкин вдруг проснулся. Во сне услышал про молоко.

— Ты получил, батька, премию? — поинтересовался я.

— Не-а. Бригадир издержал. В получку обещал отдать.

— Вот Камбала! Сволочь! Я ему скажу.

— Да ладно. Отдаст.

Я смотрю на Степана — усы, и правда, у него под цвет осины. Как раз сейчас, весной, такие рыжезеленые осины стоят

частоколом среди пихтача. И так же, как белеют над тайгой высокие березы, торчит серебром в усах у Степана седина.

Зинаида собрала обед. Вовремя проснулся Пойкин. Обед он никогда не просыпает. Наш обед — одновременно и ужин.

Мы выхлебали пустые щи. Запасы мяса у нас кончились. А в семье у Степана его не было вовсе. Выпили чаю. Отодвинули еще теплые алюминиевые кружки.

Степан произнес свою традиционную фразу, как молитву:

— Уложил крест-на-крест и стоймя. И всяко!

Иногда он добавляет:

— Дешево работать, солоней поесть.

Вечером, как всегда, разговоры о завтрашнем дне.

Завтра приедет Бенюх, привезет в деревянном ящике хлеб. С хлебом в Абашевке туго. Выдают на душу по буханке и отмечают в школьной тетрадке химическим карандашом. Наш приезд немного облегчил ситуацию. Во всяком случае, Степан, у нас работающий, всегда с хлебом.

— Поди привезет хлеб-то? — спрашивает Степан у меня. Постепенно разговор приобретает отвлеченный характер: о том, о сём. О будущей и прошлой рыбалке, об охоте.

— Вот щуки были-то! — рассказывает батька. — На прутья навздеваешь, прутья не терпят. А теперь переглушили всю рыбу. По Томи лодки поднимаются с городу. Раз я на берегу у кривуна рыбачил.

— У какого такого кривуна?

— Поворот такой, крутой. Кривун мы говорим. У кривуна рыбачил. Смотрю — лодка вверх прошла. Слышу погодя — бух! Глушат. Я тальником туда. А они уж рыбу тащат. Река от рыбы бела. Хотел вернуться за ружьем. Долго! Не поспею. Выхожу на берег так. Машу им: «А ну-ка давай сюда!» Куды там! Рыбу побросали, мотор завели и деру. Двое их было, одна, между прочим, женщина. За рыбу тогда десять лет давали.

— Признайся, рыбу-то ты, оглушенную, собрал?

— Не-е. Она какая, может, и отойдет. Но раз и я грех на душу взял. Начальник приказал. Я тогда в леспромхозе работал. Нам есть нечего было, а народу богато. С полсвечки забросили и то порядочно взяли, с ведерный чугун. А сколько понизу погибло, не всплыло. А сколько рекой унесло!

Близость лета тревожит Степана. Он вчера видел рябчика.

— Далеко видел-то?

— Вплоть.

— Хочется в тайгу-то?

— О-о!.. Соболь уже залаял. Надоело… Соболь — лайка, привязанная у нас во дворе.

— А-а… Надоело? — услышала из кухни Зинаида разговор. Вступила: — Ты бы лучше корове сена достал. Вот-вот отелится. Сам у семи чертей покос-то возьмет, а я — коси!

— Ох, много ты накосила сегодня!

— У Агнюшки сено вон-ка у порога брошено, ноги вытирать, а у нас корове есть нечего. Хозяин! — Зинаида вышла, встала в проеме кухни, решила донять батьку всерьез.

Спор их вечный, из вечера в вечер. Соседка Агнюшка — как заноза в глазу. Ладная баба. Сена у нее, и правда, навалом. И навоза куч сто завезла, раскидали прямо по снегу. Держит механизаторов, зная выгоду. Они ей и дров привезут, и навоз, и сено. Ей плевать, что они грязные, зато удобно. Да еще с Санькой, с нашим «блатным», как мы его между собой кличем, похоже, в амурах. Что же, свободная женщина. И он командировочный, а значит, временно не женатый.

Деревня знает, деревня завидует.

Степан — полная противоположность. Сидит и курит.

Вот Зинаида и кипятится.

— Курит… Да сидит! Теперь радио завел. День и ночь будет сидеть с радивом. Ему ли сидеть? — обратилась Зинаида к нам за поддержкой. — А скажешь, окрысится.

— Да ну ее к чертовой матери! — буркнул Степан. — До пенсии, а там в тайгу. Хватит! За жизнь наработался.

Кого он имеет в виду? Кого посылает к черту? Корову, у которой нет сена, или Агнюшку, ненавистного конкурента, бельмо на глазу?

Странно, размышляю я, у Степана и корова, и гуси за стеной шебуршат, спать мне не дают, и овца вчера окотилась, и пасека кое-какая, и руки умелые — а богатства не нажил. Изба покрыта дранкой, сам ходит в чем попало. Ничего-то у него нет. Голь. Даже ружья приличного. Пули на сковородке катает.

Другое дело — Агнюшка. Тут, видно, гены. Степан лишен предприимчивости. Его Камбала надул, а ему хоть бы хны. И все, что делает по дому, делает нехотя. Зинаида попросила ящик соорудить под навоз, высаживать рассаду. Сделал, сказал: «Вот тебе гроб», — пошутил.

Ему до смерти не хочется браться за домашние дела. Разве что пасека его привлекает. Но главное для него — тайга. Охота.

Однако холодно в чужом бревенчатом доме. Мерзнут колени. Степан забрался на кровать. Старые пружины застонали. Пора и мне. Придется ложиться в свитере. Пойкин давно уже дрыхнет, положив на глаза мою книгу. Конечно, как всегда, в пиджаке.

Я лежу и думаю о себе самом. Как я здесь оказался? Зачем я устроил себе эту командировку? Собираю литературный

материал? Хватит обманывать себя — ничего я не собираю. Просто живу. Хожу с ними на работу, ковыряюсь в мерзлой земле, страдаю, когда Бенюх хамит нам в глаза. Все орет да орет! И мы в ответ — плюем на него. Надоели они мне все — и Бенюх с его рассказами про то, как было прежде, на Кузнецкстрое, и мастер Витя, заискивающий перед Камбалой, и сам Камбала, и оборотистая баба, эта старая блядь Агнюшка. С какой стати они поселились в моей голове?

В такую минуту мне хочется забраться подальше в тайгу, в самую чащу, как Степану, где летают рябчики. Но я ни одного рябчика пока еще не видел. Над нашим домом кружат лишь вороны.

Ночь и тишина на земле. Глухой стеной преградила путь на восток тайга. Но мне туда не надо. Я поворачиваюсь к западу — там темная и таинственная даль. Может быть, пора домой? Пора возвращаться?

Зябко на улице, мороз. Ладно, пора спать. Утро вечера мудренее.

Я оглянулся в сторону реки. Точно костер, светилось окошко шорца Ивана, старика, которого мы наняли стеречь нашу будку. Вот достроим ее, и он будет охранять наше добро: бензорезы, рейку, рубероид. Будет топить у нас печку и ночевать в нашей бытовке. Мы придем, а у нас тепло. Шорец живет с такой же древней старухой. Как раз у него и остановился красавчик Гордиенко. Прослышав про то, что мы в тайге, он примчался, как очумелый. Не мог упустить случай — поохотиться без отрыва от производства. Привез ружье и вчера палил по мишеням. Местные пареньки-малолетки, как злые волчата, смотрели на него с завистью: такой и зайцев всех перестреляет, и шорок их не побережет.

В ту ночь случилось несчастье.

Рано утром я почувствовал, что что-то не так. Степан включил радио, а под утро самый сладкий сон.

Батька был мрачен. Зинаида, его жена, молча поставила нам кашу на стол. Сказала — как бы поздоровалась:

— Ягненка корова ногой чибурахнула. Убила!

Вон, значит, что! Для семьи это беда. Оттого и расстроен Степан.

Ладно, — сказал он. — Чему быть, того не миновать… Обдеру, шапку залатаю. Что же поделаешь? — И он отодвинул миску, встал из-за стола, не произнеся своей обычной молитвы.

В тот день все было неладно. Бенюх не привез хлеба и сам не приехал. Мы со Степаном валили деревья. Степан подрубал, а я наваливался телом, наблюдая, как пепел цигарки падает в снег.

— Давай запилим, батя, — предложил я.

— Нет, срублю!

Пока я обрубал сучья у поваленных стволов, за спиной зашумело и ухнуло. Степан, не дожидаясь меня, сам принялся валить дерево, не успел отскочить в глубоком снегу и теперь лежал под ветвями ели, ругаясь: «У-у… твою мать!»

— Ты как?

— Столько лет лесорубом был, — кряхтел Степан, поднимаясь, — а тут лесину нормально срубить не смог. Чуть не задушила.

Он встал, весь в липком, мокром снегу. Весна уже пошла. Днем таяло и текло, а ночью прихватывали еще морозцы. Мы спешили. Времени для лени не оставалось.

К концу смены Степан обнаружил, что потерял топор. Забыл где? Или кто взял? Он ходил неприкаянный, заглядывал в узкие длинные коридоры, сложенные из опалубочных щитов, искал.

— Ты моего топора не видел? — обращался он к каждому. — Такой сточенный. С тонкой ручкой, — уточнял батя с надеждой.

И домой пришли — за обедом не ладилось. Капуста ничего, а огурцы вдруг кадушкой запахли.

— Они внизу были, — объяснил Степан. — А капуста сверху со смородянником.

Все шло к тому, что в воскресенье Степану не отвертеться — у коровы осталась одна охапка сена. Значит, придется брать лыжи и по утреннему чарыму идти в тайгу за сеном. Там, на полянах, его много еще — гниющего, совхозного.

Не сразу я понял характер Степана. Видел: не ленив. Мы засиживались за перекуром, а он со своей цигаркой уже на ногах, подтянет ремнем телогрейку потуже, рукой — за топор, и покуривая на ходу — уже стучит, мешает нам отдыхать.

А в тайгу за сеном Зинаида никак его не прогонит.

И наконец-то я понял — сено совхозное!

Это никак не укладывалось в моей развращенной голове.

У Степана, в его душе, существовала своя иерархия принципов, хотя газет он не читал, а только курил их. Я смотрел на него с удивлением — просто таежный реликт.

Мы вышли затемно. Я напросился в попутчики. Степан был рад. Веселее. Да и побольше притащим. Второй раз ему не идти.

Зинаида, провожая нас, сунула по куску домашнего хлеба, который — когда успела — уже испекла.

На прощанье не выдержала, выразила свое непонимание батькиных принципов:

— Неужели такая ступня дорогая, дойти туда?

Под лыжами поскрипывал крепкий наст, по-местному —

чарым. Идти легко. У меня за спиною рюкзачок с веревками. У Степана под мышкою еще одни лыжи. Мы соорудим из прутьев нары, прикрепим их над лыжами, навалим сверху копешку и потащим вдвоем. Главное, успеть до того, как поднимется солнце и капель изранит утренний наст. Тогда тайга сразу потемнеет, деревья, прогретые солнцем, сбросят с веток зальделые комья снега.

Степан остановился перекурить. Оглядел тайгу.

— Осела, — сказал он, — обводя взором ближние осины.

Я тоже люблю лес, но я вырос в подмосковных лесах, а они, по сравнению с тайгой, как интеллигентные девочки рядом с деревенскою бабой. Там упал ствол, его тут же убирают — все лишнее растаскивают дачники-санитары. И пахнет в подмосковном лесу, как в школьном кабинете ботаники. А как пахнет здесь, я и передать не могу.

Мы довольно быстро увязали тюк сена, надергав из копешек посвежее. Расстелили рюкзачок, перекусили. Рассвело, но солнце еще не грело. Спешить было некуда. Мы накидали под себя сена посуше и улеглись, как боги, поблаженствовать. Степан учил меня различать следы. Показывал, где какие птицы токовали, где зайчик отдыхал, где пробегала лиса.

— У нас хохол был по фамилии Индюк, — вдруг вспомнил он. — Раз с другим мужиком договорились лис ловить. Поставили капканы. Хохол первый прибежал, смотрит: есть одна. Он скорее домой, успеть вперед дружка. Оглушил лису молотком — и за ноги к потолку, обдирать. Тут другой мужик приходит, говорит: «Лису на пару!» Хохол отвечает: «Нэ дам!» Говорит: «Моя лыса!» И начал ее по-быстрому обдирать. А лиса как закричит! Она еще живая.

— Отпустил?

— Так живую до половины и ободрал, пока сдохла. Обдирает, а сам матерится: «Нэ дам! Моя лыса!»

— Так и не дал?

— Не дал. Ему за лису пороху отвесили, дроби. Одной муки только двадцать пять килограммов дали. В те-то времена, в войну…

— Признайся, Степан, а тот второй мужик, не ты ли это был?

Степан посмотрел нам меня, помолчал. Полез за табаком с газетой.

— Нет… Я был на фронте.

Я подумал: фронт фронтом, однако… Но не стал смущать старика. Перевел разговор на тему войны, тем более мы ее вспомнили.

Да лучше бы не вспоминали…

— Однажды пошли мы трое в разведку, — рассказывал Степан, покуривая. — Идем лесом. Слышим кричит женщина, просит помочь. Стали стороной подкрадываться. Видим — трое немцев двух наших девушек терзают. Одной пальцы на руках и на ногах поотрезали, а другой руки гвоздями к лесине пришили, то есть распяли… Один мужик у нас нож кидал здорово. Он часового немца издаля просадил беззвучно, остальных мы живьем взяли. Гвозди выдергивать стали, а они их по самую шляпку вогнали, не вытянешь. Пришлось шляпку сквозь ладонь прорывать. Так два гвоздя в березках и остались… Когда шли обратно, девушек немцы несли на плащ-палатках.

Я слушал Степана. Картина — пострашнее ободранной лисы. Хотя, в сущности, невелика разница.

Сколько лет было тогда Степану? Лет тридцать пять или сорок… Опытный таежник. Подходящий для разведки. Однако и ему изменила удача. Попал в плен и остаток войны провел в лагере. Освободили его американцы.

— А почему ты, Степан, вернулся? Ведь многие тогда уехали с американцами. И ты мог бы?

— Мог… Но, вообще-то, не мог. Мы быка купили. А куда с быком на самолет!

— Каким быком? Откуда в лагере для военнопленных бык?

— У немцев купили. Ходили за ним в их деревню. Я, правда, не ходил, пятнадцатый день не вставал, лежал в лагере. Ребята ходили. Через старосту договорились с хозяином — он сперва не хотел продавать, а староста ему говорит: «Бери марки пока дают, а то и так быка заберут. Их победа». Но мы по-честному, купили. За сколько сказал… А бык ха-ароший был. Здааровый! Сытый. Наш наверное. У немцев больше рябые, а этот красного цвета. Угнанный… Куда же мы в Америку с быком? Мы его — на мясо. Подхарчились — да домой.

— А как тебе американцы?

— Ничего… Не пойму только, почему они такой белый хлеб едят. Страсть белый! И нет у них этого порядку: офицеры отдельно, солдаты отдельно. Все вместе садуть за стол и давай!

— Так у них двести лет демократия!

— А у нас чево?

— У нас? У нас — сам знаешь.

— Да-а, — протянул Степан. — Глаза людям глиной-то не замажешь.

Степан пристроил для меня около моей кровати стол. Принес широкую кедровую доску. Ее одной хватило, чтобы разместиться мне с моими бумажками.

Кедр красивое дерево. Ни одного сучка. И отстрогал Степан так, что кажется вот-вот выступит сок.

Его младшая дочка Ларка крутится рядом.

— Ты до скольки можешь считать? — спрашивает меня.

— До миллиона.

— А я только до ста. Ну, посчитай до миллиона.

— На столе лежит лимон, вот тебе и миллион!

Засмеялась.

— А наша Людка на кого учится, знаешь?

— На повара.

— А кто тебе сказал?

— Сам догадался.

— А Нюрка на кого учится?

— Не знаю.

— Она ни на кого не учится. Она у нас невеста. У ней Колька и Мишка есть.

Из кухни крикнула мать: «Ларка, не мешай!»

— А можно я свет выключу?

— Выключай.

— Нет, не буду. Пиши. Я смотреть буду. А где наша Людка живет?

— В Прокопьевске.

— А кто тебе сказал? — Ларка вскинула белесые брови.

— Никто.

— Так не бывает. Значит, ты тоже ее жених.

— Я не жених, Ларка. Я сам не знаю, кто я.

— Да, да, да… Я знаю. Жених!.. А что трактор ездит взад-вперед?

— Значит, ему надо.

— Я знаю, калымит.

— Ну, ты даешь, Ларка! Ты больше меня знаешь.

Я выглянул в окошко. Трактор тащил сено Агнюшке во двор. В кабине сидело двое. Кроме бульдозериста Сашки-блатного еще молчаливый малый, моторист с дизеля.

Я вспомнил, как мы вчера по случаю отсутствия Бенюха засиделись в будке, только что отстроенной, раздавили две бутылки. Откуда достали? Наверное, у той же Агнюшки.

Степан ушел домой, а мы сидели в полутьме, травили баланду. Блатной рассказывал про свое очередное приключение. Врал, наверное, но складно.

— Сперва мы с ней поболтали, — докладывал нам Сашка. —

Я говорю: «Что-то я вас тут не видел…» А сам молчу, что мы две недели назад приехали. Потом говорю: «Что-то я замерз. Полезли в кабину погреемся». Она мнется, а я тащу. Она говорит: «Там грязно». А я говорю: «Чисто». Мне бы ее только в бульдозер затащить, там я ее прижму — куда денется?

— Ну-у? — Не выдержал нетерпеливый хохол Гордиенко, сам большой специалист в таких делах.

— Посадил в кабину, как положено.

— И что? Что ты тянешь-то?

— Я не тяну, я рассказываю. Сидим, трепемся. Она мне про школу рассказывает: в седьмом или в восьмом классе учится. А я не могу, мне молоденькой охота!

— Ну, а дальше? — Гордиенко ерзал, сидя у стены по-турецки.

— Дальше все по-уму было… Потом она заспешила. Я ей говорю: «Хочешь, провожу?» Она отвечает: «Меня мать убьет!» Ну тогда, говорю, давай беги!

Сашка потянулся, как сытый довольный жизнью кот, развел руки в стороны, дернул ими, пощупал для чего-то живот, потом шею и щеки. Сказал:

— Похудел я тут. Я из лагеря во с какой будкой приехал. Что шея была, что брюхо! За семь лет собачек съел — тыщи! Бригадир мне говорит: «Саня, давай! Только по-шустрому». А сам конвой и охрану на вышках предупредит. Я с собою, как на работу идем, брал грабли. К забору подбежишь, доску ногой выбьешь и ставишь петлю. А след на запретной, вспаханной полосе за собой граблями заметаешь. Рядом деревня. Собаки, когда мы уходим, по зоне шнырят. В дырки в заборе пролазят. Обратно идем, пять-шесть собачек есть. Какая еще трепыхается, какая уже задавилась. Тут их — раз! И через забор. А там уже братва ждет, костры жжет. Сразу их в котел.

Я наивно спросил:

— И ели?

— Шибче баранины. Ножку ухватишь — эх! Жирная. Вот у меня морда была, — показал «блатной». — Куды там сейчас… Баб там нет, питание регулярное. Но главное — собачки. Мы даже у начальника лагеря бобика съели. Маленький такой, но жирный был, гад. Начлагеря бегал, искал — кто? Кричал: «Узнаю, враз решу!» А что? Запросто! Списали бы потом. Но мы — все по-уму, не подкопаешься.

Сашка опять потянулся и вдруг пропел частушку:

— У меня милашка есть, звать ее Марфеничка. Она девка ничего, дурочка маленечко!

Гордиенко вскочил, топнул ногой и подхватил:

— У меня милашка — Машка. Машка из Америки. Если Машка мне изменит, удавлю на венике!

— Володя, — уточнил я. — На венике удавить нельзя. Это художественный свист!

— Такие же, как ты, писатели придумывают.

— Нет. Это фольклор.

Меня не слушали. Теперь они развеселились. «Блатной» и Гордиенко пошли кругом по нашей будке, по свежевыложенному полу, притопывая каблуками так, что брызги вылетали из мокрых досок. Мы повскакали, хохоча. Прижались к стенам.

Ничего им особенного не надо. Дай поорать!

Заведенные Сашкиными рассказами, выбирали частушки на любовную тему.

— Дуру я свою косую на портянке нарисую. Когда буду обувать, ее буду вспоминать! — орал приблатненный Сашка, притопывая валенком в резиновой литой галоше.

Ему отвечал, постукивая франтоватым яловым сапогом, хохол:

— Я не буду ей платить три рубля с полтонной, она знала, где гуляла, в саду под малиной! — И чтобы совсем забить конкурента, не дать ему высказаться, сапог Гордиенко застучал интенсивнее, а сам Володька заорал так, что сосульки полетели с крыши: — Я не буду ей платить три рубля и трешку. Лучше буду я качать пацана Сережку!

— Ну, Володя! — закричал я. — Я всегда считал тебя порядочным человеком! И три рубля сэкономишь…

— Тезка! Не выступай… Мы еще с тобою по шоркам вдарим!

— Уволь.

— Брезгуешь?

— Как-то непривычно.

— А есть ха-рошенькие!

— Вы бы поосторожней, кобели! — обронил два слова Камбала. — За шорок вам головы поотрывают.

— Кто не рискует, — произнес Гордиенко, — тот не пьет шампанское!

Эту фразу Гордиенко услышал недавно от меня, она ему понравилась и теперь он выпустил ее, как козырную карту.

— Тебе только шампанского, — буркнул бригадир. — Ведро!

— Кстати, — вспомнил я. — Есть повод завтра выпить. Все оживились, посмотрели на меня вопросительно.

— День рождения вождя, — произнес я. — Забыли? Завтра двадцать второе апреля.

— Правильно, — согласился «блатной». — У нас в зоне в этот день всегда беседу проводили.

— Бенюх приедет. Может, какую премию даст? — мечтательно протянул Пойкин.

— Деньжата не помешали бы, — сказал Гордиенко. — У вас-то калым, — кивнул он в сторону механизаторов, — а нам взять неоткуда.

— Своровали бы чего-нибудь!

— У кого тут своруешь? Тут не стройка…

— А своруешь, не продашь.

— Ну да, не продашь. Самогонка-то всегда найдется.

— На стройке сегодня флаги вывешивают. Завтра пьянка будет! — вздохнул Гордиенко. Воспоминания о празднике навеяли сладкую грусть. — Небольшая пьянка. Не так, как на май, но бутылку на двоих возьмут.

— Это кто как, — определил Камбала. — Ваш Костыль каждый день бухой.

— У нас теперь Опанасенко бугрит. Костыля списали, — сказал Гордиенко. — Этот пробьется! Сознательный… Я ему говорю: «Чем лучше стало? Чем?» А он мне: «Ты не увидишь, ты все брюхом меряешь». Вот падло! Был бы я у власти, я бы такого первого задавил.

— Потому тебя и не поднимают, — наставительно произнес Камбала. — Тебя еще больше опустить надо.

— Это хрен в зубы. Больше, чем могут они, — Гордиенко вытянул ладони и растопырил пальцы, — не опустят!

Вот так у нас всегда, подумал я, то песни поем, то вдруг полаемся. Малахольная русская черта: ссора всегда сторожит веселье.

И тут странная мысль посетила меня.

Достану-ка я красный флаг и повешу его на самую высокую елку. На опушке над нашим лагерем. Над будкой, над бульдозером, над сложенными плитами и разбросанными по снегу обрубками бревен и досок, над всей этой нашей неряшливой жизнью.

Многое святое перестало для меня быть святым, но Ленин пока еще оставался иконой. И мне было чуть грустной я, склонный к романтическому восприятию действительности, решил устроить себе праздник.

Ничего не объясняя бригадиру, попросил его отпустить меня с утра часа на два. Сказал: «По личному делу».

Я не представлял, какую я задал себе головоломку.

Старое Абашево — не стройка. Это у нас на Запсибе красной материи — километры. В любом красном уголке в общежитии — бери, сколько хочешь. Можно даже с древком. При желании упрешь и бархатное знамя. А тут?

Я пошел по деревне.

Пригибая бурую прошлогоднюю траву, шла в лога вода. Мутные потоки неслись по старым тропинкам, по проступившим под снегом колеям лесных дорог, по полянам и косогорам. Снег еще не сошел, но уже пять маленьких вербочек на сломанной мною ветке расположились в ряд. Береза с изогнутым стволом росла у дороги. Ее ветви, как опущенные в бессилии руки, свисали почти до земли. Странное дерево, не похожее на своих стройных сестер, оказалось посреди потока, он охватывал его с двух сторон, неся всякий мусор, старую солому, мелкие сучья к реке, а та, заплетенная тальником, процеживала все лишнее, оставляла у берегов. Природа сама заботилась о своей чистоте. Река готова была вот-вот поднять лед. Теперь уже и по утрам не было чарыма, а без него и настоящей охоты. Тайга меняла наряд. И только в глубине ее, в логах можно будет до конца мая обнаружить снег.

Я вышел к хозяйственной постройке и расхохотался.

Двое мужиков, из местных, мастерили сани для лошади. Только в России в совхозе весной делать нечего!

Я взял себя в руки. Поздоровался.

— Кто у вас главный? — спросил я.

— А что такое? — насторожились мужики.

— Мне нужно… — Я запнулся. Как им объяснить, что мне нужен красный флаг или, на худой конец, кусок кумача? Такая же нелепость, как и сани в такую пору. — Флаг мне нужен. Флаг! Обыкновенный флаг. Неужели непонятно?

— Чего-чего…?

— Красный флаг.

— А-а… Это к бригадиру.

Я и сам уже понял, что с такой просьбой лучше всего обращаться к начальству. Только где его найти?

— А у нас нет флага, — уточнил мужик помоложе.

— Я это понял, — сказал я.

Мужик, постарше, обиделся.

— А на кой он хер нам нужен?

— А где бригадир? — спросил я, решив не осложнять отношения и не отвлекать людей от их занятия.

— Он-то? — переспросил молодой.

Только в Сибири я заметил деревенскую привычку никогда сразу не отвечать, а потянуть время. Бессмысленная, бестолковая, раздражавшая меня манера.

— Да. Где он, ваш бригадир?

— Он-то?.. Он домой пошел.

Я выругался про себя.

— А где дом его? Можете сказать?

— Старый или новый?

— Ну, к примеру, старый?

— Вон он, смотри… Только бригадир сейчас не там. Он к новому пошел.

— Чего же ты молчишь? — А ты не спрашивал!

— Ну вот спрашиваю: где новый дом?

— Гляди туда… Между школой и березой… Новый он как раз строит.

Наконец-то я выяснил, куда идти. Возвращаться назад. За недостроенным домом около сарая сидели на бревнах трое, курили. Я подошел. Теперь я был учен.

— Кто из вас, ребята, бригадир? Один поднялся.

— Я буду.

— Надо поговорить с тобой, — сказал я и отвел мужика в сторону. — У тебя флаг есть?

Мужик молчал, осмысливая вопрос. Я уточнил:

— Обыкновенный красный флаг. Взаймы.

Сибиряк что-то смекнул, спросил:

— А тебе зачем?

Я боялся этого вопроса. Люди делом заняты. Одни весной сани ладят, другие — дом бригадиру, а я к ним с каким-то флагом. Глупость какая-то. К тому же — вдруг флаг только один. Тогда бригадир, узнав, в чем дело, оставит его себе.

Я протянул неопределенно:

— Надо…

Бригадир смотрел на меня все еще подозрительно.

— На складе где-то…

— Он у тебя один что ли? — поинтересовался я.

— А шут его знает? Были флаги, — ответил мужик, сделав ударение на последнем слоге.

Если много, подумал я, значит даст один. Я расслабился.

— Сегодня день рождения Ленина. Понял? А мы пионерлагерь строим, нам положен флаг, — уточнил я причину, показавшуюся мне веской.

Бригадир с минуту подумал. Махнул рукой оставшимся мужикам. Кивнул мне: «Пошли!»

Мы зашагали к складу. Бригадир по пути охал.

— Да, конечно. Как я забыл? Надо флаг. И нам надо!

Мы подошли к складу. Бригадир открыл амбарный замок сплющенным гвоздем. В сарае за сваленным хламом Иван — так звали бригадира — нашел суковатую палку с накрученной полинявшей материей.

Развернул, посмотрел на флаг, снова свернул и сказал:

— На правление повешу, однако…

Я смотрел ему вслед, как он возвращался к своей новой избе, пошел за гвоздями и молотком — прибивать флаг. Остановился около мужиков. Те его о чем-то спросили, он ответил, но я не слышал их разговора.

Я стоял и думал, где же мне теперь достать кусок красной материи. Мимо тащились по мокрому снегу сани. Рядом с лошадью, придерживая вожжи, шла худая и изможденная, угасшая шорка. Из помятой железной бочки через неровную дыру выплескивалась вода.

— Привет, водовозка! — поздоровался я с шоркой. — Здорово, говорю, шофер!

— А-а… Здорово, здорово! — Шорка не выговаривала «д». Получалось: «Старова, старова».

— Ну, как? Все возишь водичку из реки?

— Ага, вожу! — Она и «г» не выговаривала. Выходило: «Ака». — Надо деньги зарабатывать!

Ох, совсем плохая шорка. «Б» у нее тоже не получалось. «Ната теньки зарапатывать». Их сразу не поймешь, шорцев.

— Сколько же зарабатываешь?

— Да маленько. Рублей пятьдесят.

— Не шибко.

— А еще пенсию получаю на ребенка за мужа. Двадцать восемь рублей.

— Так ты, значит, не водовозка, а вдовушка?

— Ага.

— На твоей кобыле много не заработаешь. Отчего она у тебя такая худая?

— Сена не дают. Всю зиму по четыре килограмма в день. Бригадир говорит, директор приказал: «Пусть подыхает, лишь бы телята ели». А я думаю, каждой скотине надо поровну. Кобыла до лета упадет. Много работы.

— Сколько раз в день на реку ездишь?

— Раз двенадцать.

— А сколько ведер вмещается?

— Тридцать. Обратно пешком иду. Она со мной упадет.

— Да ты, вроде, не тяжелая, — сказал я.

— Да. Тоже худая стала. Легкая, как мышонок. Но ей тяжело.

— Ты с дочкой живешь?

— Ага, у родных. Все никак не построюсь. Сруб три года стоит недорубленный. Людей надо нанимать, лес пилить. Много дела надо делать, а денег нет. Вот накоплю, тогда достроюсь.

— Тогда и жить некогда будет, в срубе-то!

— Это верно, — улыбнулась шорка.

Отдохнувшая лошадь потащила сани, как мне показалось, резвее.

Мысль порасспросить эту несчастную женщину о куске красной материи показалась мне дикой.

Да, глупая затея, думал я, возвращаясь. И время потерял! Хорошо, что никому не сказал, зачем ушел. Посмеялись бы.

По пути на работу — время было уже к обеду — повернул домой, к избе Степана. Чаю попью, решил я.

А дома оказался сам Степан, наш батька.

— Ты где пропадал? — спросил он. — Случилось что, а?

Я растерялся. И вдруг рассказал Степану о своей затее. О походе, о бригадире, о палке с флагом, о том, что он мне флага не дал.

— Понятное дело, — сказал серьезно Степан.

Рядом стояла Ларка и слушала, как сказку, мой рассказ, которому я пытался придать шутливый тон. За перегородкой, на кухне, погромыхивала ухватами Зинаида, прислушивалась.

Наконец, рассказ мой печальный был завершен, я взялся за шапку.

— Погоди-кось, — остановил меня Степан. И повернувшись к занавеске, отделявшей кухню, крикнул: — Мать! Где моя рубаха красная?

— В сундуке! Где же ей быть…

— Иди-ка сюды. Достань!

Покопавшись в сундуке, поворошив в его утробе, Зинаида достала мятую красную, в белый горошек, Степанову рубашку.

— Ты не сомневайся, — сказал мне Степан. — Не вшивая! Стирана, одевана, полиняла маленько от пота. Но ничего! На-ка, скрои, — повернулся Степан к Зинаиде.

Я был потрясен поступком Степана.

Вот старик, думал я. Железный старикан! Я обрадовался, как ребенок. Ларка тоже что-то почувствовала. Ожидание праздника возникло в доме. В голове пронеслось: ради чего? Но это уже не имело значения.

Долго ли скроить из рубахи флаг? Наоборот — было бы сложнее.

Через двадцать минут все было готово. В наш лагерь, расположившийся на опушке, отправились втроем — Ларка запрыгала с нами.

Из будки, как сонные котята, жмурясь от яркого весеннего солнца, выползали монтажники. Закончился перекур с дремотой.

Узнав, в чем дело, Гордиенко вызвался лезть на елку. Ее облюбовали и он полез.

Мы стояли внизу, задрав головы. Смотрели на флажок над

зеленой еловой макушкой, крошечный на такой высоте. Да и в натуре он был невелик — Степан был щупловат.

Смотрели бессмысленно. Одна лишь Ларка счастливо улыбалась, закрыв один глаз от солнечных лучей. Камбала тоже смотрел одним глазом, другого у него не было.

— Дураки, — произнес он, — рубаху испортили.

А утром на следующий день приехал Бенюх. Привез хлеб и письма.

Походил туда-сюда мрачный. Собрал бригаду. Объявил, что не хватает трех рулонов толи.

Послали за стариком-шорцем, нашим сторожем. Тот прибежал, испуганный.

Бенюх упер в шорца взгляд из-под лохматых бровей. Тот задрожал и замотал головой.

Прораб без труда выяснил, что ночью дед замерз и ушел из будки спать к своей бабке.

— Продал? — допытывался Бенюх.

— Не продавал я! — клялся дед.

— Сколько было рулонов?

— Не знаю. Не считал.

Мы стояли рядом, посмеивались. Нарочно не считал! Нам было весело. Кому она нужна, толь-то? Надо — ее еще привезут — тысячи рулонов! Нам было просто смешно. Пропил дед. Эх, дед, ах, дед!

— Бабке-то поднес? — смеялся «блатной». И хлопал шорца по плечу, подмигивая.

Наконец, Бенюх сказал старику:

— Садись, едем искать.

Через час они вернулись какие-то странные.

Оказалось, что толь сперли второй бульдозерист по имени Слава, который возил с собою в кабине книжки, учился где-то, и голубоглазый моторист с дизеля с улыбкой киноактера — у него были красивые, чуть скошенные зубы. Сперли и продали, конечно, Агнюшке — за самогон. Его мы и пили в будке накануне.

Бенюх кипел, как медный самовар. Распарился, раскраснелся. Ему, с его кузнецкстроевскими замашками, такая простота нравов была не по нутру. Но не судить же за три рулона!

Плюнул, отматерил. Сказал, что вычтет из зарплаты. На этом инцидент был исчерпан.

Так мы справили день рождения вождя мирового пролетариата. Простенько и со вкусом.

Весной я почувствовал, что такое жить в тайге.

Вскрывшаяся речушка, которую мы подо льдом и снегом не замечали, превратилась в свирепую тигрицу. Со всех сторон в нее обрушивались потоки талых вод. Захлебываясь от восторга, она несла их своей царице — полноводной Томи. А та — еще куда-то. В Обь. Щепки, которые мы тут настрогали, могли запросто оказаться в Ледовитом океане. Это будило воображение.

А проза жизни со всей прямотой говорила нам, что мы отрезаны от внешнего мира — от Запсиба, который столько раз упоминали всуе. Теперь материнская пуповина оборвалась. Мы оказались предоставленными сами себе. Могли сколько угодно наслаждаться красотою меняющейся тайги. Вот только резервы таяли. Пора было позаботиться о пропитании.

Деревня же давно голодала. Мясные запасы иссякли. Степан все настойчивее поговаривал об охоте.

— Эх, — вздыхал он. — Лося бы завалить!

Однажды я взял с собою его Соболя и пошел в тайгу, держась опушки. Уже с неделю, как я стрелял дроздов.

Дрозд, между прочим, считался одним из самых лакомых блюд при дворе римского императора Лукула. А русские крестьяне ловили их сотнями в силки и доставляли господам к столу. Дрозд — единственная прыгающая дичь. Напоминает воробья и потому вводит в заблуждение.

Я бы не занялся охотой ради потехи. Но Бенюх не ехал. Дороги наладятся не скоро.

За утро я набивал из своей мелкокалиберной винтовки штук десять. Получался отличный супок.

У дрозда мяса — одна грудка. И на любителя — косточки пососать.

В тот день, попросив у Степана его лайку, я пошел с надеждой на более серьезную добычу.

Поначалу мельтешили одни дрозды. Перелетали по кругу с ветки на ветку. Их трудно стрелять. Надо быстро прицелиться, не дать себе подождать лишней секунды. Иначе дрозд вспорхнет, перелетит на другую ветку, ищи его потом в зарослях, выглядывай.

Но сегодня дрозды меня не занимали.

Я шел, углубляясь в тайгу. Вдруг среди молодой листвы, метрах в двадцати я увидел, как по широкой ветке, почти у самой земли, неторопливо передвигая лапами, шествовало что-то огромное — так мне почудилось, лохматое. Передо мной явилось такое диво, что я остолбенел.

Птица меня не видела. И Соболь на что-то отвлекся, не мешал. Сквозь небольшое оконце в листве я прекрасно видел

белую, роскошную грудь рябчика — а то, что это рябчик, я уже не сомневался. Я испытывал отвратительное сладкое томление убийцы. Соболь виновато присел у моей ноги и теперь в нетерпении подрагивал.

Раздался выстрел. Лайка сорвалась с места, как торпеда.

Да нет! С лайкой охотиться нельзя!

Когда я подбежал, Соболь рвал моего рябчика — только перья летели. Бедный голодный пес, он спешил получить свою долю.

Я жестоко бросился на него и отбил добычу.

Охотничий азарт погнал меня домой. Я показал Степану рябчика. Тот заохал, выругал Зинаиду, которая занарядила его ладить ей что-то по огороду. Степан порывался тут же бежать в тайгу на охоту.

Я отдал ему Соболя, сказав:

— Охоться сам со своим идиотом! Он и охотника может сожрать, такой голодный.

И помчался назад, рассчитывая настрелять еще с десяток таких птиц. А в том, что я их встречу, сомнения не было.

Обрадованный Пойкин взялся приготовить из рябчика суп, не дожидаясь новой добычи.

Я бежал, ничего не соображая. В кармане у меня была лишь пачка патронов. Мне казалось, что надо забраться поглубже. И я рванул напрямик. Весьма условно ориентируясь. Заметив лишь солнце за спиной.

Это был один из многих моих легкомысленных поступков. Я совершаю их в жизни с завидным постоянством. Один, без собаки, без оружия — моя винтовочка не в счет — не зная местности, без куска хлеба, одержимый неведомой для меня страстью, я ринулся в чащу, как в омут. Шел по редкой, не заросшей кустами и травой тайге, перебирался через поваленные стволы, проходил глухими низинами, где еще лежал снег, поднимался по южным склонам, украшенным оранжевыми цветами, которые называют — где огоньками, где жарками, — и ничего не замечал, окружающий мир для меня не существовал, я лихорадочно высматривал белое чудо, но оно не являлось моему взору.

Так, поднимаясь и опускаясь с сопки на сопку, я пробегал километр за километром — летом подобное путешествие заняло бы, возможно, целый день. Меня не насторожило ни то, что вокруг ничего не порхало, ни то, что становилось заметно холоднее, а в логах было полно серого снега, который я машинально, стараясь не потерять направления, обходил стороной.

Сколько бы я так шел, не знаю. Азарт — вещь непредсказуемая.

Меня остановило нечто такое, чего я встретить не ожидал.

В глубине овражка, по которому бежал веселый ручей, на границе снежного покрова и открытого песчаного бережка, у самой воды лежал гигантский лось. Огромные рога раскинули свои лопаты метра на полтора. Лось лежал на боку и задняя его часть была присыпана песком.

Я опасливо обошел животное и убедился, что лось мертв. Я стоял над ним и думал, что теперь делать. Любовался рогами, насчитал семь отростков на каждой лопате и приметил маленький восьмой.

Вдруг я заметил в нескольких местах неподалеку кучи свежего помета внушительного размера. От них шел еще легкий парок.

Я вздрогнул.

Если лось мертв, так кто же эти кучи оставил? Чьи это котяхи?

Только теперь я заметил поломанные стволы осин толщиной с оглоблю, множество мелких сучьев, ободранную кору на деревьях. Тут произошла битва и лось пал в борьбе за свою жизнь. Но кто мог убить такого гиганта? Кто наломал тут дров и потом засыпал лося землей?

Людей тут не было, не считая нас и двух десятков полуголодных доходяг-шорцев.

И тут я понял, что такое мог натворить только сибирский медведь.

Встреча с ним не входила в мои расчеты.

Ведь я спугнул его, подумал я. Он как раз собирался пообедать. Мог бы и меня съесть заодно на десерт.

Стыдно признаться, но по легкомыслию своему, я даже не слишком испугался. Лишь ноги проворнее понесли в обратную сторону.

Я рассказал Степану о своей находке. Что тут началось!

Деревня заволновалась. Мне пришлось опять отправляться в тайгу, показывать место. Со мной побежали шорцы. Хищно спрыгнули с откоса к ручью. Заработали ножами, рассекая лосиную тушу и нюхая отхваченные куски. Увы, зверь безнадежно протух.

И медведя след простыл.

Весь следующий день деревня готовилась к охоте. Катали на сковородах пули. Что-то ладили. Степан ожил. Готовился со всеми.

Вокруг мертвого лося на деревьях соорудили лабазы. На такой площадке и я просидел, дрожа от холода, одну ночь — ни пошевелиться, ни кашлянуть.

Медведь не желал появляться. Наверняка же голодный — но чувствовал: мы его ждем.

Я смотрел на вооружение Степана и шорцев: ружьишки жалкие, одноствольные.

Мне бы хотелось здесь украсить рассказ удачной охотой, но все было иначе. Две недели шорцы ждали зверя, простудились и заболели. Степан не мог сидеть каждую ночь — из-за работы. Наконец, медведь появился. Шорские ружьишки его не взяли. Пришлось вызывать матерых охотников из города. Приехал сам начальник охотсоюза с собаками. Пошла беспощадная травля по следу.

Наконец, медведя убили. В нем оказалось пятнадцать пуль и двадцать пять пудов весу. Вывозили его на чешской «Татре». Шкуру забрали в город, а мясо отдали деревне. Вид дымящихся повсюду труб над избенками хоть как-то успокоил мою совесть — неделю мы ели медведя всем миром, и взрослые, и дети, и собакам досталось.

16

В минуты покоя, когда заканчивался долгий день, полный суеты, я размышлял о превратностях судьбы.

Шорцы гонялись по тайге за зверем, Гордиенко — за их юными красотками, я изучал, как мне казалось, народ. Неужели я так рационален, что способен заставить себя это делать? Или, напротив, человек без царя в голове, и живу, движимый интуицией? Отпускаю вожжи, доверяюсь случаю — любой соблазн может меня увлечь в сторону от курса?

Я плохо понимал природу своих поступков.

Наевшись котлет из медвежатины, согревшись в избе, я решил, что пора перебираться на волю — май на дворе — надо строить землянку на опушке. И наутро, благо выходной, начал копать себе нору, забрасывать еловыми ветками.

Самое поразительное, что моему примеру последовали. И не только шебутной Годиенко. Лишь «бугор» с механизаторами, да Пойкин остались в деревне. А мы все наделали себе шалашей на солнечной опушке и блаженствовали.

Странный характер.

Однако, принимая издержки натуры в расчет, я не мог отбросить одно обстоятельство, пытаясь понять, почему я живу вне дома — не вне дома Степана, а вне своего дома.

Елена.

Роковой вектор моей судьбы.

Глупые юноши, не женитесь на красивых девочках!

Когда мы встретились, Елена представляла собою юное темноволосое существо с капризно подрагивающей губкой. На людей она смотрела глубоким затуманенным взором близоруких глаз — поразительной, доложу вам, красоты. Миндалевидные, карие, турецкие глаза сводили меня с ума. Добавьте к этому изящную фигурку восемнадцатилетней девушки, характер примадонны, привыкшей к компании не слишком привлекательных подружек, способность быть в центре внимания, умение вести беседу со зрелыми бойцами, к которым я причислял себя, и, наконец, просто необъяснимый, источаемый ею запах молодой самочки, — и вы поймете, почему я дрогнул.

— Володя, потом не обижайся, — сказала мне приемная мать Елены, хлебосольная казачка, которую в семье все звали просто Саня: — Ты берешь в жены не сахар.

Я пропустил мимо ушей.

Но, истины ради, следует сказать, что Елена была не единственной причиной моего офонарения.

У нее была старшая сестра по имени Софья. Сонечка, как мы ее называли. Душа компании. Нежная и мудрая. К сожалению, у нее был муж — зануда Дворкин, но это не мешало нам тайно ее обожать.

Мы пришли в театральную студию с моим другом Николаем двадцати лет от роду, решив попытать счастья на сцене. Что-то прочитали. Выглядели мы откровенными пижонами, которые лезут не в свое дело, но в зале, рядом с режиссером, производившим отбор, сидела Сонечка. Что-то ее сердечку подсказало, что в эту минуту на сцене нахально топчется ее судьба.

Так мы оказались в кружке людей, влюбленных в искусство. И в Софью. Зануда Дворкин тоже был нашим студийцем и у нас на глазах изводил нашу богиню. Мы ей сочувствовали и бесконечно ее обожали, не позволяя себе даже намека.

Надо ли объяснять, что я был рад, когда Софья решила познакомить меня со своей сестрой, «капризным ребенком», как она выразилась. Все, что исходило от Сонечки, не могло не быть прекрасным. Теперь мы и с нею стали чуть-чуть ближе. Незаметно я оказался в зоне действия чар девочки с турецкими глазами. Увлекся ею. А когда мы увлекаемся, нас отделяет лишь шаг от любви. А если полюбили, мы всесильны и, одновременно, покорны, как волы.

Вслед за мной к решительным действиям перешел и мой друг Николай. Через несколько лет Софья, освободившаяся от своего зануды, стала его женой. А я, развивая свой театральный роман,

одновременно начал полубезумный бунт на ниве внешней торговли — в доме на Смоленской площади, где просиживал штаны бухгалтером. Елена убеждала меня, что мои стихи хороши — спасибо ей за этот невольный обман, он перевернул всю мою жизнь, — и готова была разделить со мною рискованную свободу, если я ее обрету.

Через месяц после свадьбы мы стартовали с Казанского вокзала. Через два года в Сибири у нас родился сын. Елена назвала его в честь меня Владимиром.

Пророчество Сани иногда напоминало о себе, но я самоуверенно полагался на свою волю: усмирю!

Я был счастлив. Посвящал Елене стихи.

У меня есть жена.
Я добился руки.
Беспокойна она —
Беспокойней других.
Весела, точно шут —
Хоть из дома беги!
Про нее я скажу:
Веселее других.
Может солнцем блестеть,
Может печь пироги,
Может песню запеть
Сумасшедшей других.
Может стать не женой,
А самим сатаной,
Развеселую ночь
Прогулявшим со мной.

В новой обстановке ей было труднее, чем мне. Накрутив платок от пыли по сибирской моде, в ладной курточке, она прыгала с кочки на кочку очаровательной мастерицей. Ее строительный техникум был здесь уместнее, чем мой международный институт с китайским языком, и постепенно Елена адаптировалась. Приобрела пару глуповатых подружек. Елена их защищала, называла меня нелюдимым человеком. Когда Елена поступила в вечерний институт, к ней стал захаживать однокурсник — детина по фамилии Кузнецов, с простым русским лицом, — засиживался с конспектами. Я его не любил уже за то, что Елена вечно ставила его мне в пример, как человека простого и понятного, который, конечно, звезд с неба не хватает, зато с ним легко. А я «завернут». Кузнецов знает цель в жизни. А я запутался.

С первых дней в Сибири мы были с Еленой неразлучны. Моя компания стала и ее средой. Журналисты, поэты, молодые инженеры — это был замечательный круг общения, он стал для нее питательной средой. К Елене относились с рыцарским почтением, как к благородной паненке, что весьма укрепило ее в представлении о собственной значимости.

Но была и другая среда — мужское окружение Елены у нее на работе, в доменном цехе, который строился. И вот теперь — в вечернем институте. Моей самоуверенности, состоянию покоя, когда я мог не обращать внимания, кто рядом с моей женой, похоже, приходил конец.

Судьба сыграла со мною злую шутку — я оказался полностью во власти любимого мною существа. Я сам хотел семейного рабства, оно было для меня все еще сладостно. Но с какого-то момента я почувствовал, что я не единственный кумир в созданном мною королевстве.

Не успел я оглянуться, как Елена преобразилась — повзрослела, в голосе еще увереннее зазвучали нотки безапелляционности. Ее дамское окружение смотрело ей в рот. В мужских взглядах, бросаемых на нее, стала присутствовать вульгарность.

Когда родился сын, я с наслаждением отдался новым хлопотам, пеленкам-распашонкам, бутылочкам, прогулкам с коляской. Мы испытали все — и советские ясли, и сибирских бабок, к которым подбрасывали сына на день поползать на полу по половикам. Он рос-подрастал то у нас, то в Москве у наших родителей, и мы получали частые письма: как спит, что ест, вот, оказывается, уже не помещается на горшке, вот ведерко новое купили с совочком. Нам все было интересно. Я отбирал у Елены ее материнскую долю и взамен отдавал ей преображенное чувство любви к ней самой, виновнице моего нового счастья.

Прежде она была для меня смешным полуребенком, театральной интригой. И вдруг превратилась в нечто бесконечно близкое, родное, знакомое до каждой родинки на теле, вызывавшее беспокойство, тревожные страхи. Я бежал встречать ее после второй смены и вел домой за руку по ночному Запсибу.

Тем более непонятными представлялись мне глупые сцены, происходившие между нами — какие-то бессмысленные разборки, где слово за слово, и пошло… Повыясняем отношения — и бросимся друг другу в объятия в приступе нежности.

— Я хочу с тобой серьезно поговорить, — начинала Елена.

— О чем?

— О твоей жизни.

— Это что-то новенькое.

— Мне не нравятся некоторые твои черты.

— Это не Кузнецов ли тебя настроил?

— А что Кузнецов? У тебя нет его простоты. Ты все усложняешь. Тебя стесняются.

— Не думал, что именно такой тип мужчины тебе нужен…

— Не пытайся меня обидеть. Я тебя люблю. Но у Кузнецова, за что бы он ни взялся, все получается, а у тебя…

В сущности, Елена была права. Я брался за дело, казалось, очень важное, а спустя время выяснялось — не то. Я часто ошибался в людях. Радостно шел к цели, и вдруг обнаруживал тупик. Приходилось возвращаться, а это всегда мучительно.

Вот опять я приехал домой на побывку и нашел пустую квартиру. Елена на работе. Сынок — в Москве. Прикрыв дверь и привалившись спиной, я с минуту стоял, отдыхая, потом стащил тяжелые и грязные сапоги, расстегнул одеревеневшими пальцами ворот телогрейки, подошел в носках к табуретке, покрытой газетой. На ней среди пузырьков, тюбиков крема и белых пластмассовых цилиндриков бигудей лежало наше семейное зеркало, подарок моей древней бабушки, похожее на замерзший заснеженный пруд под слоем пудры.

Я смахнул пудру и взглянул на себя. Обветренный подбородок, потрескавшиеся губы. Я понюхал зеркало — оно пахло Еленой.

Скоро закончится моя придуманная жизнь в Старом Абашеве и я вернусь домой. Мы заживем, как обычно, привезем сына. Все нормально, сказал я себе. Еще немного — запустим домну, возьмем по кусочку металла на память и отправимся в Москву. Этой мыслью, уже не стыдясь ее, я все чаще заканчивал такие размышления.

Переодевшись, я вышел на улицу. Узнал новость: приехала группа телевизионщиков, снимают сюжеты о Запсибе. Когда я пришел к Гарию, где базировались гастролеры, там в теплой атмосфере попивали кофе с водочкой. Оказывается, эти раскованные и франтоватые ребята уже неделю будоражат Запсиб, принеся с собою позабытые нами манеры, необычный профессиональный жаргон, смелые разговоры.

Режиссер Алеша Габрилович — сын киноклассика — был, к моему удивлению, обо мне наслышан и захотел тут же, немедленно снимать меня. Ему была известна история погибшего сада, и он решил воскресить ее, тем более, что опять была весна и остатки яблонь снова цвели среди развороченной земли. Мы тут же отправились на место, я стоял перед камерой с глупым лицом и чувствовал себя не в своей тарелке.

Слава Богу, завтра назад в Абашевку. По открывшейся дороге,

вместе с моими собригадниками. Рядом с ними мне комфортнее.

Мысль о возвращении под родительский кров все чаще посещала голову. Но одновременно и пугала. Визит «киношников» показал, как я отвык от столичной среды. Вернусь в другой город, даже маршруты троллейбусов изменились. Никаких прежних связей. Студенческие контакты — смешно. А новых нет. Никто меня там не ждет. Одна лишь мама.

Но все равно сосет под ложечкой, тянет.

И ничего я тут не написал. Стихи наивны, журналистика беспомощна, республика Запсиб погибла. Правда, Леонович пишет: «Заряжен Запсибом на сто лет!» Пошел трудиться в толстый журнал. Грустит и дает мне ценные указания насчет своей телеутки.

Чего же я-то тут застрял?

Немченко я все равно не догоню — Гарий улепетывает по своей дороге семимильными шагами. И пример Паши Мелехина ненадежен. И Елена не татарочка Роза, у нее нет своего буфета, на шею к ней не сядешь.

К тому же у меня сын.

Но главное — мне стало неинтересно. Что-то прежнее, содержащееся в этой жизни, испарилось, осталась просто примитивная грубая, работа: лопата, кувалда, спуск-подъем, вонь портянок, тупая усталость.

Елену было тоже жаль. Вон как оживилась с приездом телевизионной группы. Надо и ее вытаскивать отсюда. Иначе — закончит она свой металлургический, обрастет барахлом, заменит табуретку с газетой на полированную тумбочку, разложит на ней свои принадлежности, посмотрит в нормальное большое зеркало, увидит себя — здоровую растолстевшую провинциальную бабу, — повернется ко мне и скажет: «Что же ты сделал со мною, Глотов?»

Слава Богу, доменную печь задуют летом и можно будет достойно уйти со сцены. Не накопив, не приобретя, не сделав карьеры. Сплошные «не». Хватило бы на обратный билет.

Хорошо, что в суматохе не потерялись две красные книжечки — комсомольские путевки — говорят, без них в Москве не прописывают. Какие простые и убогие заботы?

А может, нормальные?

Подпрыгивая на доске в кузове машины, я испытал вдруг прилив радости: решение принято!

Не сегодня, так завтра, не завтра, так осенью возвращаемся домой. И там сообразим, удачен ли был побег в Сибирь.

В Старом Абашеве нас ожидала невеселая новость.

Оставшийся один в деревне на выходные сварщик Годиенко, намеревавшийся поохотиться, отправился вечером на «пятачок» и, потеряв бдительность, толкался среди малолеток. Конечно, балагурил и ухватил в темноте какую-то девчушку. Волчата выследили его, налетели всей стаей и жестоко избили.

Гордиенко лежал в землянке, постанывал. Лицо опухло, глаза заплыли.

К тому же пропала моя винтовка, которую я отдал хохлу на хранение. Шорцы проникли к нему в землянку или сам Гордиенко таскал ее с собою по деревне, понять было нельзя. Хохол лишь мычал и мотал головой.

Мы согрели воды, осмотрели его боевые раны. Хотели отправить на стройку в больницу, но Гордиенко наотрез отказался. В таком виде не покажешься дома.

К вечеру Степан принес винтовку со слегка сбитой мушкой.

Случай с Гордиенко потряс меня непредсказуемостью завтрашнего дня. Я мог оказаться на месте сварщика. Или мы оба, останься я с ним, могли попасть в такую переделку. Привыкая к череде дней, мы перестаем понимать, что жизнь — это всего лишь совокупность случайностей, часто трагических. Мы расслабляемся, и потому так болезненны удары судьбы. Молодость безрассудна и опрометчива, лишь с годами приходит привычка жить ощупью, в постоянном внутреннем беспокойстве, жить как бы оглядываясь и сторожа беду.

Мне не суждено освоить это искусство. И слава Богу, иначе я кончил бы душевным расстройством.

Чем старше я становлюсь, тем с большей охотой полагаюсь на авось. И только иногда вдруг вздрагиваю, осеняю себя крестом, замираю на секунду — и опять живу-поживаю.

Заканчивалась моя таежная командировка. На фундамент встали стеновые панели, уродливые, как и все, что мы сюда с собою привезли. Может быть, когда поработают отделочники, когда расставят на поляне детские грибочки, а на мачте затрепещет на ветру настоящий флажок и среди елок забегают пацаны, обстановка изменится и не будет выглядеть столь омерзительно.

Последний раз я вымыл вместе со Степаном сапоги в ручье, испытывая неловкость — так чиста и беззащитна была лесная вода. И опять Степан меня успокоил:

— Она проточная, тут же светляет.

Мы простились.

Через несколько часов я возвращусь к своей прежней запсибовской жизни, в которой ничего не изменилось. Сообщу

Елене новость: мы едем в Москву!

Но я никак не предполагал, что куда более экстравагантное известие ожидает меня.

За время моей таежной отлучки произошли события, оценив которые я сделал невеселый вывод: дела мои плохи.

В мое отсутствие «киношники» снимали не только свои сюжеты, но и наших девиц. И Елена мелькала в их компании звездой первой величины. На нее положил глаз сам режиссер Алеша Габрилович.

Дело дошло до того, что во время очередной кофейно-водочной вечеринки Гарий Немченко, полагая, что моя честь задета, схватил спьяну со стены ружье и разрядил его в Алешу Габриловича.

К счастью, ружье было заряжено пыжом.

К тому же Гарий попал не в того, в кого хотел, а в безобидную овцу — в сценариста Оганяна.

Каким-то образом при этом оказался Владимир Леонович. Возможно, он приехал по литературным делам, здесь я теряю хронологическую ясность.

Ленивый, холеный Оганян лежал с обожженной коленкой. Над ним хлопотали.

Леонович, приняв гамлетовскую позу, драматически произнес:

— Гарий, ты совершил бесчеловечный поступок. И я с этой минуты не подам тебе руки!

Алеша Габрилович пускал слюни. Пытался ударить Гарика, но боялся.

Сам же «Бальзакушка», как мы называли Немченко, бормотал что-то невнятное в оправдание своего промаха.

Так мне обрисовал картину моряк Ябров, присутствовавший при этом.

Но никто — ни он, ни непутевый стрелок, ни жертва ошибки, ни даже Габрилович — никто и предположить не мог, что истинная мишень — совсем другая. Она, не проявленная, маячила тут же, рядом.

С этой минуты все у «киношников» пошло прахом. Работа разладилась. Пафос «лажать комсомол» улетучился.

Леонович успокаивал меня, говорил, что Габрилович скользкий малый, и это, по его мысли, должно было облегчить мое положение. А я, как будто кстати, привез из тайги роскошные лосиные рога. Я их самолично вырубил из башки зверя, извел три флакона одеколона, обрабатывая их, пол-лета проветривал на крыше у Степана. И теперь каждый знакомый запсибовед мог зайти ко мне в гости и убедиться, какой я герой. Поздравить меня

с трофеем.

«Киношники» уехали, а мы трое — Гарий, Леонович и я — решили устроить себе уикенд. Конечно, Елена была с нами.

Всей компанией мы отправились в живописный уголок, где располагался еще с тридцатых годов шахтерский дом отдыха. Вдоль аллеи возвышались покрашенные серебряной краской каменные фигуры героев труда. Мимо них прогуливались сами шахтеры. По вечерам они сидели в ресторане, просаживали деньги. А мы, обосновавшись в беседке, болтали, или гуляли по парку, придумывая рифмы: «Спаси Господи — девка в космосе!»

Гарий смирился с тем, что Леонович теперь не подает ему руки, пил пиво и сосал воблу. Сам поэт лихо крутил «солнце» на турнике под соснами. Потом он забрался на десятиметровую вышку и прыгнул в пруд «солдатиком». Елена была в восторге.

Гарий тоже разделся. Белый, как простыня, неимоверно толстый — сидячая писательская жизнь давала о себе знать.

Мы наслаждались летним теплом, забирались в отдаленные уголки парка за цветами, перетаскивали какую-то лодку и куда-то плыли по заросшему пруду. От того дня осталось ощущение полноты жизни.

А через день я отправился в Амурскую область.

Мы действительно не знаем, что ожидает нас за поворотом дороги.

В полумиллионном городе я оказался единственным со знанием китайского языка, и офицер генштаба, собиравший по Сибири особую команду для прохождения военных сборов, без труда вычислил меня. Вызванный в спешном порядке в военкомат, я в мгновение ока стал диверсантом-разведчиком и должен был отправляться для освоения новой профессии в городок с маловыразительным названием Белогорск, в десантную часть.

Я не помню такого жаркого лета. Целые дни мы проводили, раздевшись до плавок, на плацу, на раскаленном асфальте, учились укладывать парашют. Мимо медленным шагом проходил загорелый капитан, бракуя нашу работу. Вечером, лежа на койках, мы смотрели фильм «Тишина» — скоро вся команда принялась отпускать усы, подражая главному герою. Я ждал, когда крикнут: «Отбой, разойдись!» — и шел в бытовую комнату и на потертом сукне, покрывавшем стол, писал Елене письма. Но она не отвечала.

Остались позади волнения, связанные с первым в жизни прыжком с парашютом. За первым последовал второй, третий… А писем все не было. Мы научились пользоваться запасным, шелковым, бесшабашно вываливались из газотурбинных машин,

осваивая различные высоты, прыгали с оружием, с рацией, днем и ночью, меня уже крепко отматерили с земли, когда я чуть не сел на гигантский, вращающийся локатор, — но писем не приходило.

Письмо пришло тогда, когда ему не стоило приходить. Два события испортили радость. После трех недель солдатчины, я отправился с компанией на местную танцплощадку и, не заметив, как все случилось, оказался в сарайчике, который снимала у хозяйки крутобедрая немочка из уральских поселенцев, приехавшая в Белогорск на поиски мужа-офицера. В полутьме она не разобрала, в какую форму я одет — на мне было солдатское хэбэ, кирзовые сапоги — но немочку смутили лейтенантские погоны и институтский ромбик на груди рядом со значком парашютиста-десантника… Второе событие, омрачившее радость от получения письма, связано с нашим взводным. Он не стал раскрывать в воздухе запасной парашют, выполнять задание по имитации «нераскрытия» основного («Опять потом укладывать!» — бравировал он. Укладывать шелк, и правда, неудобно) — догнал в воздухе толстяка Петю, встал сапогами на его купол — тот, правда, и не заметил — и с высоты в сотню метров, прочертив своим погасшим парашютом в небе белую полоску, вошел по касательной в небольшое болотце. Это его спасло, взводный остался жив, но настроение у нас было испорчено.

В письме Елена настойчиво просила не приезжать без предупреждения, отбросить, хотя бы в этот раз, привычку являться, как снег на голову. Она писала, что хочет меня хорошо встретить, все приготовить к приезду и умоляла не лишать ее такой радости.

Я недоумевал: к чему такая озабоченность?

Но дал, как просила, телеграмму.

На пороге Елена лукаво погрозила мне пальцем: не шлялся ли я по ночным офицерским кабакам?

Я поспешил перевести разговор на запсибовскую тему, тем более что события у нас происходили эпохальные.

Задули домну!

Это стало реальным фактом пуска первой очереди завода. На торжество приехал Карижский. По словам Елены, Слава держался жеманно. Все было как-то «не так».

Я лишний раз подумал: пора уезжать.

С Еленой у нас происходили тяжелые разговоры. Во мне жило воспоминание о визите на стройку «киношников». И ей не давала покоя деталь, проскользнувшая в моих рассказах о городке в Амурской области — слово за слово, Елена вытянула из меня почти всю цепочку.

Осенью того же года, наскоро собрав чемоданы, пораздарив

все, что накопили за пять лет, упаковав только книги и необходимые вещи, мы прозаически отбыли с великой стройки.

18

Мы сели в поезд при Хрущеве, а в Москве вышли из вагона при Брежневе. За четыре дня, пока мы были в дороге, произошел дворцовый переворот. Тогда такое было в новинку.

На следующий день утром я пошел на свидание с другом. Леонович стоял на площади Маяковского, спиной к памятнику, держал под мышкой папочку, и когда увидел меня, швырнул ее далеко на траву газона, раскрыл объятия и так, широко раздвинув руки, пошел ко мне навстречу.

— Здорово, старик! — сказал он, обнимая меня.

Пугаясь Москвы, я неловко ткнулся в его грудь.

Так мы отсалютовали Запсибу на глазах московских пижонов.

Столица встретила меня с редким безразличием. Надо было подумывать об устройстве на работу. Во мне мешалось два чувства: я поглядывал на окружающих с надменностью профессионала, способного выдать в день пятьсот газетных строк, и при этом тревожно озирался по сторонам, ловил взгляды, прислушивался к разговорам в тех редакциях, куда заходил. Меня никто не знал. Да я и сам понимал, что выгляжу безнадежным провинциалом.

На помощь пришла мама.

Она рассказала, что во время войны подкармливала в Москве мужа своей двоюродной сестры, который учился в какой-то партийной школе. Я смутно помнил, что был такой «дядя Петя», страшно худой и вечно голодный, заходивший к нам пообедать. С тех пор много воды утекло. Мой отец умер, мы обнищали, а дядя Петя выбился в люди и, оказывается, стал главным редактором «Сельской жизни».

— Давай я позвоню Нине и она попросит его…

— А ты сама?

— Могу сама, но я его столько лет не видела.

— Ты и с Ниной не очень часто встречалась.

— Но она все-таки моя сестра. Я знаю ее детей, Алку с Галкой.

— Близнецов? — вспомнил я.

— Ну да! Позвонить?

— Попробуй, — сказал я неопределенно.

Мама позвонила и мне была назначена встреча в редакции газеты. «Дядя Петя» оказался одутловатым господином

неопределенного возраста и как бы без наружности. Конечно, войдя в кабинет, я не узнал в его хозяине своего родственника, но бодро воскликнул:

— Здравствуйте, дядя Петя!

И почувствовал себя сыном лейтенанта Шмидта.

Дядя Петя тоже проворно выпорхнул из-за стола и стал прохаживаться со мною взад-вперед по кабинету. Минуты две мы так походили с ним. Дядя Петя посоветовал мне побродить по московским редакциям, пропустив мимо ушей мое замечание, что я уже побродил.

— Ты запросто заходи ко мне, — сказал Алексеев, — не стесняйся!

Это был именно он, Петр Алексеев, делавший головокружительную карьеру, ставший всесильным главным редактором «Известий» в самые гнусные брежневские годы. Пришло время, и в моем кругу неприлично было даже упоминать о какой-либо связи с ним, не то, что о родстве или протекции. Я благодарил судьбу за то, что «дядя Петя» не направил меня на путь истинный, а отмахнулся от меня, как классический бюрократ. Говорят, он и был им, причем выдающимся.

Выйдя из кабинета Алексеева, я не спешил покинуть здание комбината «Правда» — туда не так-то легко попасть, без пропуска не пускали, — а пошел бродить по этажам. На шестом располагалась «Комсомольская правда». Именно здесь я пять лет назад беседовал с Борисом Панкиным, и тот запустил меня на сибирскую орбиту. Что ждет теперь?

Мне повезло, я встретил милого человека — Мишу Блатина, которого едва знал. Он выслушал мой рассказ и повел в свой отдел.

— Нам нужен стажер, — сказали мне. — Зарплата шестьдесят рублей.

Я подумал: ну вот, все сначала. Опять я ученик каменщика.

— Когда приступать?

— Завтра утром приходи с темой.

Утром я рассказал о двух комсоргах, Карижском и Качанове. А через два дня улетел на Запсиб с новеньким удостоверением корреспондента «Комсомольской правды» — повертеть им перед носом морячка Яброва и Паши Мелехина.

Первый год в «Комсомольской правде» был для меня поистине сумасшедшим.

Я оказался самым великовозрастным стажером — рядом со смазливыми блатными девочками, тоже стажерами. Но ведь и я был «блатной» — за меня хлопотал Блатин!

Я вкалывал, как негр. Двенадцать раз съездил в

командировку. Отвечал на письма, редактировал, дежурил в типографии — универсальный опыт многотиражки пригодился. Моим первым редактором отдела стал Александр Мурзин — автор знаменитого романа века «Целина». Он сам мне в том признался через много лет, а я еще уговаривал его написать новый роман «Как я писал „Целину“». Вместе с Ингой Преловской, своей помощницей, Мурзин выжимал из меня соки, чтобы потом сказать: «Это я сделал из тебя человека!»

По его милости и по заведенному в газете правилу, я дневал и ночевал в редакции. Возвращался домой заполночь. После дежурства нас развозили на машинах. Однажды я ехал, прижавшись плечом к поэту Андрею Вознесенскому. Он прилетел из Ташкента после ужасного землетрясения, с самолета — сразу в редакцию. Его стихи поставили в номер. Поэтому мы возвращались вместе домой.

Дома я застал Елену и Леоновича. Меня это не удивило. С моим другом случилась беда. Несколько месяцев назад он разошелся с женой и теперь часто пропадал у нас. Мы, как могли, ему помогали. Жалели его. Я уходил в редакцию — часто под вечер, дежурить, Леонович оставался с Еленой и нашим маленьким сыном. Жили мы в комнате моей матери, а она перебралась в новую, выделенную ей за всю послевоенную службу.

К ночи Леонович уходил. Мы провожали его до метро.

Трудно сказать, как бы долго так продолжалось. Сцены с Еленой становились все напряженнее. Сама она вела себя все увереннее. Я понимал: надвигается неотвратимое.

На кровати посапывал наш сын. И я оттягивал развязку.

Первым не выдержал мой друг Владимир Леонович. Эхо сибирского выстрела наконец-то докатилось до меня и я чуть не оглох, услышав: «Старик, извини, ты лишний».

Он популярно объяснил мне, что они с Еленой давно уже — я сперва не придал значения этому слову «давно» — вместе. Их чувства определились еще в Сибири.

Не тогда ли, когда Гарий Немченко целился в злодея Габриловича, а попал в невинного Оганяна?

Так почему же Леонович осудил его за бесчеловечный поступок?

А как надо было поступить человечно?

Теперь мне предстояло ответить на этот вопрос.

Я поинтересовался, как я должен поступить.

Вывод был категоричен: исчезнуть.

Я ответил, что сначала поговорю с Еленой.

Елена все отрицала. Кричала:

— Как ты посмел такое подумать?

— Леонович сам мне сказал!

— Ты что — не видишь? Кому ты поверил? Он шизофреник!

Я обнимал рыдающую жену, пытался успокоить. А сам думал: не похоже, чтобы Леонович был в бреду.

Не знаю, сколько бы так продолжалось, но однажды, когда я как обычно дежурил по номеру, статью по нашему отделу сняли, я неожиданно освободился в девять вечера и отправился домой.

Дверь нашей комнаты была заперта изнутри. Я подергал — тихо. Потом я услышал какой-то неясный шум, шепот. Заплакал проснувшийся сын.

Дверь открылась, меня впустили. В комнате, слабо освещенной настольной лампой с накинутым сверху платком, я различил остатки трапезы на столе, полузаполненные вином стаканы — как раз мама привезла из поездки в Молдавию бочонок красного вина и мы потягивали его через резиновую трубку, удивляясь: пьем да пьем, оно не кончается.

Однако рано или поздно всему приходит конец.

— Зачем ты пришел, Глотов? — сказала Елена. — Тебе тут нечего делать. Я тебя не люблю.

Эти слова говорились мне, но не мне адресовались, а моему удачливому товарищу. Он сидел в глубине комнаты, в тени.

Проснулся сын. Чтобы унять нервную дрожь, я взял его на руки, не понимая, что я должен делать. Елена отобрала у меня ребенка, стала укладывать, еще больше его тормоша и вызывая плач.

И тут вмешался Леонович, будь он неладен. Подождал бы лишнюю минуту, может быть, я ушел бы по своей воле.

Мой друг подошел ко мне и предложил мне удалиться, легким движением руки подтолкнув к двери.

Кровь мгновенно хлынула мне в голову, разум помутился. Я пришел в себя, когда услышал раздирающий душу крик вцепившейся в меня Елены. И вышел вон.

На следующее утро, проведя ночь у мамы, я шел по пути к своему дому и — о, ужас — лицом к лицу столкнулся с моим другом: его невозможно было узнать, так распухло его лицо, превратившись в темную тестообразную массу с заплывшими щелками глаз. Я не в силах был подойти к нему.

Елена встретила меня категоричным заявлением:

— Тебя посадят, имей в виду. Ты едва не убил его. Убирайся.

И сдернув с пальца обручальное колечко, которое я когда-то купил для нее, — а на второе, для меня, не хватило денег, — Елена швырнула его мне в лицо.

Кольцо отскочило. Я машинально поднял его и положил в

карман.

Я шел, как пьяный, и первый раз не стыдился своих слез. Не представлял, что они бывают такими обильными.

Как ни любил я маму, пребывание с нею мне показалось слишком тяжелым. Я снял угол у старухи на одной из Мещанских улиц. Старуха указала мне на тюфячок в полутемной комнате, где на кровати спала и она, а за фанерной перегородкой квартировала молодая проститутка. У нас даже возникло с нею нечто вроде платонической близости — она выслушала мою историю, как дамский роман, и возвращаясь после своих походов, звала меня выпить с нею чайку. Сентиментальное было время!

Колечко я, конечно, потерял. Возможно, старуха, пошарив в карманах, стянула его. Если на пользу — дай ей, Бог.

Так закончилась моя сибирская эпопея. Гарий Немченко, узнав о случившемся, сказал, что я молодец, и просил передать, что жмет мою мозолистую руку. Не стоит, считал он, жалеть о потерях.

Но мне было жаль моих потерь.

Я потерял жену. Под вопросом оказался доступ к сыну. Я лишился друга-единомышленника. Рухнула прекрасная сказка — сибирская «республика Запсиб».

Впереди ожидали тяжелые, как каменные глыбы, годы «брежневщины».

Но я давно заметил — трава зимой никогда не жухнет вся. Остается немного зелени. И стоит сойти снегу, как свежие побеги обнаруживаются под ногами.

Так и в тот тяжелый год. Через месяц позвонила Елена и сообщила, что я могу, если, конечно, пожелаю, забрать к себе маленького Володю. Таковы обстоятельства ее жизни, пояснила она.

— И только временно! — уточнила Елена.

Я боялся дыханием выдать свое состояние. Зная ее характер, можно было легко спугнуть судьбу, и я произнес, как можно спокойнее:

— Хорошо… давай так.

И целый год — бесконечность, если подумать, — мой четырехлетний сын прожил со мной в десятиметровой комнатушке. Я устроил его в детский сад под боком. И мне помогала соседка. А я бежал из редакции, сломя голову, домой и считал себя самым счастливым человеком на свете.

Глава 3
«Огонек»: скандал в благородном семействе

1

Летом, после больницы, меня, наконец-то, подвели к автомобилю, так и стоявшему с февраля в гараже. Дожидавшемуся хозяина. Я был страстным автомобилистом и все просил: «Ну дайте хотя бы ее потрогать, посидеть в ней».

Я уселся поудобнее, вытащил из кармана заранее припасенный ключ от зажигания. Мои родственники умильно наблюдали за мной: Боже мой, думали они, чем бы дитя не тешилось, лишь бы молчало. Я тем временем завел двигатель и благодушно улыбался, как дурачок. А потом в три секунды на предельной скорости умчался от них. Дал кружок по ближним улицам, Почувствовал: живу!

А через месяц, опять в роковое 19-е, теперь уже июля, случилось непоправимое — то, чего по самой природе человеческой не должно быть, что противно высшему замыслу, но настигает иных из нас за наши грехи или за грехи наших предков, — погиб мой старший сын. Пока я не могу рассказать об этом, может быть, когда-нибудь я напишу повесть о своем мальчишке, разберу его архив, опубликую его стихи и письма из Афганистана, но вот уже девять лет почти, а я не могу прикоснуться к заветной коробке, нет сил. Но внутри живет уверенность: со мною ничего не случится, пока я этого не сделаю. Это мой долг, остающийся на Земле. Успею, думаю я. А сам оттягиваю, понимая, что тогда меня здесь уже ничего не задержит.

К осени восемьдесят девятого я вернулся в редакцию. Коротич, как оказалось, на второй день после того, как я свалился, зашел в секретариат, где как раз находился Лев Гущин, и в своей торопливой манере обратился к Сергею Клямкину: «Глотов в этот кабинет больше не вернется, это очевидно. Занимайте его стол. Действуйте!»

Сергей стоял, готовый провалиться от стыда, под пристальными взглядами онемевших Воеводы и Гущина, и молчал. Краска залила его лицо. Коротич еще с минуту поговорил на эту тему и выпорхнул из моего кабинета. Надо сказать, я плохо

представлял расклад сил в редакции, вернее, представляя его в общих чертах, не придавал ему значения, был в стороне от внутренних интриг. Демарш Коротича в мое отсутствие, сделанный так откровенно, демонстративно, означал только одно: Виталий Алексеевич, при всей внешней беззаботности, очень обеспокоен усилением роли Льва Гущина в редакции и превосходно осведомлен, кто с кем связан, кто кому предан, кто на кого ориентируется. Поэтому выбор бедного Сергея Клямкина был не случаен и, по-своему, коварен. Сергей вел себя независимо, соблюдал субординацию, через голову начальства не перепрыгивал, ко мне относился с трепетом ученика, я чувствовал его любовь и преданность. И если бы Сергей действительно поспешно занял мой кабинет, он потерял бы лицо в редакции. Он это понимал. И главный редактор просто проверял его реакцию, но в основном — реакцию своего зама и работавшего в паре с ним заместителя ответственного секретаря Володи Воеводы, человека мягкого, внимательного, но, как все люди, не лишенного самолюбия и тщеславия. Надо сказать, Коротич едва не добился своего в попытке рассорить секретариат. Закалка людей не позволила конфликту вылиться наружу. Но тем не менее на следующий день Гущин ответным ударом распорядился прямо противоположно: Воеводе поручил общее руководство, а Сергею — подготовку материалов, подбор, словом, то, чем он и раньше занимался.

Я пришел и все как будто вернулось на круги своя. Формально я оставался ответственным секретарем редакции, но мои заместители щадили меня, они уже привыкли работать самостоятельно, и я чувствовал, что играю для них роль лишней передаточной шестеренки. Брать в руки все, становиться опять редакционным волкодавом — мне было уже не по силам. Да и не хотелось, исчез кураж. Что-то неуловимо изменилось в редакции. Я еще не понимал — что? В коридорах, в кабинетах встречались незнакомые лица, какие-то современные мальчики в замшевых куртках и кроссовках «Адидас», размалеванные дивы попыхивали сигаретами над чашечкой кофе. Кто такие? Чем занимаются? При редакции, как грибы облепившие подгнивший, питающий их березовый пень, образовались коммерческие службы: «Огонек-видео», «Огонек — антиспид», какое-то совместное с англичанами предприятие, какое-то издательство в Одессе. Секретарша в такой приблудной конторе получала в три раза больше нашего спецкора. Элита «Огонька» заволновалась. Пока лучшие силы редакции в поте лица трудились на ниве перестройки, за гроши, за спасибо, за доброе слово на летучке, за идею, шел процесс совершенно иного свойства, делались деньги. В нашей конторе

появился коммерческий директор. В кабинетах стало теснее, так как часть помещений пришлось отдать пришельцам, которые обзаводились компьютерами, принтерами, ксероксами, съемочной аппаратурой, и на нас уже посматривали, как грибок на длинной ножке на вскормившую его плесень: вполне пренебрежительно. Элита дрогнула и побежала к новым людям в услужение, кто сочинять предисловие к очередной, издаваемой на базе публикаций «Огонька», книжке, кто, забросив текущие дела, кропать сюжетец для видеофильма — за наличные. В кабинете Гущина теперь обосновался штаб этой околожурнальной публики и сам он был все время занят коммерческими проблемами, летал то и дело в Лондон, а на наши, привычные дела отрывался нехотя, с гримасой усталости на лице. Коротич же и вовсе пропал, словно основное его место жительства находилось за границей, а к нам он приезжал в командировки.

Так прошел почти год. Я перебрался в обозреватели. Теперь у меня не было не только кабинета, но вообще никакого служебного места. Это меня устраивало. Большую часть времени я сидел за столом дома, летом — в деревне. Меня оставили членом редколлегии, полагая, что вреда от меня не будет. И в то же время — в знак уважения. Я же с удовольствием окунулся в привычную атмосферу индивидуального творчества — полжизни я чем-то руководил, полжизни был сам себе хозяин, спецкорствовал. Теперь я опять, как вольный казак, ездил по стране и даже летал на самолетах, сам удивляясь, как выдерживает сердце. Первый такой полет я совершил под опекой Аллана Чумака, с которым отправился на тусовку экстрасенсов в Дагомыс. Забыв о лекарствах, об осторожности, пил потихоньку вместе со всеми коньячок, навещал обязательную в таких поездках финскую баню и даже плавал в бассейне рядом с Чумаком. Хотел было попросить местного радиста объявить публике: «В бассейне Чумак! Вода заряжена!» — но пожалел моего нового знакомого. Словом, я был бодр, успевал повсюду, как будто со мною ничего не случилось.

И даже улетел за океан, к Антону, младшему сыну, который в это время обосновался в Нью-Йорке в художественной студии Марка Костаби.

2

Лев сказал мне: «Денег мы тебе не дадим, сын прокормит, оплатим только билет».

Может быть, он от греха хотел спровадить меня из редакции

и постарался сделать это подешевле, а может, действительно всю валюту растранжирила наша стрекоза, и мне еще повезло, что оплатили проезд.

Это была как бы последняя радость, подарок, клок шерсти с овцы, расплата за рубец.

И вот я опять в Нью-Йорке. Зима похожа на наше прохладное лето. Иногда по-осеннему задует. На улицах, на сплющенных коробках, мерзнут черные. Три дня я слова не мог выговорить, пугался. Потом прислушался: на каком-то странном английском говорят в Нью-Йорке. Китайцы, латины. Вавилон! И каждый лепит со своим акцентом. А я что — рыжий?

Антон щедро снял мне номер в самой дешевой гостинице неподалеку от знаменитой сорок второй улицы. За сорок долларов дали даже ключ от двери. Две кровати, умывальник и сломанный телевизор. Ночью я проснулся в холодном поту: по кровати деловито передвигалась средних размеров крыса. Антон, которому жить было в общем-то негде, он, экономя, то скитался по друзьям, то ночевал, в тайне от администрации, на диване в студии, спокойно спал. Привык.

Днем я был предоставлен сам себе, ходил, положив в карман три тысячи долларов, заработанные сыном, которые он мне вручил, и разглядывал витрины магазинчиков. Накупил сдуру всякой ерунды.

Навестил Сашу Серебряникова, вспомнили былые времена — без обиды, да и без особого интереса. Я ему рассказал последние новости. Сообщил, что Карпинский теперь в фаворе, вышел из партии, стал главным редактором «Московских новостей». Серебряников послушал, ничего не ответил. Бывший вор-медвежатник и советский диссидент не хотел ворошить старое. Тогда я попросил его помочь мне, порекомендовать переводчика — я собирался проинтервьюировать художника-миллионера Марка Костаби, а моих навыков общения на английском хватало только в магазине. Серебряников сказал: «О`кей!» — и прислал ко мне паренька с сионистской звездой из проволоки на волосатой груди по имени Давид, сына эмигрантов из России.

С Давидом мы и отправились к Марку.

Марк Костаби — не фамилия, а псевдоним, столь же странный, как и его искусство. Сам Марк олицетворяет всеобщую американскую мечту: простой человек, сын эмигрантов из Эстонии, стал миллионером, благодаря собственным усилиям. Ему никто не помогал. Он всего добился сам. При это Марк подчеркивает, что его успеху способствовало, что он никогда не курил и не пил. Чисто американский комплекс и выпендреж.

Рядом с Давидом Марк смотрелся неприличным богачом,

хотя в Америке миллионеров, как у нас пенсионеров. У Давида же нет ничего, кроме бутылки ликера, из которой он то и дело посасывает, и стихов собственного сочинения. И, конечно, гордости. Давид — как бы начинающий Эдичка Лимонов. И так же ненавидит американский истэблишмент. Он постоянно произносит: «Говно». Все у него «говно». А уж Марк, к которому мы идем, конечно, «говно», раз он миллионер.

Безумная тоска в глазах у парня. Его привезли сюда 16-летним, десять лет он болтается по Манхэттэну неприкаянным. Все, что он вынес из своей одиссеи — это острый ум, ироничность, ненависть к черным, ненависть к богачам, презрение к труду, к карьере, к благополучию. Он сказал, что палец о палец не ударит, чтобы зарабатывать на жизнь, и уже привык существовать на пособие. А у черных, которых он ненавидит, целые поколения так живут, есть династии, которые никогда не работали, передающие от деда к отцу, к сыну и внуку способность не работать, а есть. У Давида всегда хватает на глоток бормотухи, не дорогого пойла, и он согласился со мной пойти к Марку не ради заработка, а из интереса, из-за зеленой тоски, которую я высмотрел в его глазах.

Мы шли по 38-й улице на запад, мимо «парков», забитых машинами, мимо складов, казавшихся заброшенными, мимо стоявших группами черных.

Давид спросил:

— Вы не расист?

— Нет, что ты! — поспешно ответил я.

— Будете им, — уверенно произнес Давид.

Это особая тема — отношение наших эмигрантов к негритянскому населению американских городов. Известно, что наши выбили черных из Брайтона, теснят их на традиционных участках работы. Конкуренция? Возможно. Но и что-то еще. Какой-то комплекс неполноценности, способ утвердиться в чужом благополучном мире, вымещая злость на тех, кто кажется еще презреннее тебя, но пользуется большими льготами.

Я видел: бары, дискотеки, видеосалоны, заведения под названием «Love fantastic» (имитация публичного дома), не говоря о магазинчиках, лавках, кафе и кинотеатрах — все заполнено с утра и до ночи черными парнями с сытыми, бычьими шеями. Эти парни то и дело двигают ручками управления игровыми автоматами, швыряя квотеры один за другим. Листают порнографические журналы. Ловят кайф, посадив на колени девицу в трусиках, в полусне закатив глаза. И отсчитывают ей уже не квотеры, а баксы. А она машинально прячет их в висящий на голом бедре кисет. Они повсюду в Нью-Йорке, эти парни, во всех

закоулках «Терминала», гигантского автовокзала, где можно, не выходя из него, годами просто жить. Они на улице, сидят на коробках у стен, вытянув ноги, мешая людям пройти. На лавках Централ-парка часов с одиннадцати вечера — с этой поры парк полностью в их власти и заходить туда не безопасно. Это зона гомосексуалистов, их тусовка. Когда Антон прилетел в Нью-Йорк, Марк дал ему в качестве аванса сто долларов, а менеджер, очкастая девица, объяснила, что нянек тут нет, вот газеты, подыщи себе квартиру. Был уже седьмой час вечера, и Антон с русской неспешностью пошел прогуляться, забрел в парк, вроде наших Сокольников, присел на лавочку и стал разглядывать газету, а мимо пробегали студенты и молодые преподаватели Колумбийского университета, тренировались, здесь же гуляли молодые мамаши с колясками, потом вдруг эта публика исчезла и начала появляться другая. Антон ощутил тревогу и решил удалиться от злачного места, но квартиру он себе не выбрал, да и поздно уже. А так как он рос неприхотливым ребенком, десять лет провел в подмосковных лесах на этюдах, мог и заночевать в лесу, он, не смущаясь, забрался поглубже в елки, устроился поудобнее и заснул. А утром, когда выбрался на аллею, по парку опять бегали молодые профессора.

Когда Антон рассказал наутро, где он провел ночь, на него посмотрели, как на ненормального.

Нет, реакция Давида на черных не беспочвенна. Один профессор-русист объяснил мне, почему они кормят такую уйму черных бездельников, не лишают их льгот, привилегий, да еще слушают их бесконечный стон по поводу их униженного положения.

— Да заставьте их работать! — горячился я.

— Нельзя.

— Почему нельзя? — недоумевал я с присущим нам российским максимализмом. — Перестаньте их кормить! А вы кормите их до седых волос, вот они и играют в игрушки.

— Нет, нам это не выгодно.

— Что не выгодно? Не выгодно, чтобы они работали?

— Они не будут работать.

— Ну да, не будут! — засмеялся я. — Заставьте. Нажмите на них!

— Тогда они возьмутся за оружие.

Вон, значит, что. Вот какой расчет! Обществу выгоднее содержать массу бездельников, мало способных к работе, развращенных ленью, чем втягиваться в конфликт с этой массой. Американцу не нужна лишняя головная боль и он готов выдержать добавочный налог на содержание иждивенцев. То есть

поделиться частью своего богатства, заплатить за свою безопасность. Лишь бы не разжечь социальный конфликт. И американский обыватель платит. На эти деньги лучшая часть черных осваивает профессии, учится, вливается в общество, полноценно и демократично, а худшая — деградирует. А мы все ищем меценатов, спонсоров, благодетелей, жертвователей. Обращаем взоры к «новым русским» с призывом раскрыть свою душу, расщедриться. И вручаем им призы, ласкаем их и тешим, когда они отщипывают бедным людям крохи. И все восторгаемся: какие замечательные русские люди! И, вглядываясь в прошлое, сравниваем их с купцами, занимавшимися благотворительной деятельностью, и еще Бог знает, какую ерунду порем, вместо того, чтобы просто и ясно, как американцы, представить расчет: не поделишься, все потеряешь. Что, собственно, и из отечественной истории вытекает. Не надо глядеть за океан.

Так мы шли с парнем нью-йоркских улиц, направляясь к удачливому художнику, к его студии — трехэтажному зданию с раскрашенной красной и синей краской стеной и надписью трехметровыми буквами: «Костаби». В этом доме и выставка картин, и офис, и студия, где создаются полотна. Там сейчас мой сын Антон, типичный наемник. Командос холста и кисти.

Я был обескуражен, узнав технологию создания картин. На третьем этаже, как видно в бывшем цехе, между железобетонными колоннами стояли мольберты, штук двадцать. Чтобы не замерзнуть, над головой висел агрегат, нагнетающий горячий воздух, а каменный пол был застелен паласом. Каждый художник устроил себе местечко сообразно вкусу, поляк — по-польски, венгр — по-венгерски, американцы — на свой лад, Антон — по-русски, весьма прочно. Тут же стоял испачканный краской музыкальный центр с грудой таких же, разукрашенных от прикосновения к ним, кассет, и кто-нибудь подходил, менял кассету и опять грохотала американская поп-музыка.

На мольберте Антона кнопкой был прикреплен небольшой листок — эскизик на ксероксе. Он на него иногда поглядывал нехотя. А больше доверял своей фантазии. Редко в зал поднимался по винтовой лестнице Марк, двадцатишестилетний малый с чертами лица прибалта. Иногда появлялась Лиз, менеджер-разработчица, которая прежде сидела тут же, среди художников-исполнителей, но потом перешла на второй этаж — создавать эскизы. Насколько я понял, Марк вообще не прикасался к полотнам, кроме того момента, когда он подписывал своим именем готовые работы. Думаю, он и эскизы не делал — для этого существовала Лиз. Марк следил за сохранением стиля.

Этот конвейер молотил и молотил с утра до вечера. Сын

поначалу взял разгон со всею нашей страстью, решил показать, на что он способен. Пустить пыль в глаза. За день закончил картину, на которую ему отвели несколько дней. Тогда его коллеги, интернациональный коллектив, популярно объяснили ему, что таким способом он больше денег не заработает, здесь платят за время, за часы, проведенные в мастерской — и только. «Понял, русский?» — спросили его. Он, конечно, понял.

Марк Костаби зарабатывает на каждой картине по 30 тысяч долларов. Своим наемникам он платит 7 долларов в час. Я сказал сыну: «Ваш Марк — типичный грабитель». Нет, ответил он мне, нормально. Он дает работу молодым художникам. Сюда приходят даже те, кто имеет свои студии: американцы не упустят случая заработать лишний доллар, если есть минута свободного времени. Это его бизнес, он его придумал. Молодец! Какие могут быть претензии?

Марк Костаби начинал никому не известным иллюстратором. И к нему, когда он приехал в Нью-Йорк, в полной мере был применим принцип этого города: хочешь разбогатеть, придумай что-то такое, чего здесь еще нет. И Марк придумал.

Каждый день в окне своей квартирки он стал выставлять новую картину. Работал с сумасшедшей скоростью, но ни разу не нарушил принцип. Люди идут — видят: опять новая!

Люди стали ждать, когда он сорвется, а он все рисовал и рисовал.

И это было самое главное: вызвать к себе интерес. А когда Марк продал первые свои работы, он нанял художника, чтобы легче было ежедневно обновлять свою витрину в окне. Этот принцип он заложил в свой бизнес.

Теперь он миллионер и на стене в студии висит лозунг: «Идеальный художник не рисует!»

Марк периодически меняет свои «дацзыбао». Например: «Большинство художников свои идеи продают, я — за свои плачу».

Или так: «Используй натурщицу только тогда, когда закончишь картину». Это как бы служебное правило, установка для персонала.

Чем больше я вглядывался в личность Марка Костаби, а через него — в Америку, тем яснее понимал, как далеки мы от нее. Мы давно превратились в иждивенцев. У нас атрофирован орган, которым зарабатывают. Мы могли только «получать», и в этом состоянии, отвратительном и, одновременно, счастливом, мы, интеллигенция, компенсировали свое убожество рассуждениями об особом предназначении России и нас, русских, мы верили во всю эту ахинею, все более деградируя. Поэтому то, что произошло

затем, через несколько лет, как бы мучительно оно ни было, было нашим спасением, поистине возрождением нации. Появилась надежда, что русский человек, возможно, от природы более созерцательный, чем другие, не закончит свою историю полной деградацией и распадом личности, потерей воли к жизни. Кооператоры, «челноки», да и последние презренные рэкетиры, делящие городки России на зоны влияния, — лучше, чем сонные мухи бездумных, ленивых совслужащих и полжизни перекуривающих работяг. Это — как выброс руки тонущего, задыхающегося человека. Утопающий и жалок, и страшен, он может причинить вред тому, кто пытается ему помочь. Но в этих конвульсиях — движение к жизни.

Наш народ напоминает человека, перенесшего подобное страдание, оказавшегося на грани гибели. Он тоже рано или поздно начнет ценить выпавший ему шанс на спасение. И его уже не заманишь в прижизненную дремоту. Хочется в это верить.

Но полной уверенности нет. Инфантильность уходит, это бесспорно, а вот во что вложим мы душу — еще вопрос. Мы, целый народ, вырастаем в считанные, в историческом смысле, сроки. Меняемся на глазах у всего мира. Начинаем рассчитывать только на себя. Привыкаем к мысли, что только тем, кто рассчитывает прежде всего на себя, помогает Бог.

Я посмотрел на то, что делает с картиной, которую подпишет Костаби, мой сын. Ну и ну! Опять хитроумные «примочки». Кошку нарисовал на крыше, Сталина в чердачном окне, указатель «Москва-Петушки». Еще что-то, домашнее, не американское. И эта картина будет висеть в каком-нибудь офисе токийского банка или над кроватью американского нувориша, разбогатевшего на бытовой электронике.

Марк решил построить самый высокий в Нью-Йорке небоскреб, чисто американская блажь. Рассчитывает, что японцы дадут миллионы. Ему хочется отгрохать такую штуковину, чтобы доказать: простой человек, без помощи бюрократии, политиков сделал это. А все потому, что не пьет и не курит!

В бедной гостинице, где по ночам разгуливают крысы и полно тараканов, где на каждом этаже вас встречает приветливая мулатка словами: «Ес, сэр!» и показывает на пальцах, что счастье стоит всего десять долларов, я спросил сына, вспомнив картины Костаби:

— Скажи, эти его синие человечки, которых вы рисуете для него, условные фигуры, населяющие его картины, это что — хохма? Он прикидывается?

— Нет, он честный человек.

— А он понимает, что рисует, вернее — что вы для него

рисуете?

— Если понимает, он умный человек Хотя в жизни он — циник. Миллионер! Правда, не отказывает себе в удовольствии покушать с нами раз в неделю за счет фирмы, когда нас угощают бесплатным обедом. И повесил замок на таксофон. Чтобы мы не наговаривали за его счет по междугородке. Но мы все равно его накололи, нашли способ.

— Так хорошие у него картины?

— Хорошие. Но все равно — плакат.

— Я тебя не понимаю.

— Попробовал бы он нарисовать руку, ее изгиб, так, чтобы рука бритву просила. Тогда это искусство! А тут? Живопись — это когда делаешь живую вещь, такую, что будет изменяться: завтра придешь, она другая.

— Так что же он за художник?

Антон пожал плечами:

— Художник. О его картинах можно говорить. Это уже не мало.

Я летел в Москву и вспоминал Марка Костаби с его мечтой построить небоскреб, со скоростными лифтами, ресторанами, музеями, художественными студиями, квартирами для художников, этакое жилище муз из стекла и бетона, который, конечно, окупится и будет приносить доход. А как же иначе? Марк, объясняя, попросил, чтобы принесли ему карту, показывал: вот здесь он будет, в Бруклине. На полпути из аэропорта. И я понял: этот парень, которому нет и тридцати, своего добьется. Самоуверенный, счастливый, повторяющий гордо: «Да, у меня прекрасная карьера!» Такой не российский, не близкий нам, неприкаянным. Но напоминающий нам, что мы бедны и неудачливы не по чужой злой воле, а по собственной глупости и лености. Да еще из-за зависти друг к другу.

И словно подтверждая выводы, с которыми я приближался к дому после американской экскурсии, редакция «Огонька» встретила меня грандиозным скандалом.

3

«Огонек» готовился к переходу на экономическую самостоятельность и договорные отношения с издательством «Правда». Такие процессы шли повсюду. Коммерциализация жизни захватила нас, но при этом очевиднее стал разрыв между возможностями коллектива и тем, что он реально получал. Дочерние предприятия «Огонька» откровенно грабили редакцию,

занимались своим бизнесом, нагло эксплуатируя наш имидж. Коротич трусил. Перспектива быть уличенным в злоупотреблениях реально нависла над ним. Но коммерческими подразделениями руководил Гущин, его вечный зам-соперник, наступающий ему на пятки. И тогда мастер интриги, не меньший, чем Лев, Виталий Алексеевич призвал на помощь нас, бессребреников. Сам ли он додумался или кто-то подсказал ему этот иезуитский ход, не знаю. Но только была создана редакционная комиссия из людей неискушенных в таких делах, хотя и уважаемых. С наивностью чеховских персонажей они принялись за дело и скоро накопали криминала, если не на посадку, то на оргвыводы. Следом за нашей самодеятельной группой за дело взялись профессионалы-аудиторы, и задуманная главным редактором интрига вышла из-под его контроля. Идеалисты, увидев, с какой ситуацией они столкнулись, потребовали от Коротича решительных действий: как минимум выгнать Гущина из редакции. Их довод был, что называется, железным: нельзя оставаться лидером журналистики, рупором идей перестройки, демократизации, обновления общества, создав внутри себя гадюшник. Какая-то фирма, учрежденная журналом, нигде не зарегистрированная, не платившая налогов, продавала свою продукцию — в том числе на Запад — под крышей «Огонька», все ее отчисления растрачивались бесконтрольно, как будто это личные деньги. А по документам получалось, что финансовую ответственность за фирму несет журнал и, если придется уплачивать штраф и задолженность по налогам — журнал обанкротится. Экономически. А политически? Гущин уверял, что подключит лучших экономистов из ельцинского окружения и зарегистрирует на льготных условиях задним числом злополучный «Огонек-видео». Коротич отдавал себе отчет в том, что, выйди такая информация за стены редакции, и «Огонек» прекратит свое существование. Он взял со всех слово — особенно с членов комиссии, — что они будут до поры молчать, а он, мол, с треском уволит Гущина. Но Лев ответил упреждающим ударом — задействовал силы внутри редакции и вне ее. Виталий Алексеевич причитал, охал: «Это мафия!» А в это время происходили перемены в большой политике. Ушли с арены Александр Николаевич Яковлев, поддержка и опора «Огонька». Ушли Бакатин, Шеварднадзе. Горбачев нашел новых сподвижников — Янаева, Пуго, Крючкова, Язова. Возможно, Коротич уловил смену вех. И в его глазах Гущин из противника стал преображаться в союзника, желанного и своевременного. А лишними, как в таких случаях бывает, оказались гонцы, принесшие дурные вести.

Критик Вигилянский. Заместитель ответственного секретаря Клямкин. Именно их и сделал Коротич, сперва исполнителями его воли, а потом — козлами отпущения. Спустя время, Вигилянский рассказал об этой закулисной борьбе в интервью журналу «Столица», из этой публикации я и черпаю сведения. Сам же я практически ничего не знал, а когда, как член редколлегии, однажды удостоился зачтения отчетной записки Мосаудита, то глупо хлопал глазами. Я не верил, что Лев Гущин — вор, как не верил и тому, что Сергей Клямкин — лжец, а Владимир Вигилянский — интриган, амбициозно преследующий свои цели.

Состояние было отвратительное.

4

Вот уже несколько недель Коротич не собирал редколлегию. Зато собирались подписи — в защиту Льва Гущина, которого Виталий Алексеевич, сделав свой выбор, вновь назначил первым своим замом. Приказ об этом висел на стене, недвусмысленно показывая всем, что ожидает их в будущем. Редакция через несколько дней переходила на новые принципы работы — по контракту. Вее до единого — кроме Коротича и, как выяснилось, его первого зама, оказывались за чертой. И с каждым в новом году будет — а может, и не будет, — заключен контракт. Пока только на год. Коротич, при случае, не забывал упомянуть, какие материальные блага вот-вот обрушатся на редакцию. Мало кто знал, что договор с издательством «Правда» — кабальный, что две трети дохода от журнала по-прежнему будут поступать в кассу КПСС. Люди ожидали манны небесной. И в этой обстановке тревоги, неопределенности, возросших аппетитов и простой, естественной надежды на лучшее будущее, свойственной человеку, людьми легко было манипулировать. Первым дрогнул «женский батальон» Юмашева — но это понятно. А вот что заставило Владимира Чернова поставить свою закорючку под «письмом коллектива»? Почему он вместе с другими выразил любовь и преданность начальству — вот это обескураживало. Но ни о верноподданном «письме коллектива», ни о том, кто из моих друзей его подписал, я не знал.

Все происходило слишком поспешно. Иногда мне кажется, появись какой-то люфт во времени, позволяющий обдумать, взвесить, я бы мог поступить иначе — и это пугает.

Прилетев, я тут же, едва ли не в тот же день оказался в редакции на праздничной встрече в зале, где собирались летучки и заседала редколлегия: теперь тут была вся редакция. Внешне —

улыбающиеся лица, ощущение предновогодней таинственности, но шутки какие-то деланные, а улыбки осторожные, с оглядкой. Расселись. Коротич произнес короткую банальную речь по случаю праздника.

И вдруг — не помню, кто был первым, несколько человек, один за другим, прошли к столу, за которым сидел главный редактор, и положили перед ним заявления об уходе.

Всю ночь я размышлял, как поступить. Я не знал подробностей, деталей, лишь в основе своей ухватывая смысл происходящего. Я не понимал, почему Коротич не хочет сделать результаты аудиторской проверки достоянием гласности. Если Лев Гущин чист, пусть об этом узнают все. Но если факты скрываются? Значит… А может быть, у главного редактора есть основания беспокоиться не только о судьбе своего заместителя? И что за личности все плотнее сжимают кольцо вокруг самого Коротича? Какие-то темные лошадки. Там, наверху, большие перемены — Янаев с компанией а тут, в редколлегии, зеркальное отражение тех перемен? Но если ушли мои товарищи, с кем же я остаюсь? Однако не обо мне речь — с кем остается Коротич? И если завтра уйду я, то наша редколлегия превратится полностью в партийный орган. Да это же маленький «коммунистический переворот». И поразительна легкость, с какою наш Виталий Алексеевич, кумир редакции и миллионов читателей, наше знамя, согласился расстаться с нами. «Ну, кто? Кто еще?» — восклицал он нервно. Как будто выступающих выкликал на летучке.

А я? Я сидел, как и все, молчал, наблюдал эту сцену. Но теперь-то ночь прошла, было время подумать. Неужто я один пишу такое заявление.

Так я незаметно для самого себя уже давно что-то набрасывал на листке — мое заявление об уходе из «Огонька».

Утром я принес его в редакцию и, не заходя к главному редактору, отдал листок его секретарше.

Любопытно: в августе в Дагомысе я познакомился с Павлом Глобой и его женой Тамарой. Записал беседу с ними — астрологический прогноз не личности, а целой страны и назвал его: «Полет над пропастью». Никто не хотел его опубликовать, даже «Огонек». Его напечатали только в «Новом русском слове», в Нью-Йорке, а единственный экземпляр газеты, который я вез с собою, остался у Леона Измайлова, моего попутчика по самолету. Но поразило меня не столько точность, с какою предсказывали нам катаклизмы эти очаровательные люди, сколько — моя личная судьба, известная им заранее. Тамара, когда я в шутку попросил ее порассуждать на эту тему — за пределами официальной

беседы, — сказала: «Знаете, а ведь вы уйдете из „Огонька“. И еще в этом году». Я рассмеялся — подобное не входило в мои планы. Но эта милая колдунья сообщила мне и то, чем я буду заниматься после «Огонька». «Что-то фантастическое, не рациональнее, — сказала она, силясь выразить мысль. — Вы будете что-то писать, но не в жанре журналистики. С нею вы практически расстанетесь».

Под занавес 1990-го года я успел выполнить задуманное не мною, а когда остался без работы, то началась действительно отстраненная от реальности жизнь, если под реальностью понимать грохочущие на московских улицах танки, группу заговорщиков с унылыми физиономиями, президентов — уходящего со сцены и на нее вступающего, в окружении никому не известных личностей, иные из которых будут потом упражняться, как и я, на литературной ниве. Сам себе я казался плодом моего воображения, если все они, которые на экране убивают друг друга, — реальность. Меня как бы и не было, хотя я сидел в избе на краю Владимиро-Суздальского ополья, у реки, за которой уступами уходила на север стена дремучего леса. На допотопном «ундервуде», подремонтированной мною пишущей машинке моего сына, я начал эту перевернутую вспять фантазию на темы собственной жизни, а теперь заканчиваю ее, в духе перемен, с помощью новейшего «Пентиума», мудреной, сказочной вещицы, непостижимой уму.

Глава 4
Продолжение досуга: неиспользованный билет на «Солярис»

1

Опять для возвращения в прошлое нашелся повод.

Весной 97-го, аккурат в день моего рождения, то есть опять девятнадцатого числа, санитары положили меня на брезентовые носилки и под завывания привязанного Скифа, кавказской овчарки, моей последней любви, вынесли меня, замешкавшись в дверях — не ногами же вперед, еще рано, — на улицу, к дожидавшейся «скорой».

Через месяц, когда я более менее пришел в себя, кардиохирург Владимир Александрович Чернов, доктор наук из института трансплантации и пересадки органов, известного больше под названием «института академика Шумакова», сказал мне просто, по-деловому: «Ну что, Владимир Владимирович? — как бы спрашивая меня. — Сейчас или никогда».

Меня направила к нему симпатичная молодая врач по имени Татьяна Георгиевна, такая симпатичная, что я ей безоговорочно поверил. Расставаясь после месяца нашего вынужденного знакомства, она сказала без тени заднего смысла: «К сожалению, мы встретились с вами на больничной койке» — я еле удержался, чтобы не ответить милой женщине, как я бы ответил, будь я помоложе, или она — постарше, но я решил не реагировать на каламбур, случайно сорвавшийся с губ врача, а поехал к Чернову. Я еще плохо стоял на ногах и апрельский свежий ветерок покачивал меня, как тополиную ветку.

Татьяна Георгиевна убеждала больше глазами, но и логика была: Чернов, по ее словам, обладал талантом, имел редкие руки хирурга, был думающим человеком, окончил военно-медицинскую академию и стажировался несколько лет в Лондоне, ему за сорок лет, спокойный, мужественный. Зрелый человек.

— И статистика у него хорошая, — подчеркнула Татьяна Георгиевна.

И я догадался, в чем дело.

Если бы не эта женщина, никогда бы не отважился.

Выслушав Чернова в его маленьком кабинете на последнем

этаже, я попробовал оттянуть время. Предложил: давайте осенью! После лета и сил будет больше.

Хирург покачал головой и повторил: или сейчас, или — как Бог даст, но уже без операции.

Я кивнул. Хорошо, сказал я. И закрутилась карусель, да так ходко, что я едва успевал поворачиваться. Мы с Тамарой помчались на трамвае за мылом и зубной щеткой, вернулись, оказались в палате, появился Чернов, посмотрел в записную книжку, что-то сообразил и спросил: «Когда будем оперироваться?»

Я ответил:

— Только не девятнадцатого.

— Хорошо. Тогда семнадцатого.

— Но это же послезавтра!

Утром операционного дня сестра из процедурного кабинета хохлушка Оксана, решительная девица, вымазала мне грудь зеленкой, назвала меня «крокодильчиком» и предупредила, чтобы я никаких маек или рубашек уже не надевал, скоро за мной приедут.

Вчера на ночь я помолился, как умел, отдавая себя в руки Господа и Чернова, потом заснул, почти не тревожась, проснулся бодрым. И теперь, по пути в операционную, на узкой тележке в форме носилок, подпрыгивая на стыках в полу, я ехал спокойно, буднично, как будто мне предстояла элементарная процедура. Помню, перебрался на операционный стол с нависающей над ним гирляндой прожекторов. Увидел младшего Шумакова, сына академика, добродушного молодого мужчину невероятных размеров, улыбнулся ему, попросил: «Вы не пожалейте дозы Дмитрий Валерьевич, а то я не засну!» «Заснешь, заснешь, — откликнулся Шумаков, — не пожалеем!»

Чернова поблизости не было. Метр приходит на двадцать минут — на самую тонкую работу, вшить шунты. Покосился по сторонам, поискал глазами, где у них страшная циркулярка, которой они сейчас распилят мне грудь — так я всегда озираюсь в зубном кабинете, оглядывая зловещие инструменты. Мне сделали укол, а я и не думал засыпать. Неподалеку, отметил мысленно, еще один стол и над ним такая же многоглазая лампа. И это было последнее, что я помню.

Девять часов продолжалась операция. Владимир Александрович Чернов, который обычно заканчивал к обеду, появился лишь в четыре, сказал Тамаре и Антону, сидевшим около его кабинета с утра, что основное сделали, быстро перекусил прямо в кабинете, и торопливой походкой, не отвлекаясь, направился назад в операционную.

Я в эти часы боролся с какими-то отвратительными тварями, проваливался в душную мягкую мебель, которая оказывалась телами этих тварей. Они сжимали меня со всех сторон, как туши моржей. Вокруг моего тела происходило непрерывное шевеление, переползание змеиных колец, пятнистых, черно-зеленых, с усами-щупальцами. А потом вдруг в абсолютной тишине я поплыл над операционной, мимо люстр с прожекторами, сверкания которых я не видел, они были ниже меня и освещали ровным мертвенным серым светом пустую комнату и два стола, с лежащими на них, как бы вмерзшими в лед фигурами обнаженных людей: часть тела погружена в стол, вросла в него. И так, от головы до ног, видна была только передняя часть туловища. Жуткая картина! Все без теней, без полутонов, лиловато-серое, стальное. И эти тела, как в морге.

Может быть, душа моя наблюдала за мною, плывя над операционной. Но кто там был еще, на соседнем столе — я так и не спросил.

Десять дней я приходил в себя. Какие там четыре дня, о которых сообщал прессекретарь президента, какой там ядерный чемоданчик! Моим «ядерным чемоданчиком» была моя любимая Тамара, мой ангел-спаситель, она держала мою руку, не отходила от меня ни днем, ни ночью, уговаривала проглотить крошечный кусочек банана, а я ел его, этот кусочек, два дня. Забегая ко мне, Чернов хмурился, говорил: «Калий падает! Надо есть мясо!» — я же мог только глазами показать на отечное горло.

И первые шаги я сделал лишь после Пасхи. Я верил — вот она наступит, и я поднимусь. Тамара в полночь на десять минут спустилась в прибольничный храм, где службу служил отец Анатолий, между прочим, доктор медицинских наук. Он пришел ко мне в палату через два дня после операции и, впервые в моей жизни, подверг обряду причастия. Узнав про знакомство с Чумаком, сердито сдвинул лохматые брови, покачал головой и сказал: «Грех это. Каешься?» Все, что я вспомнил дурного из своей жизни, я ему рассказал. И он отпустил мне мои грехи. Но еще неделю я не находил себе места. Подставлял Тамаре правое плечо, невыносимо нывшее, и она его массировала — а Шумаков, мой лечащий врач, смеялся: «Ну, Владимир Владимирович, вы даете! Какое плечо? Вы хоть соображаете, что с вами было? Мы там, бывает, и руки ломаем, нам не до этого. А вы — плечо! Радуйтесь — живы!»

Но радость пришла в пасхальную ночь. Я впервые в эту ночь заснул, когда из храма вернулась Тамара, поцеловала меня, сказала с улыбкой: «Христос воскрес!» — села около меня и тихо стала рассказывать о том, что видела.

А я? Мне опять как бы нечего было делать. Только вспоминать. Представив мысленно календарь, оторвав несколько листочков, год за годом, скомкав по бумажному шарику, я запустил ими в мусорную корзину. Не жалко. И перенесся в середину семидесятых.

В полдень на Кутузовском проспекте неподалеку от дома я поджидал троллейбус.

2

— Владимир Владимирович! — окликнули меня.

Я оглянулся. Ко мне подходил пожилой господин в бежевом пальто, перетянутом поясом, и улыбался мне, как старому знакомому.

Дело происходило в феврале, стояла солнечная и морозная погода, меня с утра распирало необъяснимое радостное чувство, простительное для здорового мужчины, переполненного энергией. Через месяц мне исполнится тридцать девять.

Я посмотрел на странного господина с гримасой высокомерия.

Проклятые мемуаристы — решил я — мало им редакции, где они бродят тучами, теперь устраивают засады около подземных переходов. Но отчего он так улыбается? Как бы заискивающе и в то же время нагло.

Если бы я не был так самонадеян, если бы мой воспаленный мозг мог трезво оценить обстановку, я бы понял, что меня арестовывают. Ведь навстречу мне шел, улыбаясь, старый опер КГБ, а его странная внешность была лишь частью его профессионального имиджа.

— Послушайте, право, не здесь! — воскликнул я с мукой. — Давайте в редакции. Приходите со своей рукописью, там и поговорим.

Я выглядел в глазах старожила госбезопасности круглым идиотом. Или изворотливым врагом.

— Вы меня не поняли, Владимир Владимирович! Нам надо с вами посоветоваться…

И с ловкостью карточного шулера он сунул пальцы за борт пухлого пальто и помахал у меня перед носом кусочком красного картона.

— Посоветоваться? — удивился я.

Я смотрел мимо его оттопыренных ушей и видел, как женщина и ребенок удаляются в сторону арки в доме. Это моя жена Тамара и четырехлетний Антон возвращаются с прогулки

домой.

Сын чертил лопаткой по снегу. Они уплывали, а я…

До сих пор не могу найти вразумительного ответа на вопрос — почему я не закричал им: «Арестовывают!» Почему не дал им знак? Устроил бы на улице скандал, жена обернулась бы, догадалась — и убрала со стола лишнее: Солженицына, Шафаревича…

Фигурки растаяли. С ними уплыла в прошлое половина жизни. След на снегу от лопатки затоптали прохожие. Кто знает, если бы я обратился к незнакомым людям, крикнул: «Помогите!» — возможно, они не скрутили бы мне руки с чувством исполненного долга, а помогли бы.

Послушно и как-то даже охотливо пошел я за «опером» и молча юркнул в черную щель припаркованной неподалеку «волги».

И понеслись мы по московским улицам. Отлично помню этот полет.

Мелькали люди, машины, светофоры… А в голове: что они знают? Как себя вести?

Ведь десятки раз проигрывалась эта пластинка…

Выскочили на площадь Дзержинского, дали круг почета в честь Железного Феликса — «опер», каналья, даже не посмотрел в его сторону, а торопливо докуривал сигарету.

Втянулись в улицу, потемнело, значит идем ущельем Лубянки. Ее гранитные утесы укрыли от солнца… Теперь поворот направо — зачем же так резко? Мимолетное соприкосновение тел, трогательная близость. Обладатель бежевого пальто выравнивает грузный корпус, распахивает дверцу и, отшвырнув окурок, весь на взводе, командует, уже без улыбки:

— Пожалуйста, Владимир Владимирович!

Как выглядит здание изнутри — описывать не берусь. Плохо запомнил, не до того было. Остались в памяти только окна во внутренний дворик со стеклами, армированными стальной сеткой. Неприятное ощущение! Значит, мы с моим Вергилием все же побродили по лестничным маршам, поплутали чуток — не сразу в кабинет.

Вошли.

Приемная узка, не комфортабельна. По птице и прием, подумал я. А может, чекистская скромность?

Сухопарая дама в очках оторвала от бумаг глаза, посмотрела на нас. Не какая-то размалеванная кошечка, а свой, проверенный товарищ. Ясно! Чтобы посетители зря не делали стоек, не тревожили плоть.

«Щука» — так я ее окрестил — взглянула и без лишних

вопросов шмыгнула в кабинет. Вышла и опять молча — ну хотя бы словцо произнесла, голосок ее, щемящий душу, услышать — глазами показала: входите!

Спокойно, читатель!

Войдем в лубянский кабинет. И если слабость в коленях выдаст волнение, не стыдись его — столько слышано об этих утробах и их обитателях.

Пол покрыт светлым лаком, не задолбан каблучками, как в кинотеатре, куда мы собираемся с женой сегодня вечером на фильм Тарковского «Солярис». Ходят тут редко, но метко. И, в основном, мужчины.

Стены, как и положено, не выразительны, блеклы. С неизменными иконами: Феликс, Лысый, Леня-Маразматик… По портрету не скажешь, что челюсть не выговаривает «систематически» — получается «сиськи-масиськи». Вся Москва по кухням смешит себя, повторяя. Людям нужен жизнетворный адреналин.

Стол, конечно, внушительных размеров, как аэродром. На нем папочки на своих взлетных полосах, готовые к старту. Какая тут моя?

Мне указали на стул. Я сел. Поднял очи, чтобы увидеть тайного визиря, хрестоматийного контразведчика, выловившего меня — внутреннего диверсанта.

Взглянул — и взялся за край «аэродрома», чтобы не упасть.

За столом сидел плюгавый мужичонка в черном не свежем костюме. Серый — как и его галстук. И имя назвал: «Николай Иванович» или «Иван Николаевич», что, собственно, не имеет значения, так как индивидуальности не было, а был тип — секретаришка, да и то не первый и не городского, а задрипанного сельского райкома партии, тогда еще, правда, могучей. Волосенки, зачесанные назад по русской казенной традиции, были, может, и чернявы, а может, и русы. И нос без претензии, без горбинки, выдающей утонченные наклонности. И без пугающих тоннелей африканских ноздрей, символа грубой страсти — задушит, чего доброго, на паркете. Нет, нос был наш, трудовой, тиражированный. И пальцы рук сплетены на столе, а два больших покручиваются турбинкой — обыкновенный прием бюрократа, партийного чиновника. Мелет воздух без всякого смысла, мог бы с такой же охотой забивать «козла».

Никаких, конечно, погон, портупеи, шпал, ромбов, звездочек, даже значка импортного — ничего.

Вникаю, молчу.

— Ну что, Владимир Владимирович? — турбинка добавила обороты. — О чем бы вам хотелось с нами посоветоваться?

И улыбнулся, готовый принять мои роды.

Интересная тактика, подумал я. Никаких конкретных вопросов. Вопрос — это бездна информации. Задай он мне вопрос — и все стало бы ясно, в каких мы с «Николаем Ивановичем» отношениях. Если я узнаю, чем он интересуется, значит, пойму, где я прокололся.

Но он просит «посоветоваться». Обтекаемо.

Я выбил пальцами дробь по столу-аэродрому. Сбил обороты его турбинки… так! Значит, посоветоваться?

— Пока обходился своим умом!

И я улыбнулся открыто. По-комсомольски. Я же свой — дал я ему понять — чего там?

— Да нет, Владимир Владимирович. Есть о чем. Есть! — Второе «есть» уже жестко. И взглядом придавил для верности. — Сами прекрасно знаете «о чем».

Я решил: запущу им «дурочку». Направлю по ложному следу — в никуда.

— Иван Николаевич, из-за Янова, да? — спросил я невинно.

— Из-за него, Николай Иванович?

И не дожидаясь его ответа, боясь, что он меня остановит, скажет: «Нет» — я начал подробно и вдохновенно, словно облегчаясь после пива, рассказывать сюжет из истории нашего журнала.

— В конце-концов, статья Янова «Альтернатива» — это частный случай. Можно как угодно к ней относиться, можно писать доносы в ЦК или сюда, к вам, но какие претензии к самому нашему делу? Обидно, право…

Я изобразил «обиду» — и дальше, дальше, чтобы вновь не перебил предложением «посоветоваться».

— Я говорю о новой рубрике в нашем журнале, — продолжал я. — Она называется «Нравственность и революция». Речь идет о становлении революционера. Понятно, да? За двадцать минут свободы можно умереть — кто это говорил, не помню… Вы-то, Николай Иванович, знаете, конечно… Силы человека с наибольшей степенью проявляются в звездные минуты революционной деятельности. Берем биографии революционеров, от расплывчатого юношеского протеста до осознанной стойкости. Грандиозная тема, Иван Николаевич! Простите, Николай Иванович. Гран-ди-озная! Потому что революция как наивысшее проявление гуманистического начала раскрывает человеческую сущность. Это, если хотите, «забегание вперед». Согласны? Декабристы, как известно, страшно далеки от народа. Разночинцы — уже ближе. А большевики — сами представители народа. У нас провокаторы были и есть, но у нас главное — не партия над

народом, а партия, растворенная в народе. Это не я говорю. Это Ленин сказал! Помните? Я близко к тексту цитирую, хотя, допускаю, могут быть неточности. Но не в этом дело, а в том, что революционер становится народным деятелем. И разве плохая, Иван Николаевич, была у нас задача? Выявить комплекс черт, нравственных принципов, которые проявляются в революционере в критические моменты истории. Причем, согласитесь, разные ситуации диктуют различное поведение. На первый план выдвигаются то одни, то другие моральные стороны личности. Возьмем период после поражения. Тут — писаревская идея: самообразование. Что это такое? Это тоже форма революционной преобразовательской работы. Самовоспитание! Понятно — лишь то, которое за пределами полицейского указующего перста. Простите… я не хочу вас обидеть. Вы-то все это понимаете лучше меня, конечно. Наша, журналистов, задача: показать, что в условиях реакции самообразование становится подвигом, а все остальное — подсобным делом. Разве это не актуально? А Чаадаев? Казалось бы, опустились руки, перерезаны вены. И вдруг бурлаки, типа Станкевича, начинают тянуть корабль по пескам. Вот революционная работа! Не случайно кружок Станкевича перерастает в кружок Петрашевцев. Но нарастает революционное движение, и самообразование в этой ситуации становится всего лишь либеральной идеей, противопоставляемой революционной деятельности.

Я сделал жест, как будто выпустил из шарика воздух. И мысленно отметил: «Слушает!»

— Интересно, да? Разные периоды, разные люди. Робеспьер, Марат, Че Гевара… Это одно. А Кибальчич и Александр Ульянов — это другая тема, наука и революция. А как люди вырастают в революции? Например, Ипполит Мышкин, Перовская! Ничего, да? Примерчики, что надо! А незаметная деятельность, которая потом складывается в огромные сдвиги — Бабушкин, скажем. А если по революциям взять? Великая французская. Русские революционные этапы… Парижская коммуна. Домбровский, например. Ну, и Пятый и Семнадцатый год мы не исключаем. А сегодняшние горячие точки? Куба, Конго, «новые левые»… Вот так… Иван Николаевич! Нравственный-то идеал — не абстракция, если показать его в лицах. На конкретном материале. Идеал-то был выстрадан в истории…

Я перевел дыхание. Посмотрел на хозяина кабинета: бесстрастен, шельма.

— Ну, а Янов? — спросил я сам себя. — Его статья о Герцене, если вы имеете в виду ее, безупречна. Она о Герцене. Именно о Герцене, а не о Солженицыне, как вам докладывают. И мне

плевать, — я задиристо помахал пальцем: — Плевать на эти доносы! Сейчас не тридцать седьмой год!

И сверяюще посмотрел на гебиста: так ведь, не тридцать седьмой?

«Секретарь райкома» сидел, казалось, полным истуканом. Неужели я его, действительно, заговорил?

Мне, однако, этого было мало.

— Янов — блестящий историк. Отличный автор, доложу вам. О чем он писал? О Герцене. Именно об Александре Ивановиче Герцене, которого Катков звал в Россию, на Соловки. Так и говорил: они по нему плачут. Но Герцен, хотя и тосковал, в Россию не ехал. Янов в своей статье изобразил ситуацию 1863 года: польское восстание, лидеры едут к Герцену в Лондон, уговаривают его выступить с ними, а он против, считает — безнадежно. Восстание шляхетское, националистическое, народ не поддержит. Поляки не слушают, ярость против гнета самодержавия кипит — выступают. И все разворачивается так, как было предсказано. Генерал Муравьев, которого так и окрестили: «Муравьев-вешатель», оставил после себя пустыню, тела повешенных вдоль дорог. Страшная картина. Что же Герцен и что Россия? Россия, в том числе демократическая, осудила поляков — ослабляют Отечество. И в этой ситуации Александр Иванович выступает в «Колоколе» со статьей, в которой пишет: нет свободы России без свободы Польши! Нельзя стать свободным народом, пока угнетаешь другие народы! Понимаете, Николай Иванович, какую бурю «восторгов» в кавычках, какую волну негодования вызвал своей статьей этот лондонский отшельник, этот отщепенец, как бы мы сейчас сказали? Ладно, деньги дал на восстание. Отговаривал — но дал. Зачем писать? Ведь вся Россия выла и плевала в сторону поляков. И сказать слово в их защиту значило: тут же быть и самому оплеванным. В России решат: у Герцена в Лондоне крыша поехала, оторвался от страны, ничего не соображает, устарел. Поддержать поляков — значит противопоставить себя демократической России, ради которой жил. Это ведь и «Колокол» поставить на карту. И всё, всё, начиная от первой ссылки — бросить в яму. А ради чего? Ради чести имени! Такой эфирной, пульсирующей вещицы — как дымок от папиросы. Помните песенку? «Дымок от папиросы, дымок голубоватый». Там — эфир, а тут — «Колокол», тысячи экземпляров, завозившихся в страну, мощное оружие в борьбе с самодержавием. Такое, что дрожали генерал-губернаторы, читая разоблачительные материалы Герцена, который, сидя в Лондоне, элементарно снимал их с работы. Так он свалил Муравьева-Амурского, другого Муравьева, не того, который вешал. Катков

называл Герцена «властью тьмы» — не без уважения. Так что же? Все это гигантское практическое дело — за дымок от папиросы? Да промолчи! Все равно полякам уже не поможешь. А Россия, если выступишь, особенно молодежь — отвернется… И как же поступил Александр Иванович? Он выбрал эфир. Написал статью, про которую Ленин сказал: Герцен один спас честь русской демократии… «И „Колокол“, действительно, после 1863 года пошел вниз, подписка стала падать, а через несколько лет Герцен умер… Ну и какое отношение, скажите, все это имеет к Солженицыну?»

Я пристально посмотрел на своего слушателя, ожидая ответа: «Да самое прямое!»

Но он продолжал молчать.

— Какая связь? — не унимался я. — Современный Герцен, да? Я догадываюсь, кто это вам накатал. Сказать? Но я не отвечаю за болезненное воображение каждого, кому наступил на мозоль. Допускаю, я человек резкий и работать со мною тяжело. Ну и что? При чем тут Герцен? Статья у Янова безукоризненная, я сам ее редактировал, да еще Игорь Клямкин, наш редакционный Карл Маркс, приложил руку. А то, что статья появилась в феврале, когда Солженицына вывезли из Москвы в Мюнхен, так мы тут при чем? Нам планы вашей организации неизвестны. Яновскую статью мы уже за полгода до этого момента держали в руках. И за два месяца — ее в типографию отправили. Понятно? Поэтому все у вас белыми нитками шито. И не надо представлять нас окопавшейся в журнале «Молодой коммунист» группой, разработавшей хитрый план подгадать статью о Герцене как раз к моменту высылки из СССР Солженицына.

Я сделал паузу.

— Это вам надо было? Насчет этого я с вами хотел посоветоваться?

Человек напротив меня сидел, как в полусне. Он отрицательно покачал головой.

Нет, значит? Я не угадал? Зря полтора часа молол языком.

— Ну ладно, Владимир Владимирович. Отдохните, подумайте. Все-таки вам есть, о чем рассказать. Е-есть!

И меня выпроводили в прихожую — к «щуке», где на стуле дожидался мой старый знакомый «опер». Он принял меня из рук в руки, проводил в кабинет напротив, совершенно пустой. По стенам расставлены были стулья и ослепительно сверкал лаковый пол, раздражая своим холодным блеском. На стене висела огромная карта Родины.

«Опер» приоткрыл форточку и стал дымить в нее. А я занялся изучением карты — восточных районов, где мог вполне вскоре

вновь оказаться.

3

Саша Янов, умница, интеллектуал, конечно, написал замечательную статью, в которой была бездна смысла. И любые параллели — на выбор.

Он приходил к нам в редакцию, пил чай, смотрел своими большими, на выкате, глазами, в которых жила иудейская мудрость, и говорил: «Ребята, как у вас хорошо!»

Он был щупл и уязвим и, как десантник, агрессивен, готов на все. Уже несколько лет он не работал и, в конце концов, оставил попытки служить. Изредка публиковал статьи по проблемам кино. Но все реже и реже.

После разгрома редакции «Нового мира» он, как и многие, входившие в круг авторов журнала Твардовского, оказался не у дел. Мы подобрали часть из них. Это была плотная команда: Анатолий Стреляный, Лен Карпинский, Андрей Тарковский, Игорь Кон, Владимир Кокашинский, Юрий Буртин, Натан Эйдельман, Геннадий Лисичкин, Юрий Карякин, Генрих Батишев — все они уживались вместе под нашей крышей, составляя критическую массу авторского актива. Иные не успели напечатать ни строчки, а просто заходили на разговор.

Рано или поздно, такая компания должна была привлечь внимание компетентных органов.

Рафинированный интеллигент, ранимый и вечно комплексующий и из-за этого нахально-нетерпимый, Александр Янов — полемист-камикадзе — соседствовал рядом со спокойным, ироничным Анатолием Стреляным, невозмутимо ковырявшим вилкой в общей солонке — чем всегда коробил меня, когда мы вели дискуссии в редакционном буфете, — с хохлацким акцентом Стреляный пояснял свою позицию здравого смысла.

Или, например, страннейший человек Генрих Батищев. Философ, приезжавший в редакцию с капроновым рюкзачком за спиной, в котором он возил термос с особой водичкой. Вегетарианец — среди нас, хищников. Сыроед. Махатма. За ним в сомнамбулическом состоянии следовала толпа почитателей, странных высоконравственных юношей и девушек с лихорадочным взглядом и отвращением к системе, готовых уйти — и уходили! — в глушь, жить в деревне коммуной, воспитывать детей, есть проросшее зерно, молиться Богу и слушать Генриха, своего учителя.

Когда Генрих появлялся в редакции, он после слов:

«Здравствуйте, привет!» брал кого-нибудь из нас за грудки, заглядывал проникновенно в глаза и пытал: «Ну что? Чем живете? Что на душе?» — и произносил слова, смысл которых я не сразу понял: «Человек есть дольше, чем он есть».

Нам было хорошо с ними. И, судя по всему, им тоже. Наши комнаты у Новослободской, где помещалась редакция, никогда не пустовали. Это был интеллигентский клуб под официозным крылом журнала.

Наш главный редактор Юрий Поройков еще не носил богемных усов и не имел добропорядочного брюшка, а был стройным, не по годам седым, комсомольским функционером. Хотя и необычным. Писал стихи и имел дома библиотеку, удивившую меня своим богатством и, одновременно, сбившую с толку пестротой.

Поройков смотрел на наши затеи благосклонно, с долей легкомыслия, смешанного с эгоизмом — ему, провинциалу, очень хотелось с нашей помощью войти в круг московских интеллектуалов.

Я помню случай, как мы с Игорем Клямкиным задумали устроить бой быков. В качестве ритуального животного мы взяли Юрия Карякина и поехали на Мещанскую к Эрнсту Неизвестному, который должен был сыграть роль матадора;.

Тема беседы предполагалась очень заумная — искусство в эпоху научно-технической революции. Наш Юра Поройков, прослышав о встрече, напросился с нами. Причем, встреча намечалась лишь предварительная — просто «треп».

Эрнст, которого я прежде не видел, оказался коренастым мужиком в джинсах и ковбойке. По-хозяйски показывал нам свое запутанное помещение, тесно заставленное произведениями его труда.

— Тут двадцать лет работы! — произнес он, обводя рукой полки с «самсонами».

Скоро беседа превратилась в пятичасовой монолог скульптора.

— Я — сопереживатель! — говорил Эрнст, театрально тараща глаза. — Но не прямолинейно-политически. Художник не просто отражает жизнь, не бежит за нею. И не «изучает» ее: поеду в колхоз, изучу жизнь. Художник создает знаки всеобщности и стремится на помощь растерявшемуся от обилия информации человеку, чтобы вылепить отдельные знаки, символы, которые и помогут ему стать гармоничным.

Поройков сидел молча почти весь вечер, поблескивал седой головой. Я тоже сперва лишь слушал, а потом — как в воду глядел — стал записывать отдельные высказывания. Кроме меня

никто записей не вел и магнитофона мы не взяли. Наивная вера в бесконечность бытия расслабляет. К тому же мы полагали, что это предварительная беседа, за которой последует основная — вот ее и запишем. Я не верил поэту, считавшему, что жить надо так, будто сегодня последний твой день, и писать так, словно это твоя последняя строчка. Мы хотели жить долго — и в этом была наша слабость и наша детская сила.

— Гармония и гуманизм, — вещал Эрнст, — вещи во все времена подвижные. Гуманизмом является в наше время сусальность. Я думаю, это одна из форм антигуманизма. Во все времена самые великие гуманисты были людьми беспощадными. «Любите ли вы Достоевского?» — спросила меня одна дама. Так же, как можно любить врача, который делает больно, ответил я.

Вдруг Поройков, посчитав себя уязвленным, спросил: А что значит художник, средствами искусства утверждающий политику общества, в котором живет?

Эрнст Неизвестный развел руками.

— На этот вопрос мне трудно ответить. Я таких задач себе просто не ставлю. Сикейрос — политик, он член своей партии. А для меня такой задачи не стоит, а есть служба обществу. Например, монумент, который отнял у нас Вучетич — я же должен был его делать. Те же «Самосожженцы» — как я их понимаю. Но тут есть разница между политичностью Евтушенко и моей. Любая скульптура делается многие годы, она статична. Даже «Распятие» — отклик на страдание огромного народа, страны.

Эрнст околдовывал.

— Я был хорошим академистом, но мне стало скучно. Почувствовал, что вру. В самом существе подхода к форме. Студент пятого курса, а конкурирую с Манизером, Томским. Скучно! И я решил: надо что-то предпринимать с собой. А какой опыт? Никакого! Сейчас молодые люди следуют за Сальватором Дали, а я только слышал о Пикассо, но ни одной картины его не видел. Коненков казался мне верхом свободной формы. У нас выгнали из института одного парня только за то, что тот сказал: «Пикассо хороший художник». А вот с точки зрения философского образования я был довольно подкован, у отца были книги Соловьева, Бердяева, но этого мало, чтобы лепить. И тогда я стал вглядываться в себя. Ну вот — война. Если честно, она мною не воспринималась как «парад Победы». Страдание. И я начал делать серию портретов, где страдание входило как некий чужеродный элемент, и появились люди с костылями, я начал осознавать, что делаю арлекинные существа, где половина — маска. Потом пошла серия «роботы и полуроботы», ассимиляция металла и человека,

персонифицированных в одном существе. А потом все это начало складываться в гигантоманию, и теперь, читая Достоевского, я понимал: это меня волнует.

Карякин вспомнил:

— У Вознесенского есть стихи: «Лейтенант Неизвестный Эрнст…»

Эрнст отмахнулся.

— Да ну… Я знаю настоящих фронтовиков, они к жизни относятся странновато. Иногда забывают, что могли умереть, а иногда и не забывают… Случается, меня охватывает волна счастья. Я бесконечно много работаю, день для меня — подарок. Ведь его могло и не быть. Конечно, не обязательно для этого переживать войну, Микеланджело ее не пережил, но он был католик. И вот сейчас, оглядываясь назад, я вижу: наибольшие ценности создало все-таки военное поколение, хотя есть и необозримые гады… И когда я вот так однажды оглянулся назад, я вдруг понял, что я не живу. Многого, что есть вокруг, просто не знаю. Пришел к Евтушенко, он брился, брызгая себя какой-то душистой пеной. Я попробовал: чудесно! А Женя посмотрел на меня, как на дурака.

Ну найдется ли в Москве еще один человек моего ранга, который не знает этой штуки, ни разу ее не испробовал? У меня нет хорошей мастерской. Почему? А я так привык. К плохой. И ворчу лишь тогда, когда задыхаться начинаю. Никогда не ездил за рубеж. У меня была поговорка: «Индию я придумаю в кровати…» А потом поехал в Югославию и понял, что даже ее не придумаешь. Я в сорок два года впервые поехал на юг. А у некоторых война породила какой-то гедонизм… Я себе напоминаю женщину, которой все говорят, что она красива, а гребут других. Я выигрываю конкурсы, обо мне пишут. Вот в «Комсомольской правде»: «Часто сравнивают Эрнста Неизвестного и Микеланджело. Между ними есть только одно общее — оба они гениальны». Видите? А работать не дают. Я поставил крест на том, что мне когда-нибудь дадут сделать монумент в Москве. Сейчас начальство ничего не решает, решают дворники. Да, мне позволяют работать на банальном уровне. Я даже оторвался от своих коллег зарабатываю больше. Вещи, сделанные много лет назад, вдруг пошли. Но все это трагично! Времени остается мало. И чтобы получить сейчас серьезную работу, мне нужно потратить уйму времени. Чтобы мне заказали «Портрет Авиатора», должен вмешиваться Ренато Гуттузо. Это чудовищно! Худо-бедно, меня уговорили, что я большой художник. Так дайте работать! Я говорю: «Братцы! Ну, дифференцируйте. Придите, отложите: это вправо, это влево». Нет, не хотят. А государству не до меня.

Косыгину разведчики доложили, что Кекконен хотел бы получить от меня скульптуру, и он ему ее подарил, но это его частное дело. Во времена Сталина подобное стало бы сигналом к реабилитации. А теперь? Я показал работы, и представитель министерства культуры морщится: «Давай какую-нибудь поменьше…» — и выбирает какую похуже. Кекконен, президент, написал мне личное письмо, так я о нем полгода не знал. Всё решали — вручать, не вручать? Моя фамилия вызывает социально-однотипную реакцию. Просят оформить утверждение какой-то моей работы, и человек, который должен решать, откровенно говорит мне с глазу на глаз: «Эрнст, я за вас, но жить-то мне с Кербелем. Извините, я займу такую позицию, будто я к вам очень плохо отношусь». Все замыкается на среднем слое. Меня оскорбляет, когда работа, которую я сделал для Зеленограда, идет на госпремию первым номером, и как скульптор, как соавтор — я гожусь, но упоминать мое имя в статье в «Правде» нельзя — вычеркивают! Или, например, посылают в командировку, и ни у кого не вызывает сомнения, что едем втроем, я с архитекторами, но вдруг команда: «Неизвестного не нужно брать». Как? Там же будут художники! Семинар! Нет. И опять: «Я к нему очень хорошо отношусь, но у меня начальство». Да какое начальство? Он сам — начальство! Нет, не берут. Почему? Да просто потому, что кто-то в кабинете шепнул: «На хрен тебе этот Неизвестный?» — просто сболтнул. И всё! Я помню, Фурцева мне объясняла, как она меня любит, но ей «не разрешают». Я ответил: «Ваши же коллеги». Она мне говорит: «Я буду разговаривать с вами не как министр культуры, а как женщина. Ну как вы прекрасно сделали вот эту мраморную головку!» — и указывает на мою студенческую работу. Ну что ответить ей «как женщине»? Поэтому я и работал со всякой «чучмекией». На армию работал. Один генерал в закрытом городке мне сказал: «Эрнст, не волнуйся, работай спокойно. Поставим солдат, никого не пустим, никакой худсовет». Да-а, худсовет… Какие-то безымянные лица. Никто их не знает. Я не знаю, что они лепят. Какой-то закоренелый середняк. Причем, живут — министры так не живут. Халтурят по-страшному. Ленина лепят. И именно они задают тон. А кто я? Штрейкбрехер. У меня был договор на 350 метров, я сделал 979 — бесплатно. Потому что изголодался по работе. А с Кербелем говорить бессмысленно. Я его знаю, работал у него истопником, когда был студентом. Это циник. Серов — глубоко идейный человек, он мне говорил так: «Эрнст, сделай реалистическую работу, и я тебя поддержу!» — и не врал. Но большинство-то циники. Один такой, напившись в этой мастерской, целовал моего «Орфея» и клялся, что поможет. Но ничего не сделал.

Между прочим, Фадеев знал цену Мандельштаму, но у него в кармане был партбилет. Сейчас же игра идет в открытую. Для таких, как Кербель, все ясно и они похожи на лозунги, которые никто не читает. Вы видели хоть одного кретина, который бы любовался их работами? Они не отвечают ничьей потребности — только своей, корпоративной… Один босс с Лубянки спросил меня: «Что вам нужно, Эрнст?» В ответ я задал ему вопрос: «Вы часто видите памятник Дзержинскому?» Отвечает: «Да, конечно. Каждый день». «Вспомните, — спросил я, — в какой руке у него шапка?». Чекист не ответил. «Вы ведь по профессии должны быть наблюдательны, — сказал я. — А „Медного всадника“ помните?» «Помню!» «А „Первопечатника“…?» Тоже, оказывается, запомнил… Вот и все. Работать так, как работает Кербель — могут все. Но искусство не может жить, когда решает «большинство художников». Представляете голосование: быть или не быть Сикейросу? Или «Преступлению и наказанию»? Вы спросите — почему Вучетичу везет? Потому что он — армейский скульптор. Художественный совет не принял у него «Сталинграда». Ели и пили на банкете, который он устроил, но не приняли. Тогда он их выгнал и свистел им вслед с балкона в четыре пальца — зато армия приняла! В итоге, все индивидуальности внутри МОСХа отсечены. Ну, не будет меня, не будет Глазунова. Что им тогда делать? Гнить! Яркие индивидуальности всегда жаждут процветания всех, кто не в их ключе. Дейнека давил всех, кто на него похож! Для меня Лактионов — радость. Он оттеняет меня. А средний московский халтурщик просто не возьмется за крупный заказ. Зачем? Легче вылепить «трех Калининых» — вот критерий подхода. Ленина лепить — четыре часа, а он насобачился — с закрытыми глазами может… Я поехал в Польшу — какое разнообразие жанров, стилей. И все — в одном творческом союзе. Польша была такая же замкнутая страна, как мы, но в силу пижонства поляки начали резко «леветь»: очень переживали, что они не парижане. Почему бы не полеветь и нам? Я бы облепливал новые города для ученых, а кто-то старался бы для колхозов. У нас гигантский рынок, всегда хватит потребителей. Но нет! Идет борьба. И не идей. Борьба идет просто за деньги и звания. У себя дома они имеют «абстракционистов» и все в искусстве понимают. У них есть один эксперт, которого они возят с собой, как лакмусову бумажку, который, оценивая, говорит: «Да, это мне нравится! Тут есть что-то антисоветское…»

Эрнст неожиданно замолчал. Аудиенция закончилась. Да и время было позднее, надо успеть на последний поезд метро. И чайник — пуст.

Мы вышли. Карякин побрел к себе. А мы, трое, еще долго стояли внизу на платформе станции «Проспект мира» и, пропуская поезда, жестикулировали, как алкоголики. Обсуждали услышанное, обменивались впечатлениями.

Поройков был потрясен. Он открывал, как рыба, рот, пускал от удовольствия пузыри и произносил одно и то же:

— Какой человек… Какой человек!

Мы мысленно потирали руки. Значит, проводим беседу и она будет напечатана. Поройкова «уговорили». В этом была немалая сложность — включить главного редактора в игру, сделать его нашим союзником. Не помню, существовал ли тогда кладезь мудростей «Семнадцать мгновений весны» и знали ли мы советы Штирлица, как работать с Шеленбергом?

Мы расстались. Я возвращался домой глубокой ночью. Помню довольные глаза Игоря, похожие на две маслины. Игорь, прощаясь, подмигнул мне: «Порядок!»

А утром, когда мы подтянулись к редакции, наш Юрий Дмитриевич Поройков сидел уже в своем кабинете, и руки его были покрыты красными аллергическими пятнами. Плохой признак!

Не удостоив Клямкина чести, он вызвал только меня.

— Значит, так… никакой беседы с Неизвестным. Мы ее Карякину не заказываем.

Я попробовал возразить. Но главный редактор жестом показал мне, что разговор бесполезен.

Я вышел. Рассказал Игорю Клямкину, и мы с ним живо представили, как могла произойти такая перемена. Поройков рано утром, напившись кофе и мурлыча мотивчик, позвонил кому-то из своих дружков в аппарате ЦК комсомола. Похвастался, где вчера был, в каком богемном подвале. И этот некто сказал ему по-свойски: «Юра! Башкир ты наш, ненаглядный! Провинциал ты наш комсомольский! Поэт ты наш! Знаешь ли ты, к кому попал? В самое логово диссидентов! Проверь, у тебя задница хорошо к стулу прилажена? Ничего не мешает? Вот и сиди, не рыпайся. Ты еще плохо в Москве ориентируешься. Правильно делаешь, что советуешься… Будь здоров, с тебя бутылка!»

И Юра приехал на работу, по пути волнуясь в служебной машине. Внимательно осмотрел стул, потрогал его, проверил на прочность. И позвал меня. А когда позвал — это уже не фантазия, а так и было, — сказал:

— Я не хочу видеть небо в клеточку.

Я изучал карту.

Люблю путешествовать от кружочка к кружочку, по паутине дорог, по синей лимфатической системе речек, пробираться среди штрихов болот в сторону коричневых плоскогорий.

Смотрел и думал: чего мне не хватает? Ведь уже напечатали Батищева, Буртина, Стреляного, Лисичкина. Да и Карпинского. И Водолазова с его «Робеспьером»! Эвальда Ильенкова! А своя, домашняя, серия — Клямкин и Цыпко — эти их «бабефы» и «мелье» — мало ли? Ведь все публиковал Юрий Дмитриевич, хотя и кромсал. Конечно, нервы наши страдали, но это никого не касается. Шум, помехи, фон истории. Главное — создали авторский коллектив. И в самой редакции ребята, что надо. Рубрики, разделы — всё осмыслено и организовано. Студенты в МГУ читают «Молодой коммунист» в списках — подумать только! Им наплевать на остальные разделы, на официоз, где резвятся Скорупа с его пропагандой, Шевердин с его антиалкоголизмом, фанатик Вадим Чурбанов с его комсомольской «машинерией» и Зорий Апресян с его ялдой — партийным ядром в комсомоле. Читатель не глуп, он отбрасывает все это, как мусор. Вырвал, что надо, остальное выбросил.

Нет, я захотел большего. Я захотел «странного».

У кого это были «странные» — у Стругацких?.. Вот теперь и сиди тут, смотри на карту, примеряй к себе местность.

Работа с Поройковым была искусством. Мы учитывали его стремление к самоутверждению. Ему нужна была опора, и мы постарались ему ее дать.

Например, требовалась срочная справка для ЦК. Он вызывал меня или Клямкина, а мы собирали нашу «команду». Шли к нему в кабинет и шиздили часа два. Юра бисерным почерком записывал. Надо отдать ему должное, мы никогда не писали ему готовых текстов.

Если появлялась потребность в материале литературного свойства, мы разглагольствовали, например, по поводу новой повести Тендрякова, а Юрина рука мелькала со скоростью, на какую была способна. Потом в журнале печатались его критические статьи.

Мы считали — это нормально. И в свои затеи его не посвящали.

Как-то я выпил с ним бутылку «Наполеона», но наши отношения, тем не менее, остались официальными. Составляя план публикаций, я не забывал отметить «борьбу с антиподами коммунистической морали». В статьях Карпинского и Стреляного все было как раз наоборот.

Условность и маскарад сопутствовали нашей деятельности

постоянно. Например, я каялся в отчетах о проделанной работе: «… не привлекались для выступления партийные и комсомольские работники». Понятно, мы и не думали их привлекать.

Отдел, которым я руководил, официально именовался отделом коммунистического воспитания. Но никого из нас это не коробило. Таковы были правила — игрушки то и дело вешались на идеологическую елку.

А жили мы весело. Служебный быт вовсе не представлялся нам сумрачным. Сидя на совещаниях у начальства, посылали друг другу смешные записки. Придумывали лозунги. «Социализм и алкоголизм — совместимы!» — и подписывали: «Стас Шевердин». Который рьяно противился пьянству — еще до Лигачева.

Чернов сочинял стишки:

Хорошо быть старым, старым, старым,
Старым, старым, старым, старым, старым,
Очень старым, очень-очень старым,
Старым, старым большевиком.

Авторство оспаривал Лев Тимофеев. Когда-нибудь разберутся…

Мы любили насиловать армянскую фамилию заместителя Поройкова — Зория Апресяна. Подбирали бесконечные производные. Зорий Импотянт… Или — Доходянт, Обалдевант, Поклепант, Очернянт, Извращант, Бегемотянт, Слонопотянт.

Плешивый, но густо бородатый Чернов, близкий мне человек, понимавший меня с полуслова, обладал внешностью Иудушки Головлева. В этой игре он был тоже мишенью — как и все мы. Чернов был Пасквилянт, Павиянт и Кобелянт. А печальный Клямкин, разговорить которого удавалось лишь после второй бутылки, — Улучшант, Уточнянт, Научант и Неотъезжант. А пока — Консультант (это была, между прочим, его должность). Поройков же был, разумеется, Раздражант, Наблюдант, Направлянт и Припоминант. А когда нужно — и Отмолчант.

Обо мне писали — Осмеянт, Ухмылянт, Втихаряразвлекант, Себенаумянт.

Нас это веселило, скрашивало скуку официальных собраний.

На одном из таких собраний какой-то умник повесил на стену лозунг:

«У каждого гения должен быть свой Клямкин!»

И подписал: *«Глотов, гений».*

В принципе, я был согласен.

Объектом постоянных шуток была наша сексзвезда Антонина

Григо — мы ее звали просто Тоня. Считалось, что она поочередно соблазняет каждого из нас. Перед тем, как появиться в редакции журнала, она немного поработала в институте социологии и в критические моменты могла сразить Поройкова научным термином.

Тоня работала в отделе у Клямкина, и когда тот получал занудную статью, он перекидывал ее Тоне, и та сочиняла ответ.

«Уважаемый ученый сосед! — писала Тоня на редакционном бланке. — Наше отношение к вашей статье амбивалентное. На вербальном уровне можно заметить недостаточную лабильность групп. Кроме онтогенеза существует парагенез. Судя по вашей статье и моему ответу, мы находимся с вами в одном фазисе — фазисе рационализма. Мой же начальник уже вышел из фазиса эмоционализма, но еще не вошел в фазис волюнтаризма (или волевого императива), минуя фазис динамизма. Потому он может меня использовать лишь как Ваньку Жукова: посылает красть в буфете стаканы и ихней мордой тычет мне в харю. Простите мне невольный эмоционально-интеллектуально-волевой детерминизм. Вернемся к вашей статье. Напечатать ее мы не можем, потому что не можем это сделать никогда. Научный консультант Григо».

Когда Тоня подкладывала Клямкину такое письмо в общей пачке заготовленных ответов — а по заведенному порядку вся почта просматривалась начальством, — Игорь просекал только на Ваньке Жукове, но иногда и не просекал, ставил визу и отдавал в печать.

После этого мы шли в буфет пить кофе. Все, кроме меня, пили медленно, но медленнее всех — Клямкин. Он мог с полной чашкой просидеть час в буфете.

Вообще, глядя нынешними глазами на те посиделки, не перестаю удивляться: как такое могло быть? Мы никуда не спешили. Никто нервно не поглядывал на часы. Место работы как бы перемещалось на другой этаж, за столики — и мы посиживали, обсуждая наши проблемы. Без зависти друг к другу, не озабоченные «контрактами», наслаждаясь неторопливым течением времени, которое потом нарекли «застоем».

В буфете мы разглядывали крутые задки молоденьких сотрудниц, чем приводили нашу львицу на грань бунта, и говорили о политике.

…«Опер» незаметно подошел ко мне, остановился за спиной. Каким-то образом он угадал направление моего взгляда, блуждающего по карте.

— Да-а… Магадан! — Вздохнул он о своем. — Солженицын выдумывает, черт знает что! Заключенные откопали

доисторического тритона, тот оттаял и пополз. И они его с голодухи съели. Надо же так врать!

— Писатель… — промямлил я. И спросил: — А вы бывали в тех краях?

— Приходилось.

Почему они так долго держат меня в этой комнате? Что за отдых, в самом деле?

Может, поехали домой, застали Тамару врасплох? Искать не надо — все на столе.

Все равно — если даже поехали — почему так долго? Формальности какие-то или Тамара пошла по магазинам? Без нее они не вломятся… Без нее — это уже совсем обнаглеть… Так, так, так. Сейчас привезут и начнут выкладывать передо мной «художественную литературу». Что у меня там лежит? Голова не соображает, не могу вспомнить… Солженицын, понятно. Сборник «Из-под глыб». Статья Карпинского «Слово тоже дело» — она здесь была бы вовсе ни к чему.

Я никогда не вел дневников, ограничиваясь эпизодическими записями на случайных бумажках. Где эти записки — я и сам не найду. Да, найти их — время надо. К тому же, в них без поллитры не разберешься.

Так, рассуждая, я натолкнулся на мысль: не мешало бы перекусить!

— Командир! — произнес я небрежно. — А как насчет пообедать?

— Пока команды не было.

— А отлить?

— Это можно! — улыбнулся он.

Наши желания совпали. Ничто человеческое ГБ не чуждо.

И мы провели несколько минут в обстановке прелестного кафеля. Я посмотрел на себя в зеркало: бородка какая-то несерьезная, донжуанская. А если попробовать нахмуриться и вытаращить глаза? Изобразить негодование? Вот так…

На душе стало чуть легче. Конвоир, не бросая службы, тоже облегчал свою совесть, отягощенную магаданскими воспоминаниями.

Я стоял у писсуара, ждал. И думал: откуда во мне такая рабья покорность? Я мог бы дать ему коленом по заду, чтобы оседлал писсуар, как буденовского скакуна. Не убьет же он меня? А мне будет, что вспомнить. Нет, стою и жду, пока он отольет. Вместо этого — в два прыжка — и за дверь! Не побежит же он за мною со струей. Я бы успел куда-нибудь нырнуть — здание запутанное — зашел бы в любой кабинет, показал журналистское удостоверение. Они же весь свой гебешный мир обо мне не

оповестили. Но как выбраться? Наверняка солдатам у дверей передадут по рации — засечь! У них тут отработано.

Жаль, экстремиста из меня не выходит. Болтун Чернов придумал мне прозвище — «экстремист». Ошибся. Видел бы он, как дожидаюсь, пока конвоир задергается в судорогах у писсуара, в последнем аккорде.

И мы побрели — я впереди, он позади — из стерильной свободы к карте Родины, на ее просторы, в тесноту ее «шестой части суши».

И тут я вдруг проглотил лесной масленок из ядреного засола — так вошла в меня неожиданная мысль.

Верноподданность — сказал я себе — да это же мое спасение!

Я должен держаться как свой — очень свой, хотя и с придурью. Придурь — это идеализм, нравственные принципы, ложно понятое товарищество. Например, провожал Янова, уезжавшего из страны. Возил его на машине по Москве. Ездил с ним в ОВИР. Но на сходку его, еврейскую, не ходил — я на ней, и право, был бы чужой. Так и скажу: лично Саше помог. А как же иначе? На Арбате, когда прощались напротив ресторана «Прага», поцеловал его — это они вполне могли засечь. А что он нес в своем портфеле, когда пошел сдаваться в иностранное посольство, я не обязан знать — и если вы это прохлопали, это не мои проблемы. Янов полгода уже, как за океаном. Отстукивает с пленок свой докторский «диссер» про еретиков России… Да, поцеловал. Нормальный жест! Прощались идейные товарищи, не скрываю. И если они против наших с ним идей, то тогда они — сталинисты, тоскующие о лагерях. Заору на них, как новорожденный двадцатого съезда! Вся Лубянка услышит мой верноподданный вопль.

«Щука» сделала «оперу» глазами знак, и тот развернул меня к другой двери.

Я понял: второй заход.

5

Иван Николаевич улыбался, как ни в чем не бывало.

Ну что, Владимир Владимирович? Подумали? Вспомнили? Вы же не глупый человек! Просто так мы к себе не приглашаем… Когда нет оснований.

— А вы не приглашали, вы притащили, — угрюмо ответил я. Я решил — будь что будет — попробую реализовать свой замысел. Авось вывезет.

— Ну зачем же так? У нас все по закону.

— Вы насчет оснований толкуете… И какие же основания?

— Вы это сами знаете. И лучше, если вы сами…

Я не дал ему договорить. Сам не ожидая, я заорал благим матом:

— Послушайте, вы! Как вас там, Иван или Николай? Какие основания? Какие, к чертям, у меня могут быть с вами откровения? Вы что на себя берете, вы…! — Я захлебнулся, подбирая слово. Я вполне искренне был возмущен, забыв, что «оснований» у моего визави было более, чем достаточно. — Кто вы такой? Я член редколлегии «Молодого коммуниста», а вы кто? Какого черта вы треплете мне нервы? По старым временам истосковались? Когда я выйду отсюда, я расскажу о вас. Вы хоть соображаете, что творите? Хватаете человека на улице. Меня на работе ждут. Дел по горло. Домой, небось, звонят, разыскивают, жена с ума сходит. Что она должна думать? Где я? В морге уже или по девкам шляюсь? Нет! Я тут сижу. У вас. Исповедуюсь. Не знаю, в чем, не знаю, перед кем. О Герцене рассказываю, о Солженицыне… Как в детской игре: холодно, горячо… Я вам рассказал про Янова. Да, да, да! Провожал его, на машине возил. Чего еще надо?

Я трясся, как эпилептик. Мое состояние невольно передалось гебисту. Его изнутри напрягло. Волна вздоха прошла по его черно-белой груди.

Вдруг он выхватил из ящика стола и на секунду показал мне зеленый переплет книги. Зловеще мелькнули буквы: «Из-под глыб».

— Вам этого хотелось? Да?

Ах ты разведчик хренов, колхозник-кукурузник.

Наверняка — из партработников. Профессионал так бы не поступил.

В десятую долю секунды — лишь на миг увидев эту книжицу, я сообразил: не моя! По внешнему виду ясно — не у меня из дома взята!

Уже легче.

— Чего хотелось? — отреагировал я грубо.

Да, книжка не моя. Значит, дома они не были. Точно такая же, но затрепанная, зачитанная, лежала на моем столе.

Но многозначительное «этого хотелось», брошенное мне в лицо офицером госбезопасности, одновременно и расплющило меня об асфальт, и успокоило.

Иллюзии исчезли. Ошибки нет. Я не зря здесь сижу. Предстоит защищаться и схватка пойдет — на уничтожение.

Выхваченная из ящика стола зеленая книжка — это для меня бездна информации. Не хотелось ли нам выпускать в самиздате

подобный сборник? Вот, значит, что интересует господ офицеров… Наконец-то, прокололся. Долго я ждал этого момента.

Что было дальше?

Я бесновато орал про двадцатый съезд. Вскакивал со стула, чем пугал «Иваныча-Николаича». Он не ожидал такого поворота беседы. Я кричал, что как боролся со сталинистами, так и буду с ними бороться. Оказывается, они тут, в комитете госбезопасности свили гнездо. Тогда закрывайте журналы, сажайте нас пачками, но оставьте свои гнусные намеки. Или, может, вам известно то, что неизвестно нам? Может, партия реставрирует прежний режим? Но если это не так, если не реставрирует, то чем вы тут занимаетесь, собственно говоря? Я кричал в лицо хозяину кабинета, что его надо разоблачать как неосталиниста, идущего против линии партии. У нас свой, кричал я, такой в редколлегии есть — старый большевик со слуховым аппаратом в ухе, не вами ли вставленным, мешает работать, рубит статью за статьей, а если мы его не слушаем, кладет статью в портфель и несет наверняка вам, подлец. Но он — профессор ВПШ, его можно простить, он маразматик, выжил из ума. Но вы-то помоложе! Вы-то чего? Не понимаете, что мы делаем, чего хотим? Не видите, что страна, как лунатик, бредет в темноте, ощупью. От лозунга на одной трубе — к призыву на другой. От разукрашенного забора к забору. От путепровода — к путепроводу. И на них — все лозунги, лозунги… Про единство и заботу. Кто их читает? А нас, между прочим, стали читать. Молодежь стала читать. И про что же мы пишем? Про Герцена, про Робеспьера! Объясняем людям, как сохранить нравственность в революции. Вам это не интересно? Но это ваше личное дело. А наше дело — как раз вот это! И мы ни на шаг, слышите, ни на сантиметр не отступим от наших идей. Понятно?

— Какие еще ко мне претензии? — закончил я свой страстный монолог.

И тут мой слушатель не выдержал. Издав нечленораздельный звук и пристукнув по столу кулачком, он закричал не по службе:

— Вы при своем пакете! А я — при своем!

Вон оно что — понял я. У каждого, значит, своя работа.

Это выражение «при своем пакете» понравилось мне и запомнилось на всю жизнь. Подневольный, бедолага?

Я замолчал, насупившись, выказывая всем видом презрение к собеседнику. Не желаю больше разговаривать. Па-шел он… Нервы и правда, не театрально, расходились. И есть не дают.

Так и сказал:

— Какой уж час сижу у вас, голодный… Вы-то, небось, отобедали?

Николаич встрепенулся: забрезжил контакт.

— Ну, это мы моментом организуем!

Вплыла секретарша с подносом. Я скосил глаза: стальной подстаканник — фирменный знак учреждения — и в нем слабоокрашенный чаек с ломтиком лимона, бутерброды и что-то вроде сушек или сухарей. Все мизерное, сморщенное. Экономят, как китайцы.

Я подумал: да ну их, с их гуманизмом… Потерплю.

— Не надо! — отказался я. И добавил, рисуясь: — Если я арестован, вы меня все равно на довольствие поставите. А если не арестован, выпустите. Потерплю до дома.

Меня терзали сомнения. Верную ли я выбрал тактику защиты? Как бы в азарте не наговорить лишнего… Заповедь Исаича — по возможности не вступать с ними в беседу. А если никак нельзя, то прежде чем на допросе ответить, надо досчитать мысленно до десяти.

Попробовать теперь так: он спрашивает, а я молчу и считаю в уме — раз, два, три… девять, десять.

Нет, пожалуй, я сделал правильный ход. Конечно, в то, что я «свой», они ни на секунду не поверили. Не надо иллюзий! Но я получил передышку. Адаптировался. Никаких агентурных данных Иваныч мне не выложил. Только намеки, хотя и красноречивые. Не хотелось бы нам соорудить такой же сборник? И показал «Из-под глыб». Да, хотелось бы, следопыт ты мой зоркий. Только где ты нас засек? Это не ясно. Как, впрочем, не уверен — засек ли. Не на понт ли берешь?

Так что я правильно «кошу» под нормального советского журналиста, у которого затронута честь. А что нетерпимый и нервный — так довели!

В очередной раз меня проводили в комнату напротив, и мы остались вдвоем с белобрысым господином. Кто он? В каком звании? Не рядовой. Не зря провел годы на Колыме — «наколымил» себе службу в центральном аппарате. Сыск, он вечен, при всех режимах.

Но внешне вежливы, этого не отнимешь.

Охранник изредка курил, стоя у форточки, отравляя «волю». А та не хотела принимать его углекислоты, выбрасывала ее назад вместе с морозным парком.

Работа у него не пыльная, подумал я. Сколько, интересно, платят? Да уж не меньше, чем мне.

Я подошел к другому окну, отдернул занавеску — охранник не запротестовал.

За окном посерело. День завершался. Сверху видна была улица Кирова в самом устье, с потоком выливавшихся на площадь

машин. Сколько раз я тут проезжал и не думал, что кто-нибудь так же посматривает сверху щеглом из клетки.

Однажды, году в пятидесятом, мы с моим дружком Колькой Сваровским, семиклассники, возвращались с новогодней елки — из Дома Союзов или даже из Кремля, куда достал билеты его отец, и шли как раз мимо этого здания, вдоль стены. Вдруг мой приятель заметил потертый кошелек. Он — цап его первым. Посмотрели — в нем тридцать рублей.

Я же больше рубля никогда не находил. Но во сне видел: захожу на Сретенке в телефонную будку, закрываю дверь и обалдеваю — на полу среди окурков стоит коричневый чемоданчик «балетка». Я открываю, а внутри — пачки сторублевок.

Сваровский вытащил из кошелька пятерку и протянул мне. Мог бы и не давать — находка по праву принадлежала ему одному. Принципы у нас на Сретенке были суровые: на чужой каравай рот не разевай, двое дерутся — третий не лезь.

К семнадцати годам мы, начитавшись книжек, стали другими. За неимением поблизости Воробьевых гор, стояли с ним на бульваре на спуске к Трубной площади и, как Герцен с Огаревым, тоже клялись посвятить себя чему-то прекрасному. Но обстановка не очень располагала. Под нами была крыша общественной уборной, а рядом массивная бетонная плевательница — свидетель искренности наших святых порывов. Об эту плевательницу, знали мы, разбил мужское хозяйство интеллигентный мальчик, катаясь на лыжах. Мы спускались с горы на самодельных санках, сколоченных из досок, с прилаженными снизу коньками. Ими можно было управлять. Это делал тот, кто лежал, придавленный кучей тел, в самом низу. Его задачей было объехать бетонное препятствие и вырулить в один из проходов справа или слева и выкатиться на самую площадь. Лыжами я лично управлять не мог, да и не было их у меня в ту пору.

Ребята сороковых-пятидесятых были чисты в помыслах, хотя жили в суровой обстановке Сретенских переулков. Мы и девчонок не целовали до двадцати лет. И все стреляли им по ногам из маленьких рогаток старательно изжеванными бумажными пульками — так мы за ними «ухаживали». Ходили с Колей в Тургеневскую читальню, на месте которой теперь безобразная плешь, и в библиотеку в переулке Стопани. Мы знали все проходные дворы, дружили с карманниками, иногда отваживались за компанию воровать голубей на Сухаревке, за что вполне могли жестоко поплатиться. Наш двор был какой-то особенно бандитский — кто воровал, кто учился в ремеслухе.

Окруженный деревянным забором, с двумя старенькими флигельками и рядком сараев, таинственный, как вся сретенская жизнь, наш двор пугал даже Николая, моего одноклассника. И однажды его слегка в нем побили — за очки на носу!

Николай — мой товарищ — по-прежнему со мной. Всю жизнь мы рядом. Сейчас он в редакции ждет меня. Наверное, позвонил Тамаре, а та сообщила ему, что я давно отбыл на работу, и попросила напомнить мне, что мы сегодня в семь вечера идем с нею на фильм Тарковского «Солярис».

Я взглянул на часы — теперь уже скоро. Успею ли? Надежда не покидала меня.

Сосед докурил, захлопнул форточку. Исчез московский гул. Я постоял у подоконника еще минуту. От него едко пахло казенной пылью.

Отошел, выбрал стул в дальнем углу комнаты. Ладно, посидим, подумаем.

Был один вопрос, на который я не смог бы ответить, задай мне его лубянский «Иваныч-Николаич» или сам Александр Исаич, наш гуру.

Почему я — это я?

Говоря словами поэта: «… разве мама любила такого?»

Почему я — не Чикин, например? Почему вокруг него своя «кодла», а вокруг меня — своя?

Что нас делает такими, какие мы есть — или даже больше, чем мы есть, как сказал бы философ Батищев?

Мама-мамочка, друг мой! Ты на Ваганьковском кладбище, участок тридцать пять. Ты счастлива, что увидела меня, «полуседого и всезнающего, как змея»?

А я не увидел таким моего сороковой армии сержанта — участок девятнадцать. Его могилу сразу заметишь — такого дубового креста, как сделал Антон, нет на всем Ваганьковском. Он остался в моей памяти темноволосым, доверчивым, двадцатишестилетним. Теперь я кочую от твоей мраморной плитки — к его белому валуну. Мы привезли его с Псковских озер. Он лежал среди других на берегу и как-то особенно посверкивал кварцевой макушкой. Когда-то братья мечтали пешком с рюкзаками, с заходом в Печоры, мимо Пушкинских гор, лесами добраться до нашего озера, где один из них в детстве отдыхал не раз, а другой озера не видел. Хотели побывать вместе. Может быть, и натолкнулись бы на этого красавца.

Теперь к старшему брату он сам пришел и улегся, как верный сторожевой пес, придавив собою его могилу.

Судьба подарила нам для прощания странный вечер.

Мы ходили по бульвару у дома и горячо спорили под

июльский шелест листьев, запах травы и шум проспекта. Фокстерьер совершал отважные рейды в заросли кустарника, не обращая внимания на наши споры-разговоры. О чем мы беседовали? О новой журналистике, торопливой и неразборчивой, перепутанной с коммерцией. Я говорил, что она мне непонятна.

Она меня настораживает. А сын, делая защитные выпады каратиста, пытался рассказать о свободных людях свободной прессы — он видел их изнутри, работал с ними. И призывал меня критически взглянуть на самого себя и на «шестидесятников». Не заморочили ли мы себе головы своим идеализмом? Не лишили ли себя здравого смысла и не превратились ли в догматиков, вроде тех, с кем боролись? В ответ я позволил себе запрещенные приемы боя. О, эти твои «постфактумы», говорил я, эти «коммерсанты» с твердым знаком на конце, эти твои информационные агентства и газеты — что движет ими? Никаких идей, сынок, никаких! Просто зарабатывают «бабки» — только и всего. У нас было иначе, учти. Он сказал с грустью:

— Если тебе хочется так думать — думай.

Это были его последние слова, сказанные мне. Они до сих пор звучат в моей голове. Они в ней застряли навсегда.

Следующей ночью моего сына вызвали под каким-то предлогом из дома, и в жестокой схватке с профессионалами он погиб, став едва ли не первым в списке уничтожаемых журналистов.

Почему у меня все так несуразно, нелепо?

Почему именно мой ушел в Афганистан есть концентрат на «точке», перекачивать горючку по трубе среди пустынных холмов у Герата?

Целый год он сидел с пятью «чижиками» в маленьком домике у дороги — в жару и в холод. Давил скорпионов на глинобитной стене. В первую же ночь его афганской службы пришел грузовой «мерседес» моджахедов с двадцатью бочками, и один из «чижиков», не обращая внимания на нового сержанта, привычно пошел открывать «кран».

— Нормально, — сказал он, — командир! Всегда так было до тебя. Охране надо жить. Прапорщику из полка. Лейтенанту. Кому там еще, не знаю. Не мое дело. Мое — открывать «кран», сливать солярку. Получать афгани, сигареты, жратву, наркотики. Оставлять немного себе, остальное отдавать. Всегда так было, сержант. Зря ты хватаешься за автомат.

Кто мне объяснит, почему именно мой «сержант сороковой армии», как он любил себя называть, закрыл им «кран»?

Растерявшийся «чижик» сказал ему, что теперь его зовут на

«разбор», и предупредил: их там двенадцать, в бункере охраны.

— В них ты стрелять не будешь. Только псих будет стрелять в человека из-за горючки. А ты, вроде, нормальный.

И сын, накрутив потуже портянки, пошел в бункер без автомата.

Он неохотно рассказывал об афганской войне. Остались его письма, но перечитывать их я не могу. Невыносимо рассыпать их по столу — так и лежат упакованной пачкой вместе с его тетрадями, рукописями статей, стихами.

Тот «разбор» закончился для него удачно. Больше «мерседес» не приходил с той стороны тоскливыми афганскими ночами. Лишь однажды, признался мне сын, «кран» был вновь открыт. Когда узбечонок Рахмат готовился к дембилю. У Рахмата дома одна мать и куча братишек с сестренками.

Он рассказывал, что порядки в гарнизоне были суровые. Горючку продавали по-наглому. Днем воевали, а ночью торговали. Среди дня же к трубе запросто подходил только старик из соседнего кишлака и, не видимый с поста охраны, пробивал ее ломом, наливал ведро и уходил. Хорошо, если только вытекало — сколько тонн, не считали — и не горело. А если пожар?

До него на пункте перекачки служил другой сержант и другой узбечонок открывал «кран». У ребят была хорошая жратва и американские сигареты. Но «система» сломалась.

— Не думай, что это ты ее сломал, — успокаивал сына Рахмат. — Она сломалась сама. Виноват зверь-сержант, твой предшественник. Тут постоянно все менялось. Приходил новый русский сержант. И новый узбек — собирать окурки. И тот узбек, который был до меня, во время шухера спрятал полученные от моджахедов деньги в сусликовую норку, а утром всем гарнизоном не могли найти. Сержант хрипел: «Сволочь! Себе на дембиль зажал?» А узбек дрожал и клялся. И норки откапывал.

Сусликовые норки все одинаковые. В какую узбек спрятал афгани, так и не нашли. И ночью несчастный солдат застрелился из карабина в туалете, а сержанта убрали, куда-то перевели. И «кран» с тех пор открывался не часто. Поэтому Рахмат и сказал сыну, чтобы он не думал, что такой смелый, сломал «систему» — и простодушно посожалел: «Будем теперь жрать один концентрат».

Почему на меня выпал этот жребий?

Я провожал сына в августе восемьдесят пятого. Мы стояли на том самом Казанском вокзале, с перрона которого я когда-то уехал в Сибирь. Мимо равнодушно проходили пассажиры, несли арбузы. Мне казалось это несправедливым: я не написал ни

строчки в защиту грязной войны — и мой сын вынужден на нее отправляться, а Геннадий Бочаров, памятный мне еще с «Комсомольской правды», жизнерадостно опаивал со страниц «Литгазеты» всю страну своими героическими очерками о тех, кто выполнял «интернациональный долг» — и ему повезло, он своего, кровного, говорят, вытащил буквально из самолета, не дал туда отправить.

Нелепые вопросы.

Жизнь каждого человека катится по колее. И все, что в той колее — все под твоим колесом. Именно так взорвалась мина под колесом «камаза», которым управлял узбек Рахмат, и выбросила его из кабины как раз накануне дембиля.

Конечно, ничего этого я еще не знал, когда сидел на стуле, забившись в угол пустынного кабинета в Большом доме. Не знал, что сын отправится на войну и вернется с нее живым. Не знал, что погибнет в ста метрах от дома. Я был свободен, удачлив, верил, что и на этот раз выпутаюсь из переделки. Один мой сын был еще совсем мал и барахтался, пытаясь бороться с огромной нашей овчаркой по кличке Мартын, а другой, двенадцатилетний, сочинял мне гордое письмо из Сведловска, сообщал о поединке на шпагах в крапивинской «Каравелле». И до последней прогулки с ним и с фокстерьером было еще далеко. Еще и прежний пес не прожил до конца свою собачью жизнь. Но мина все равно уже лежала в колее на пути к озерцу в окрестностях Герата, откуда мой сын и солдаты его небольшого гарнизона брали воду.

Выходит, все дело в колее? У каждого она своя. Поэтому мне не суждено было стать ни Чикиным, ни Бочаровым. И никакой моей заслуги в том нет.

Или все же — мог бы?

Одно случайное действие, неосторожный шаг в сторону — не в логике пути — и вся картина жизни непредсказуемо меняется. Могло так быть?

Валентин Чикин, мой коллега по газете, стал зловещей тенью Нины Андреевой. У меня его инфернальная внешность вызывает судорогу омерзения, когда я вижу, как телекамера плывет мимо его тяжелого, обрюзгшего лица. Вот он среди депутатов — еще немного усилий, и он станет нашим могильщиком.

Когда-то мы дышали воздухом одного редакционного коридора. И однажды он, редактор отдела пропаганды, член редколлегии «Комсомольской правды», остановил меня, пробегавшего мимо, и сказал: «А ты ничего написал!» — похвалил мой очерк.

Почему мы пошли разными путями? Почему я сейчас смотрю на его лицо на экране и благодарю судьбу за то, что я — это я, а

он — это он.

Почему я стал таким, каким я стал?

Ведь все начиналось банально в родильном отделении «кремлевки». За год до тридцать седьмого. Рядом на койке мучилась сноха Ворошилова — она разрешилась Климом. Домой в пятикомнатную квартиру на Арбате меня отвезла отцовская персональная «эмочка». Шесть домработниц, безжалостно увольняемые отцом, сменяя одна другую, стирали мои пеленки.

Банальной была и гувернантка-француженка, за кусок хлеба учившая меня с помощью игральных карт и песенок птичьему языку своей страны. Песенки запомнились. Прорвались, как НЛО, сквозь толщу световых лет войны и голодной юности, сибирских похождений и журналистских кочевий — нет-нет, да напою мотивчик. Но смысла слов не понимаю: «Пан кес ке ля сэ, палишенель, мамзеле, пан кес ке ля сэ, палишенель, кивля».

Что такое «кивля» — это меня больше всего занимает.

Банальной была и проданная одной из домработниц, рязанской толстухой, мебель в московской квартире, в которую мы возвратились из эвакуации и обнаружили голые стены. Не было ничего оригинального в моей грусти по лошадке на деревянных колесах. И так, перечисляя, не встретишь ни одного сюжета, который каким-то образом объяснил бы мне, почему я встречаю сумерки в угрюмом здании Комитета госбезопасности.

Казалось бы, всем раскладом мне уготована была другая судьба. Ведь я — большевистский наследник, неистребимый по замыслу вождя.

Но что-то нарушило их генетический код. Не иначе — вмешался Святой Дух. И все у меня пошло вразнос, в растряску, в отрицание. И завершилось брезгливым плевком в мерцающий экран, где, обрезанная по шею, маячит голова Чикина.

На каком-то отрезке пути, в какой-то пересеченной местности земля вдруг провалилась подо мною «колеей». И эта «колея» потащила меня сама. Не давая выбраться за шершавые края. А вдоль моего пути, по краям «колеи», выстроились — так рисовала моя фантазия — маленькие кротики, зорко следя за мной, словно регулировщики, и командуя: «Сюда нельзя! Только туда!»

Я мысленно ясно видел эти существа — представляя их, как живых, с той поры, когда тыкался головой в мамину кротовую, еще довоенную, шубку.

— Почему так? — спросил я бородатого астролога Павла Глобу, похожего на жука-короеда. — Неужели все в жизни задано?

— Все. Кроме выбора между светом и тьмой. И то, и другое существует в нас. Существует реально.

— Ответственность за выбор остается за человеком?

— Да, — кивнул Павел.

В разговор вступила очаровательная Тамара Глоба. Мы сидели на берегу Черного моря — Кавказ еще не терзала война, было солнечно и спокойно, мы покупали инжир и запивали его вином.

Я пытался понять смысл авестийской традиции в астрологии. Ответственность за выбор всегда остается за человеком. За него никто его не сделает.

Когда же я сделал свой выбор?

Стены «колеи» могли оказаться не столь надежны. Неровен час, я мог вылететь за ее пределы на простор соблазнов.

— Так выбор за мной? — переспросил я. И как цыганке, показал Тамаре свою ладонь.

— Мне давным-давно нагадали, что у меня будто бы есть охранная линия. До половины жизни.

Тамара взяла мою ладонь.

— Нет. Она идет у вас через всю жизнь. Просто имеет разрыв.

Настанет день — и этот «разрыв» даст о себе знать. Но пока — что бы ни говорили мои любезные авестийцы — для меня не существует неизвестности. У камня перед тремя дорогами я не задерживаюсь. Не читаю ребусов, начертанных на нем, а иду, куда ведет «колея».

В пятьдесят четвертом, вопреки воле, я пошел во Внешторг — и мама смотрела мне в спину счастливыми глазами. Мое большевистское происхождение помогло мне. Одноклассника Юрку Гуревича, золотого медалиста, не взяли, он стал «лабухом» у Кобзона, а меня приняли, хотя я плохо отличал синус от косинуса. Я учил лишь английский и слушал «голоса», радуя школьную англичанку Нину Исааковну необычной метаморфозой, превращением «двоечника и негодяя», как она меня называла, в прилежного зубрилу. Мы давно уже лишились пятикомнатной квартиры, оказались — в проходной десятиметровке. Наследство отца растаяло. Но я еще рыдал, как безумный, когда умер Сталин. Мы жили, как многие: с керосинками, авоськами, с продуктовыми карточками, а потом — без них, радуясь скорому приходу «весны человечества» и снижению цен. Я осваивал китайскую грамоту в прямом, а не переносном смысле. Приучил себя отключаться, не обращать внимания на ходившую за моей спиной на кухню и обратно соседку-старуху или ее тридцатипятилетнюю сексуально-озабоченную дочку по прозвищу Кнопка — небольшого росточка, полноватенькую. Выросший у нее на глазах, к стыду своему, я все чаще кидал на нее косые вожделенные взгляды. И все-таки — я выучил китайский. Получил диплом. Пошел работать на Смоленскую площадь. И когда тень отца, казалось бы, опять

закрыла меня от света, и мой путь был уже предначертан, я совершил нелогичный, какой-то дикий поступок — бросил службу на Смоленской площади и уехал в Сибирь.

«Колея» пересекла два континента, замкнула петлю и через пять с половиной лет привела меня в тот же кабинет, откуда началось мое путешествие — к Борису Панкину.

Борис, встретив меня в коридоре «Комсомольской правды», затащил к себе, расспросил и, плохо соразмеряя сдвиг во времени, бодро сказал: «Давай к нам!»

Но я был уже у них. Вторую неделю я работал в редакции. Ни надменные дочки правдистов — редакционные секретарши, среди которых мне, стажеру, надлежало по рангу вращаться, ни вихлобедрый любимец редакционных примадонн Виталий Игнатенко, бывший сочинский официант, делавший, как и я, свои первые шаги в кругу столичного журналистского истеблишмента, не смущали меня. Я смотрел на них через прорезь в броне моих сибирских похождений, хранил в душе память о «республике Запсиб». И даже молодой, высоко взлетевший редакционный начальник Валентин Чикин не пугал меня, когда кривил губы в улыбке, высчитывая, кто же голосовал против него на выборах партбюро.

По иронии судьбы от него, сталиниста, жена ушла к другому сталинисту — международнику Кривопалову. В шестьдесят восьмом Кривопалова послали в Прагу на смену Кривошееву, собкору «Известий», отказавшемуся врать, Кривопалов, соперник Чикина по амурным делам, писал из Праги, что положено, и мы в ту пору искренне сочувствовали Чикину.

Чикин, считали мы, убежденный сталинист-отличник, несчастный догматик и брошенный муж. А Кривопалов — обыкновенный карьерист и подонок. Все-таки есть разница.

Я помню, Лен Карпинский маниакально твердил осенью шестьдесят восьмого о личной ответственности журналиста, а Кривопалов слал и слал из Праги свои репортажи. Да только ли он?

Возможно, это было самое чистое время для Валентина Чикина — время его потерь. Потом он только приобретал. И однажды приобрел «Советскую Россию», и из этой своей «колеи» уже не выбирался.

Коснувшись темы «колеи», вернемся в колею повествования.

6

Редакционное словоблудие в годы «застоя» нынешнему

поколению журналистов трудно себе вообразить.

Работая уже в «Молодом коммунисте», я как-то сделал доклад, нарисовав в нем человеческие портреты, отражавшие, по моему мнению, суть научно-технической революции. Доклад — как тогда было принято — на партийном собрании. И это вызвало скандал.

Поройков сухо отреагировал:

— Партсобрание не есть дискуссионное собрание.

Меня обвинили в том, что я предлагаю героя, который ставит «тысячу вопросов». А кто будет на них отвечать? В почете была твердая точка зрения. И персонаж, который во всем убежден.

Виктор Скорупа, заведующий отделом пропаганды, непревзойденный закупщик маринадов на рынке для общественных застолий, мастер стола, тамада и опытный партийный интриган — человек, всеми любимый — сказал гениально:

— Надо глотовские тезисы опартиить!

И мы отметили мудрое решение в узком кругу — с чесноком, черемшой и «тремя звездочками» за четыре двенадцать.

Одни ругают «застой», другие тоскуют: «Мы коммунизм-то, не заметив, проскочили».

Страна обсуждала не мои тезисы, а очередного Пленума — это слово писали исключительно с большой буквы. И какие доводы находили!

«Нельзя рассматривать „тезисы“, как большой предъюбилейный молитвенник. Мы не всегда делаем „тезисы“ своим рабочим инструментом», — укоряли нас старшие товарищи.

В дни ленинского юбилея — на стенах зданий портреты вождя из жердочек. На сценах театров — идейно выдержанные спектакли.

Нас тоже призывали: «Можно и написать — пошлости нет!» И предупреждали, чтобы мы в суматохе каждодневности не атрофировали подход.

Пишут же о «ленинской эволюции на примере десятиперых рыб»! В такие дни никому нельзя оставаться в стороне. На улицах даже шарики продавали, раскрашенные ленинской символикой. Не вздумай к такому прикоснуться сигаретой — бац! — и ленинский юбилей лопается.

Чехословакия так закрутила гайки, что начальство вздрагивало из-за полной ерунды. Из тех лет «Комсомольской правды» запомнился вечный мандраж бедной нашей Инги Преловской. Из секретариата приходил Дюнин и швырял на стол сочинение Вики Сагаловой: «Дамское эссе!» Инга тут же начинала

причитать: «Ох-ах!» Сагалова стонала: «Вас не поймешь! Сперва я написала сухо, теперь» — и обвиняла Ингу в непоследовательности: хочет и партийно, и задушевно.

Но делать нечего — надо отправляться переписывать.

По коридору «Комсомолки» изредка проходил самый богатый в редакции человек — Гриша Оганов, пушисто одетый, осанистый ответственный секретарь и карикатурист, бичевавший империалистов. Гриша мог вытащить из кармана бумажник и дать взаймы — хочешь, пятерку, а хочешь, пятьсот. Но не всякий отваживался беспокоить вельможу.

В редакцию приходил Сергей Чесноков, в ту пору муж Сагановой — бард-исполнитель, ходячая фонотека всей мыслимой авторской песни.

Однажды Чесноков принес весть: разогнали редакцию «Нового мира». Он сказал: «Завтра будет в газетах» — и попробовал развеселить нас песенкой, в которой были такие слова: «может выделили б Люську, на худой конец».

А Валя Чикин в те дни гнул свою линию — интриговал, воспользовавшись отсутствием в редакции Бориса Панкина. Кого-то старался убрать, кого-то придавить. Захлебывался на летучке, одергивал, хамил. Нина Павлова жевала что-то о «человечности», которая захлестнула нашу газету, стала «тормозом» и уже «не прогрессивна». Вила кружева, оправдывала чикинские реформы. Покойный Ервант Григорянц, как всегда, с места и, как всегда, вовремя, саркастически заметил: «Нашу газету захватило буйство благодушия». А какой-то новый стажер не понимал, крутил головой и спрашивал Павлову: «А где человечность вредна — в строках или между строк?»

Я вижу нашу старую «Комсомолку». Отдел новостей перебирается поближе к главной редакции. Носят столы, подшивки газет. Среди развалин, как полководец, меняющий дислокацию, стоит Виталий Игнатенко в белой водолазке, окруженный репортерами. Тут же кореец Шин и щеголеватые клерки. А мимо идет по коридору старая, но жизнерадостная редакционная лошадь Таня Агафонова, прилетевшая из очередного героического ледового плена наших ледоколов, почему-то печальная сегодня. Идет хмуро, никого не замечая. Улыбнулась машинально и пошла.

Мы все были разные, но жили дружно. И все вместе предали Анатолия Стреляного, который держался особняком. Почти каждый месяц он приносил начальству очередной бескомпромиссный очерк. Его не печатали. И когда он положил десятый или одиннадцатый за год, триумвират в составе Панкина, Чикина и Оганова вызвал его и, при гробовом молчании

редакции, объявил ему приговор: ты нам чуждый человек.

Я тогда пребывал в возрасте Иисуса Христа. И потерял одну из своих иллюзий, насчет особой атмосферы «Комсомольской правды» и ее «удивительного стиля» — когда все написано как бы одной рукой — и начал постигать, какие же мы пакостные существа. Достоинством считалось писать для нашей газеты «на грани правды» — и я осваивал это мастерство.

А газета совершенно озверела, вступив в полосу бесконечных юбилеев. Даже на бородатых кидалась, как на политических диссидентов. Исполнителем интеллектуальных расправ был Гриша Оганов, а делом попроще — скажем, вкусами молодежи — занимался появившийся в редакции журналист по фамилии Сабов. Но и он расправлялся не грубо, а объяснял, что его публицистическое негодование направлено не против бород, как таковых, и даже не против моды, а против явлений, когда форма расходится с делом.

Как бы там ни было, в редакции внешне сохранялась демократическая обстановка — достаточно полистать стенограммы летучек, чтобы убедиться в этом. Я решительно выступил против тезиса о единстве формы и содержания, если речь идет о пучке волос. Я приводил исторические примеры.

— Бороду носил китайский художник Ци Байши. Георгий Плеханов писал о Степане Халтурине: «Ни о силе характера, ни о выдающемся уме не говорила эта привлекательная, но довольно заурядная внешность». А ведь у Степана была борода! Самсону, библейскому богатырю, как известно, остригла бороду и лишила его силы женщина. И по статистике Леонида Петровича Плешакова, который сидит тут, вместе с нами, с окладистой бородой — даже алкоголики в электричках не пристают к нему насчет его внешности. Посмотрим еще. Добролюбов носил бороду и волосы-патлы. Фридрих Барбаросса (Красная Борода) возглавлял один из крестовых походов, хотя сами крестоносны предпочитали бриться. А Диккенс? А вспомнить пижонскую бородку, которую носил Декарт? Усы носил Сулейман Стальский и редко брился. Джамбул Джабаев, у которого плохо росла борода, переворачивал домру вниз струнами, чтобы не потревожить жидких волос. В Амстердаме длинные волосы (возможно, это был парик) носил коммерсант Спиноза, и в проклятии синагоги говорилось, что никто не должен иметь с ним общения, не жить с ним под одной кровлей и не приближаться к нему на расстояние ближе четырех локтей. Правда, это было вызвано не волосами Спинозы, а его «Этикой». Можно привести в качестве примера французов-энциклопедистов во главе с тридцатидвухлетним Дени Дидро, которых разгромила

официальная политика, управляемая иезуитами. Даже в крутые времена борода воспевалась: «У тебя седина в бороде, и моя голова поседела» Кто не знает партизанской песни: «Парень я молодой, не смотри, что с бородой» Целые районы были освобождены от немцев бородатыми людьми. Владимир Иванович Даль благородную «бороду» заключил между словами «боров», что означает кабан, хряк, и «борозда». И только Петр Первый сказал: «Борода — лишняя тягота». Но есть и другое: «Борода делу не помеха». А раскольники так ценили бороду, что кричали: «Режь наши головы, не трожь наши бороды!»

Забавляя летучку, я закончил назидательно: «Бог судит виноватого, кто обидит бородатого».

Инга Преловская смеялась вместе со всеми. Но глаза ее, две черные бусинки, быстро обегали зал. В них сохранялась настороженность.

Мне было жаль Ингу — за ее суету, за унижения перед крутыми ребятами, вроде Юркова, с рабоче-крестьянской наглостью забиравшими в руки редакционные дела.

Все, что происходило в стране, происходило и в редакции.

Вот вырезка из газеты — не помню, нашей ли — начинается словами: «Вчера на Сретенском бульваре разгоняли доминошников. Почему? По какому праву? Игравшие, все без исключения, были трезвы, не шумели, никому не мешали — могу это подтвердить».

Фамилия у сигнализировавшего о нарушении прав человека была «Стуков». На всякий случай он закончил свой протест так: «Сам я в домино не играю, но видеть, как гонят со скамеек ни в чем не повинных людей, неприятно».

Маразм крепчал!

Я по-прежнему часто ездил в командировки. Иногда попадал на гулянку комсомольского актива.

Второй раз спели «Там вдали, за рекой». Кто-то предложил: «Давай — комсомольцев-добровольцев!»

Секретарь райкома сказал:

— Да ну их на фуй!

За дверью зашумели. Секретарь позвал здорового мужика:

— Федя, успокой.

Наутро опять пришли за мной:

— Мы вас очень просим. Там уже машины. Едем в лесничество. Лыжи, девушки.

А вечером мы сидели дома у секретаря райкома и смотрели хоккей. Наши играли с чехами. Я назло секретарю болел за чехов, но не показывал виду. Однако когда запивали очередной гол, я боялся, что меня разоблачат и обвинят в непатриотичности.

Утром секретарь райкома, встречая меня, гарцуя, вышел на середину кабинета, раскидал полы пиджака и сильно потряс мою руку — я стал для него «своим человеком».

И он рассказал мне об учителе в деревне:

Интеллигент, понимаешь, народник. Приехал с настроением «просвещать» и всякая такая муть. Я ему говорю: «Все это ерунда, брось темнить! Организуй стрелковый кружок, вот тебе ясное и конкретное дело!» А он, паразит, крутит. «Где мы, — говорит, — винтовки найдем?» Объясняю: винтовка стоит пятнадцать рублей, а тонна металлолома — двадцать четыре. Две тонны металлолома — три винтовки. А он опять: «Кто учить стрелять будет? Где стрелять?» Оч-чень интересный разговор. Я бы сказал: показательный! Да в каждой деревне, говорю ему, есть демобилизованный солдат. Найди его, привлеки. Овраги есть? — спрашиваю. Вот тебе и тир! А он опять темнит: «У нас нет оврагов, у нас одни бугры». Ну как же может не быть оврагов? Два бугра, это один овраг. Вот к нему бы тебе поехать. Пощупать, посмотреть.

Зазвонил телефон. Секретарь райкома взял трубку, стал докладывать, как прошла конференция (ради нее я и приехал).

С партийным начальством секретарь пружинист, деловит. К слову и матюгается — как патрон досылает.

Рубит с плеча, чеканит. Сразу видно — наша смена.

— Значит, так, Петр Васильевич! Докладываю. Прозвонили в Веселовку, жертв нет, парторгу грудь вдавило. Еще одной девчонке руку сломало и ключицу выбило. В больнице. Значит, выяснили причины. Главный инженер совхоза сел за руль. Машина заехала, взяла две бочки карбида, потом забрала делегатов конференции. Хорошо, машина крытая фанерой, а если бы брезентом, там бы каша была. Считаю, виновато руководство совхоза и милиция. Мы давали команду: привез шофер делегатов, отбирать права. Кончилась конференция — дыхни! Трезвый — вот тебе права, вези. Вот так, Петр Васильевич! Да. Всё. Понятно.

В остальном конференция прошла удачно.

Я предлагаю первый тост, товарищи, за Коммунистическую партию Советского Союза!

Пили и ели активно. Совещались: поднимать следующий тост или пусть поедят? «Пусть поедят. Устали», — сказал председатель райисполкома, татарин.

Когда пошла пятая-шестая, закуски смешались. За руководящим столом, закончив коньяк, перешли к водке.

— Ведь как хорошо это — комсомол! — Сосед лез ко мне с объяснениями. — Я помню, ведь ни черта не понимаешь, зачем идешь, а идешь. Задор, это главное, за что уважаю нас уважают.

Пьем, да? Ну ладно, ладно…

Через час все стали близки и доверчивы. Открыли неоткрытую бутылку шампанского — чтобы не пропадало.

Недопитое — выплеснули веером за спину, по стене. На прощанье партийный босс сгреб из вазы конфеты, ссыпал в карман.

Родину, как мать, не выбирают. Но иногда хотелось блевать — не от водки.

Вернувшись из командировки, я сидел в редакции, сочинял отчет. К вечеру пришел Валерий Аграновский, принес листки.

— Вот, — сказал, — стенограмма собрания аппарата писательской организации. Об исключении из СП Солженицына.

Стали читать. Дверь открылась. Заглянула Инга.

— Что вы тут, пьете что ли?

— Совсем наоборот.

Возможно ли, размышлял я в полном отчаяньи, скорректировать движение страны?

Сколь скромно мы ни оценивали свои силы, мы не могли не задавать себе такие вопросы. Не хотелось так жить. Надо что-то предпринимать.

Но что?

В очередной раз собравшись в командировку, я поехал в Академгородок, к Бурштейну, в его «Интеграл». В среде образованной молодежи, особенно научной, об этом элитарном дискуссионном клубе в Сибири знали не меньше, чем о группе «Битлз». «Интеграл» — это глоток свободы.

В тот раз среди гостей из Москвы выделялся философ Щедровицкий — интеллектуальная машина высокой мощности. Как обычно, действо разворачивалось за столиками кафе. Академик Александров, как всегда, был в свитере, Анатолий Бурштейн безумно сверкал очами, маленький ртутеподобный Яблонский ходил с видом будущего гения, а у Александра Радова была еще фамилия Вельш и сам он был худенький и скромный мальчик. В качестве украшения зала рассыпались хорошенькие интеллектуалочки. А у микрофона шла жесткая схватка по поводу вакуума нравственного воспитания.

Из того вечера я вынес мысль, кем-то с отчетливостью выраженную — не Щедровицким ли: зрелый человек — это человек, который все ситуации решает без наставника и руководствуется в жизни не моральными прописями, а моральной теорией. Нужны убеждения, основанные на понимании законов развития общества. И конечно, активность.

Что касается последнего, размышлял я, то с этим проблем не будет.

Анатолий Бурштейн через какое-то время приехал в Москву. Он и познакомил меня с Леном Карпинским. С этого все началось.

7

— Аппарат, по сути своей, антиинтеллектуалистичен, — объяснял Лен. — Начальство все лучше знает? Это иллюзия, будто об общих принципах могут судить только высшие сферы.

Мы шли от Зубовской площади, где Лен жил, в сторону Смоленской. Рядом с Карпинским трудно выступать в роли собеседника. Он предпочитал иметь слушателей.

— Человек, стоящий у власти, нуждается в знании только как в средстве. А специалист привлекается только для того, чтобы подыскать пути осуществления политики, цели которой не подлежат не только критике, но даже обсуждению. И люди, обладающие знаниями и вступающие в контакт с власть имущими, приходят к ним не как равные, а как наемники.

— А мы кто?

— А мы с тобой не можем ужиться с властью не из-за своей непрактичности, а в силу того, что наши цели выходят за рамки существующего строя, который охраняет государственная власть.

Лен шел тяжело. Его мучил диабет. Его жена Люся металась между своими дочками и этим беспомощным человеком, тоже ее ребенком. Больным, пьющим, вечно с людьми, с завиральными идеями.

— А государственная власть, — продолжал Карпинский, — даже самая просвещенная, всегда выражает интересы господствующего класса. И это ставит ей вполне определенный предел. Таков суровый факт, с которым сталкиваются все просветители и утописты.

«Мыслитель» и «власть» — наша тема. Техницизм, пренебрежение к историческому прошлому, потребительское отношение к высшим культурным ценностям. Лен говорил, что у интеллигенции чувство собственной исключительности выливается в сознание своей ответственности перед народом, в стремление быть не только мозгом, но и совестью страны. Или — в пренебрежение к массам, снобизм и требование для себя особых привилегий.

Лен предлагал препарировать стереотип интеллектуала, сложившийся в общественном сознании, сделать его предметом социально-психологического исследования.

А я был, по складу характера, индивидуалистом и скрытым

мистиком. Мне эти «социальные группы», «стратификация», расклад по полочкам — все это казалось слишком занудным. Как-нибудь прорвемся, думал я, минуя русло общественного прогресса. По своей тропинке.

Я согласен был делать общее дело. Печатать — я тогда был уже в «Молодом коммунисте» — всю эту дребедень. Часть моего «Я» соглашалась двигаться по столбовой дороге прогресса — навстречу предсказываемой моим новым другом общенародной дискуссии, другая же, эгоистическая, ползла по своей «колее», доверяя внутреннему чувству.

Лен рисовал свой марксистский план: вывести через десять лет наверх прогрессивного лидера, вложив ему в голову *наши* идеи. Но план этот смущал меня. Я не вполне доверял и опыту старой большевички Зинаиды Николаевны Немцовой, моего друга и наставницы, имевшей за спиною восемнадцать лет лагерей и ссылок, но считавшей, что иного пути нет: только с партией!

«Только через нее, — внушала она нам с Игорем Клямкиным, оберегая нас. — Иначе погибнете, как диссиденты».

Вот и Лен о том же.

Карпинский тогда активно читал Бухарина, Троцкого. А я — стыдно признаться — третий раз перечитывал Достоевского. Поступал непрактично и явно отставал в своем политическом развитии.

Конечно, я тоже делал попытки освоить наследие. Но всякий раз наталкивался на какие-нибудь такие слова, которые меня коробили.

Стал читать Троцкого. Вдруг вижу: «Я знаю, что быть правым против партии нельзя. Правым можно быть только с партией, ибо других путей для реализации правоты история не создала».

Для чего же тогда Зинаида Немцова, арестованная в тридцать шестом, когда была парторгом «Светланы», устраивала на этапе драки с троцкистами? Если, прожив девяносто лет, пришла к тому же — уговаривала нас не отрываться от партийной пуповины?

Я принялся за Маркса и Энгельса, но опять набрел не на то.

«Дорогой Энгельс! — писал своему другу Маркс. — Только что получил твое письмо, которое открывает очень приятные перспективы торгового кризиса».

А Энгельс, потирая руки у камина и развивая мысль насчет «приятных перспектив», отвечал коллеге Мавру:

«Теперь хорошо бы еще в будущем году иметь плохой урожай на зерно, и тогда начнется настоящая музыка. Americancrash великолепен и далеко еще не миновал. Торговля теперь снова на три-четыре года расстроена, nous avons main tenant de le chance».

И сообщал о своем состоянии:

«Со мною то же, что и с тобою. С тех пор, как в Нью-Йорке начался спекулятивный крах, я не мог себе найти покоя в Джерсее и чувствую себя превосходно при этом general down break. Кризис будет так же полезен моему организму, как морские купания, я это и сейчас чувствую».

Ничего ребята, да? И купания не забывали.

Но не все шло гладко, согласно научной теории. И вот тревожное сообщение:

«… на рынке улучшение настроения. Будь проклято это улучшение!.. Здесь могут помочь только два-три очень плохих года, а их-то, по-видимому, не так-то легко дождаться».

Растроенный, я отложил в сторону основоположников. Вспомнил: что-то похожее я уже читал — взошедшее на русской почве.

Покопался в столе, нашел нужный листок.

«Само правительство того гляди додумается до сбавки подати и до тому подобных благ. Это было бы сущее несчастье, потому что народ и при настоящем дурном положении с трудом поднимается, а облегчись хоть сколько-нибудь его карманная чахотка, заведись там хоть на одну корову, тогда еще на десяток лет все отодвинется и вся наша работа пропадет».

И кто же такой — этот последовательный марксист?

Наш доморощенный «бес» — Нечаев.

А мы как раз собирались разоблачать его на страницах журнала с марксистских позиций.

Мой друг Игорь Клямкин в это время усиленно осваивал утопистов. Вместе с Александром Цыпко они публиковали одну за другой превосходные философские статьи, рисуя образы совершенно удивительных людей.

Я тоже решил заглянуть в первоисточники для общего кругозора.

Меня потряс бенедектинский монах Дешан.

«Женщины, — писал он, рисуя из глубины восемнадцатого века светлое будущее, то есть наше с вами время, — являлись бы общим достоянием для мужчин, как и мужчины для женщин. Дети не принадлежали бы в отдельности тем или иным мужчинам и женщинам… Женщины, способные кормить грудью и небеременные, без разбору давали бы детям свою грудь… Но как же, возразят мне, неужели матери не оставляли бы себе своих собственных детей? Нет! К чему эта собственность…» Все люди «знали бы только общество и принадлежали бы ему одному, единственному собственнику».

И для этого, по мысли монаха, предстояло уничтожить:

«… все то, что мы именуем прекрасными произведениями

искусства. Жертва эта была бы, несомненно, велика, но принести ее необходимо… И зачем понадобилась бы им ученость Коперников, Ньютонов и Кассини?.. В состоянии дикости не размышляли и не рассуждали, потому что в этом не нуждались; при состоянии законов размышляют и рассуждают, потому что нуждаются в этом; при состоянии нравов не будут размышлять и рассуждать, потому что в этом не будут больше нуждаться… Мебель их состояла бы только из скамей, полок и столов… Свежая солома, переходящая затем от них на подстилку для скота, составляла бы общее здоровое ложе, на котором они предавались бы отдыху. Они располагались бы для этого без разбора, женщины вперемежку с мужчинами, предварительно уложив немощных стариков и детей, которые спали бы отдельно… В их очень скромном существовании им необходимо было бы знать лишь немного вещей, и это были бы как раз те вещи, узнать которые всего легче… Склонность каждого была бы вместе с тем и склонностью всеобщей… не было бы ярких, но мимолетных ощущений счастливого любовника, героя-победителя, достигшего своей цели честолюбца, увенчиваемого художника… Все дни походили бы один на другой… При состоянии нравов не плакали бы и не смеялись бы. На всех лицах написан был бы ясный вид довольства, и, как я уже говорил, все лица имели бы почти один и тот же вид. В глазах мужчины любая женщина походила бы на других женщин, а любой мужчина — на другого мужчину в глазах женщины… И они не сомневались бы в том… что в некий день им суждено… погибнуть… Похороны их не отличались бы от погребения скота».

Освоив Дешана, я слегка осоловел.

И взялся за Кампанеллу.

Оказалось, что и тут «…у них всё общее. Распределение всего находится в руках должностных лиц… Дома, спальни, кровати и все прочее необходимое — у них общее. Но через каждые шесть месяцев начальники назначают, кому в каком круге спать и кому в первой спальне, кому во второй…»

А едят они «…как в монастырских трапезных… Должностные лица получают большие и лучшие порции».

Работают, конечно, все. «…ежели кто-нибудь владеет всего одним каким-либо членом, то он работает с помощью его в деревне, получает хорошее содержание и служит соглядатаем, донося государству обо всем, что услышит».

Не тот, оказывается, *член*, о котором я подумал, имелся в виду. Это по части чекистов. Надо рассказать моему Иван-Николаичу…

Я продолжал вспоминать мои университеты, плохо

соображая, в какой комнате сижу.

Как много внимания утописты уделяли дамам!

Кампанелла был посажен на кол, но выдержал испытание, как йог, и довел свои исследования до конца.

Жители его «Города Солнца», писал он, «подвергли бы смертной казни ту, которая из желания быть красивой начала бы румянить лицо, или стала бы носить обувь на высоких каблуках, чтобы казаться выше ростом, или длиннополое платье, чтобы скрыть свои дубоватые ноги».

Проблема женского лобка сводила утопистов с ума. Им виделась одна лишь «польза делу».

«… производство потомства, — продолжал Томас Кампанелла, — имеет в виду интересы государства, а интересы частных лиц — лишь постольку, поскольку они являются частями государства; и так как частные лица по большей части дурно производят потомство и дурно его воспитывают, на гибель государства, то священная обязанность наблюдения за этим как первой основой государственного благосостояния вверяется заботам должностных лиц, и ручаться за надежность этого может только община, а не частные лица… Поэтому производители и производительницы подбираются наилучшие по своим природным качествам, согласно правилам философии… Если какая-нибудь женщина не понесет от одного мужчины, ее сочетают с другим; если же и тут она окажется неплодною, то переходит в общее пользование, но уже не пользуется почетом… Вскормленный грудью младенец передается на попечение начальниц, если это девочка, и начальников, если это мальчик… На восьмом году переходят они к естественным наукам, а потом к остальным, по усмотрению начальства, и затем к ремеслам… Впоследствии все получают должности в области тех наук или ремесел, где они преуспели больше всего, — каждый по указанию своего вождя или руководителя… Все главные мастера являются судьями и могут присуждать к изгнанию, бичеванию, выговору, отстранению от общей трапезы и запрещению общаться с женщинами… Палачей и ликторов у них нет, дабы не осквернять государство… Смертная казнь исполняется только руками народа, который убивает или побивает камнями… Иным дается право самим лишать себя жизни: тогда они обкладывают себя мешочками с порохом и, поджегши их, сгорают, причем присутствующие поощряют их умереть достойно. Все граждане при этом плачут и молят бога смягчить свой гнев, скорбя о том, что дошли до необходимости отсечь загнивший член государства. Однако же виновного они убеждают и уговаривают до тех пор, пока он сам не согласится и не пожелает себе смертного

приговора, а иначе он не может быть казнен. Но если преступление совершено или против свободы государства, или против Бога, или против высших властей, то без всякого сострадания приговор выносится немедленно».

И так — что бы я ни читал.

Мечту моих новых лубянских знакомых предвосхитил еще Кампанелла:

«… весь Город на тайной исповеди… открывает свои прегрешения властям, которые одновременно и очищают души и узнают, каким прегрешениям подвержен народ».

Так я двигался от утописта к утописту. И везде мрак, женские лобки, распределенные начальниками, надзор, слезы умиления толпы, наблюдающей самобичевание.

Некий Ноэль (он же Камилл, Гракх) Бабёф так любил свою дочь, что после ее смерти рассек ей грудь и съел ее сердце. Но это, как говорится, его личное дело. Меня интересовало, что утописты думают о нас, «писателях».

Так вот этот заговорщик-демократ считал:

«Запрещается публикование любого сочинения, имеющего мнимо разоблачительный характер… Любое сочинение печатается и распространяется лишь в том случае, если блюстители воли нации считают, что его опубликование может принести пользу республике».

И Кампанелла отводил нам определенную роль:

«… поэты воспевают славных полководцев и их победы. Однако же тот, кто что-нибудь при этом присочинит от себя, даже и к славе кого-либо из героев, подвергается наказанию. Недостоин имени поэта тот, кто занимается ложными вымыслами».

Еще Платон, на заре цивилизации, прикидывал:

«Прежде всего нам, вероятно, надо смотреть за творцами мифов: если их произведения хороши, мы допустим его, если же нет — отвергнем… Мы извиняемся перед Гомером и остальными поэтами — пусть они не сердятся, если мы вычеркнем эти и подобные стихи, и не потому, что они непоэтичны и не приятны большинству слушателей, нет, наоборот: чем более они поэтичны, тем менее следует их слушать».

Вот такую симпатичную жизнь намечали для нас первые социалисты. Марксизм придал им научную обоснованность. Клямкин был марксистом, Лен Вячеславович — марксистом. Лишь я в их компании изображал доверчивые массы.

8

— Вы давно знакомы с Карпинским?

Мой мучитель пятый раз допрашивал меня, называя, правда, это беседой. Я кочевал из комнаты в комнату, час сидел с охранником, час с ним, не понимая, зачем им такие перерывы.

— Я знаю Лена с конца шестидесятых.

— Что он за человек?

— Лен? Ну-у. Сын старого большевика, друга Ленина. Он у них заведовал библиотекой в Лонжюмо. Я имею в виду отца. А Лен? Блестящий публицист.

— Вы ему доверяете?

— Вполне. А что?

— Вы его близко знаете?

— Я бы сказал нескромно: дружу. Дома бываю, жену его знаю, Люсю. Собака их недавно меня укусила за палец, но не сильно. Щенок еще глупый. Порода колли.

— А Клямкин его знает?

— Конечно. Лен же наш автор. Недавно мы напечатали его статью о Нине Ивановой из «Известий». Погибла. Слышали, наверное? Разбился самолет под Харьковом. Лен и доклад у нас читал в редакции насчет научно-технической революции. Его все знают. Это очень известный журналист. Вы что хотите выяснить, я вас не понимаю?

— О чем вы разговаривали с Карпинским, когда бывали у него?

— Ну, вы даете! О чем могут говорить люди? Тем более — журналисты? О женщинах тоже. Но прежде всего о политике, Иван Николаевич. О ней. Только что тут предосудительного и почему я ради этих ваших вопросов сижу у вас весь день?

— И что же о политике?

— Известное дело. Общий бардак. О двадцатом съезде забываем. Экономическая реформа накрылась. Живем от одного юбилея к другому. Толчем воду в ступе. Вот об этом треп. Но ведь это наша работа, Иван, простите, Николай? Все время путаю, даже неудобно. Каждый раз, как вхожу к вам, теряюсь и не могу вспомнить: Николай вы Иваныч, или Иван Николаич? Еще перерыв устроите, опять перепутаю. Потребность в разговорах, это издержки нашей профессии. Бывает, болтаем и за бутылкой. А потом рождается какая-нибудь идея, какой-нибудь замысел. Журнал-то делать не просто. Надеюсь, вы это понимаете. Вся жизнь у нас в разговорах. Сплошной треп. И о политике тоже. И

острые разговоры. Только греха в этом не вижу. А вам должно быть совестно морить человека голодом ради выяснения, о чем он болтает с друзьями. Да вы ведь знаете, о чем. Знаете?

— Знаю.

— Ну так отпустите меня. Я есть хочу. Меня жена ждет. Мы с нею в кино идем на «Солярис». Вот билет — не верите? Вот он — смотрите! Я еще успею. Еще двадцать минут до начала.

— И Клямкин тоже бывал у Карпинского?

— Я его с ним и познакомил. Раза два он к нему заходил Иван Николаевич, ну я пошел?

— Не хотите вы себе помочь. А зря! Запутал он вас.

— Кто?

— Карпинский.

— Да в чем же? В чем запутал-то?

— Вы это сами знаете. Только не хотите рассказать. А вы бы посоветовались с нами. Ведь не так все просто. Можно ведь и по другому действовать, не так, как вы. Вот и посоветовались бы чистосердечно. Мы тут не солдафоны какие-нибудь. Тоже думаем. Над теми же, кстати, проблемами. Только методы у нас другие. Значит, говорите, «Солярис»? Это что?

— Художественный фильм! По книге Станислава Лема. Я книгу, честно сказать, не читал. А Тарковского знаю — если он снял, значит, вещь. Я видел его «Зеркало». Мне повезло: я еще в «Комсомолке» работал и случайно взял у него интервью в городе Владимире, когда он там снимал своего «Рублева». Помните, говорили про пожар, будто бы у них там корова сгорела. Я поехал во Владимир по каким-то делам и наткнулся на колоссальную тему. Представляете, в Успенском соборе погибали фрески Андрея Рублева! Собор действующий. Когда зимой открывают двери — пар, конденсат оседает на великих мазках. А летом старухи вениками паутину с фресок сметают. Я взял три интервью. У директора музея-заповедника, умной такой, грамотной женщины. У Тарковского — прямо в номере гостиницы. И третье интервью — у настоятеля собора. Пошел к нему домой, объяснил, что меня волнует. Отец Аркадий, так его звали, конечно, удивился — все-таки к нему пришел журналист из «Комсомольской правды» — но встретил приветливо. Дома у батюшки вполне светская обстановка: хельга с посудой, Болеслав Прусс на столе, из другой комнаты выглянула миловидная попадья. Отец Аркадий доходчиво изложил мне свою позицию. Он отделен от хозяйственной жизни храма, не имеет на нее никакого влияния, всем заправляет какая-то «двадцатка», староста и какие-то тетки и мужики. Конечно, воруют. На все им наплевать. Какие фрески? Какой Рублев? Главное — чтобы храм давал доход. Отец

Аркадий еще о многом говорил. Интересный человек. На вид надменный, брезгливый. Как две капли воды похож на артиста Названова из Вахтанговского театра. Если бы интервью с ним напечатали, была бы сенсация. Но Василий Песков посчитал, что я слишком расширяю тему — почему-то ему отдали на суд мое произведение. А может, приревновал? У нас такое бывает. Да. Так вот Андрея Тарковского я впервые именно тогда и увидел. А второй раз — недавно. Он тоже наш автор. Пригласил на Мосфильм на просмотр своего нового фильма.

— Ну, а «Солярис»?

— Что?

— Ну что это такое? Зачем это вам?

— Как зачем? Кино!

— Да бросьте вы, Владимир Владимирович! Надоело, право! Какое кино? Вы же знаете, о чем речь. О каком «Солярисе»!

— О каком?

— Ох, не простой вы человек! Всё — на отбой! Не желаете советоваться.

Советоваться мне не хотелось, потому что чекист смотрел в корень.

Был бы я поблагороднее, я бы комедию прекратил. Все бы изложил, подписал — и успел бы на вечерний сеанс. Но мой отец, хотя и парижанин, родом был из брянских лесов, село Воскресенское.

Мужчин из нашего рода к началу первой империалистической никого не осталось, кроме него. Поэтому отец меня любил как-то особенно — я был наследник. Придет, возьмет на руки, скажет: «Вавилас ты мой, кекевелный!» — что означало: опять обкакался. Поцелует раз пять и отдаст няньке. Была у него еще дочь от первого брака. Он привез ее из Франции. Но дочь — это дочь. Не те чувства. К тому же она была почти ровесницей моей матери. А мать отец увидел у своей знакомой, преподавательницы плехановского института. И влюбился, как юноша, хотя ему было сорок лет. Он носил усы «бабочку», имел атлетическую фигуру, самые широкие плечи на шахте в Горловке, где когда-то работал, — так гласила семейная легенда, — и нет ничего удивительного, что вскоре он обворожил бедную зеленоглазую студентку из провинции. Тем более что у отца в крокодиловом чемодане мать насчитала девяносто шесть крахмальных белых воротничков, а в шкафу висело двадцать костюмов. Когда они зарегистрировали брак, отец, чтобы получше узнать, что это за народ, из которого он выбрал себе жену, поехал на Кавказ — в Эривань. Навестил села. Говорят, вернулся в ужасе. Но дело было сделано. И вскоре я появился на свет.

Вот почему, неся в крови плебейскую наследственность, я не встал перед своим бенкендорфом в позу и не сказал ему: «Да, я тот, за кого вы меня принимаете. Воин подполья!» — а с упорством брянского мужичка изворачивался.

Конечно, чекиста интересовал не фильм Тарковского, а наш Солярис.

Это словечко было кодом.

Кому первому пришло в голову — Лену или Игорю — не помню. Образ Соляриса точно выражал потребность во всеохватывающем коллективном мозге, в котором циркулировали бы отдельные идеи, лишенные авторского эгоизма и страха, циркулировали как общее достояние. Подцензурное творчество задавило до печенок. Со страниц журналов глядела кастрированная наука. Авторы изощрялись не в том, как донести мысль, а в том, как ее скрыть. Самое меткое определение брежневской эпохи, на мой взгляд, принадлежит хирургу Амосову: приспособление истины к безопасности. Но так невозможно было двигаться вперед. Прошло уже почти двадцать лет после двадцатого съезда — и что? Никакого анализа! Да возможен ли он в условиях цензуры?

Нам наскучил этот политический балет намеков, где на сцене одни шарады, загадываемые экономистами, философами, социологами. Никто никого не может понять. Язык абсурда!

Лен Карпинский выразил нашу общую страсть так: «Хочется пожить без презерватива!»

Идеологическая цензура лишала общество самой возможности зачатия новой мысли. Не возникало даже намека на плод.

До сих пор удивляюсь, как люди в этих условиях жили.

Как-то вечером, в оттепель после сильных морозов, начавшихся еще с Крещения, я поехал к философу Эвальду Ильенкову. Вошел в его квартиру на пятом этаже углового дома напротив Телеграфа. Ильенков подался мне навстречу, сутуло вздернув острые плечи, выдвинув вперед голову. Быстро поздоровался, сказал: «Проходите сюда», — указал на кушетку в кабинете, а сам ушел в центр его, где стоял огромный деревянный ящик и вращались диски. Комнату сотрясали звуки могучей музыки, певец выговаривал немецкие слова. Ильенков наклонил голову, припал ухом и слушал. Обо мне он забыл. Потом с досадой махнул рукой: «А-а» Догадавшись о его страсти, я вежливо поинтересовался: «Не устраивает? Нет чистоты?» «Да-а» неопределенно протянул Ильенков.

Пока Эвальд Васильевич слушал запись, я был предоставлен себе. Его кабинет — великолепное запустение! Тут хорошо ему

работается. Слева от меня, до окна — стена книг. В углу некое подобие кресла. На маленьком — на вид шатком — столике черный куб допотопной пишущей машинки. На другом столике, около кушетки, пузырьки с разноцветными жидкостями — нет, не лекарства, а — как я понял — что-то для склеивания магнитных пленок. Листы с рукописями по стеллажам и на стульях. Повсюду раскрытые книги. На стенах маски языческих богов.

Все вещи жили в согласии друг с другом, со стен и из углов комнаты они смотрели на ее середину, где у огромного рассохшегося ящика — студийного магнитофона, из списанных радиовещанием, возился хозяин квартиры, их господин.

Я подумал: когда Эвальд Ильенков оставляет свою игрушку и возвращается к ундервуду — к своей работе — может ли он, свободная личность, засунуть себя в камеру-одиночку, в тюрьму цензуры?

Да никогда! Иначе Вагнер разорвет ему барабанные перепонки.

Конечно, люди жили. И скрипели пером, как и Ильенков. Заперев дверь на засов.

И прятали в стол.

Как их творчество вытащить на белый свет? И при этом — ни авторов не засветить, ни самим не засветиться?

В поисках ответа на этот вопрос и возник проект «Солярис».

Речь шла о системе циркуляции научных работ поначалу среди узкого круга. Человек двадцать, которые понятия не будут иметь, как организовано дело. Для них, для ученых, мыслителей, публицистов — важно само дело: обмен идеями без цензуры.

Лен Карпинский называл эту задачу — создание «марксистской библиотеки». Пройдет, говорил он, может быть десяток лет, пока по разным направлениям произойдет накопление нового знания, способного вынести на гребне сгусток энергии в виде выводов. Придет пора, наступит наш черед, журналистов. Потребуются публицистические «полуфабрикаты». А из них, когда наступит час всесоюзной дискуссии — сперва общепартийной, а потом общенародной, — мы сделаем отточенные готовые статьи.

По сути речь шла о создании в стране альтернативного идеологического центра. Только такой центр способен был выработать сумму идей, которые когда-нибудь станут нужны грядущим партийным лидерам.

Никто из нас еще не отделял себя от партии — в том смысле, что не представлял себе практическую работу вне ее рядов и все перемены в обществе связывал с ее переустройством. Вот вынесет волной на самый верх какого-нибудь толкового вождя, мы ему

дадим в руки готовые формулы. А пока нужен анализ, изучение — и не в скафандре идеологических догм, не со связанными руками. Нужна открытая полемика.

Лен, например, рвался поспорить с Солженицыным. Не с мракобесных позиций власти, объяснял он, а с подлинно марксистских.

Меня это настораживало. Но я был опьянен махиной нашего замысла и не вникал в конкретику.

Мы прикидывали, кто мог бы войти в круг Соляриса.

Иногда наш замысел представлялся нам в качестве самиздатовского журнала, иногда — как раз вне жестких его рамок, а как разрозненное перетекание рукописей. С той разницей, что передавались бы они не из рук в руки, а выходили бы из наших рук и возвращались бы к нам. Библиотека. Никакого прямого обмена между авторами. Друг друга будут знать не в лицо, а по текстам, по псевдонимам. Будут догадываться, кто стоит за той или иной работой, но безопасностью нельзя пренебрегать.

И только трое будут знать всех. Я их назвал «техниками революции» (слова Леонида Красина). Эти люди обеспечат функционирование Соляриса.

Начитавшись Бредбери, я фантазировал: вот затопим адскую печку Хогбенов — котел свободы!

Я понимал: это уже не игрушки. Это подполье. Я однажды сказал себе — да. И душа взмыла, отстегнув балласт. Не мальчики уже — мне под сорок, Лену под пятьдесят — мы ходили по Москве и радовались, как дети, у которых впереди праздник. Жизнь наполнилась смыслом. Все вокруг стало значительным. Я приходил в редакцию и смотрел на моих товарищей другими глазами: у меня была «тайна». Я встречался с авторами, с учеными — и думал: у кого из них я смогу получить такие рукописи? Для Соляриса!

Надо ли расширять круг «техников»?

Если Лена Карпинского принять за точку отсчета — то я был «номером два», а Игорь — «номером три». Подозреваю, что до меня были какие-то «нулевые», пробные варианты.

Но непосредственное дело начали мы.

Первой ласточкой стала переправленная нам из Праги работа Отто Лациса «Год Великого перелома». Лацис сидел тогда в журнале «Проблемы мира социализма». Я лишь раз видел бегло этого человека в квартире Карпинского.

Лен снабдил рукопись своим редакторским комментарием.

Я где-то раздобыл пачку тонкой папиросной бумаги. Искал надежную машинистку. Поиски затягивались.

Наконец, Лену надоело ждать и он отдал рукопись какой-то своей знакомой.

Перед этим произошел странный случай.

Вдруг меня вызвал Юрий Поройков, главный редактор «Молодого коммуниста», и сказал, что какая-то хренация-ассоциация при Союзе журналистов предлагает послать меня в Прагу.

Я удивился: с какой стати?

Но обрадовался, не чуя подвоха. Подумал: удобный случай, отвезу Отто комментарий Карпинского к его рукописи.

— Что нужно для поездки? — спросил я.

— Вот товарищ из этой ассоциации, — сказал Поройков, — он объяснит.

Оказалось, ничего особенного не нужно. Только паспорт. Господин неопределенного возраста обещал все быстро устроить.

Признаюсь, у меня даже тени сомнения не возникло. Не скажу, знал ли Поройков, с кем имеет дело. Возможно, и не знал. Мы ведь привыкли, что поездка за границу — дело загадочное, связанное с проверками, таинственным «оформлением», смысла которого простому человеку не понять. Если говорят: все сделают, значит, скажи спасибо и жди.

Комедия, разыгранная со мной, планировалась в расчете на то, что я, отправившись в Прагу, захвачу с собою комментарий Карпинского. А они — захватят меня.

А может быть, им нужна была моя фотография?

Я готовился к поездке за рубеж. Паспорт мне давно вернули, но в Прагу не слали. Я не расстраивался, тем более что Карпинский сказал, что показывать комментарий Отто не стоит.

Итак, Лен отдал рукопись Лациса со своими заметками знакомой машинистке. Это произошло дней десять назад. И вот теперь я сижу не в Праге за кружкой пива, а на Лубянке, глотая слюну.

9

За окнами давно почернело. Разговор тек вяло, лениво, в тягость для обоих. Иногда я как бы засыпал. Не слышал, а если слышал — не отвечал, смотрел в стену и молчал.

Следователь, как автомат, спрашивал, призывал. Если он повышал голос, тогда и я взрывался, требовал, чтобы дали позвонить жене. И неожиданно затихал. Съеживался и смотрел в сторону.

Я понимал: ему все ясно. Чего же хочет?

Поощряет меня умереть достойно? Как тот монах-бенедектинец? И в душе скорбит, что вынужден отсекать загнивший член государства?

Убеждает, уговаривает. Хочет, чтобы я сам себе вынес смертный приговор. Где-нибудь у него тут и мешочки с порохом. Ну, выкладывай, я устрою фейерверк!

Нет, монах, не получится! Мы уже читали Исаича. Просто тебе позарез нужно, чтобы я сам все рассказал. А потом ты попросишь изложить письменно и поставить подпись. Потому что у тебя в столе — только доносы стукачей и магнитофонная пленка шосткинского завода. Агентурные данные, а их ни к партийному делу не пришьешь, ни в суд не представишь.

Потому и бубнишь: «Посоветоваться, посоветоваться».

И тут гебист вдруг вскочил, как подкинутый пружиной, и вытаращил глаза, глядя не на меня, а мимо — на дверь.

Руки — по швам!

Я оглянулся.

В дверь входил человек с узким черепом, будто его сплюснули ему вагонными буферами, с бледным и надменным лицом-маской.

Это был генерал-лейтенант КГБ Филипп Денисович Бобков, шеф идеологического управления.

Я, естественно, этого тогда не знал. Сидел и ждал, что будет, не понимая даже, отчего мой Николаич так встрепенулся.

— Ну что? — спросил генерал.

— Да все на отбой. Не желает себе помочь.

— Ну, раз не желает, ему же хуже.

На меня Бобков не глядел. Не удостоил даже поворотом головы в мою сторону. Я был для него — мразь, объект операции. Я тоже молчал.

— Вот говорит: из-за нас в кино опоздал. На «Солярис», — брякнул вдруг мой Ваня.

— Ну, это мы выясним, какой солярис-полярис, — сердито произнес Филипп Денисович.

Только тут я заметил, что вошел он с папкой для бумаг. Он держал ее в руке и теперь раскрыл, глянул в листок и впервые обратился непосредственно ко мне.

— Что вы из себя строите? — стал срамить меня генерал. — Молчите, запираетесь! Ахинею несете. Дрожите тут, отпираетесь. Не стыдно, а? Где же ваши принципы? Вот у Карпинского они есть — да! Его можно уважать — он последователен. С ним можно спорить: прав, не прав. Но это личность! С ним есть, о чем поговорить. Он логичен в своем поведнении. У него есть позиция. А вы? Ну, молчите, молчите.

— Жаловаться на нас собирается, — вставил следователь.

Он совсем посерел и обмяк рядом с генералом. Стоял все так же, руки по швам. А Бобков вальяжно разгуливал по кабинету. Генерал был в штатском, в костюме коричневых тонов. Не закаменелая его фигура изгибалась свободно. И папочка переходила из одной руки в другую, на секунду распахивая черные створки с белыми листочками. Я видел — там их не один.

— Ну что же, — сказал задумчиво генерал. — Мы тоже не собираемся скрывать. Секретов нет. Так что за Солярис вы придумали вместе с Леном Вячеславовичем?

Я молчал, не понимая — почему молчу.

Молчание затягивалось. Оно было красноречивым. Во-первых, оно свидетельствовало, что я не зря тут сижу. Во-вторых, оно убеждало генерала, говорило ему, что он прав: перед ним ничтожество, беспринципное и трусливое. Не может умереть красиво.

И генерал помог мне скончаться.

Узкое лицо его приблизилось. Я почувствовал боль. Не понимая, откуда она исходит и что ее вызывает. Боль врывалась извне и разрывала кровеносные сосуды.

Генерал стал читать то, что было в белых листках, спрятанных в его папке.

Про наш Солярис. Про нас троих — «техников революции». Про наш гениальный и — как нам казалось, непотопляемый, как авианосец, — замысел.

— Вот это — позиция! — веско произнес Бобков. — Карпинского можно уважать! А вас?

Я по-прежнему продолжал молчать. Да и что мог ответить покойник?

— Не верите, что это написано самим Карпинским? — не унимался генерал. — Пожалуйста, посмотрите!

Листки поплыли у меня перед глазами. Я увидел плотный, убористый почерк. Как говорится, знакомый до слез.

— Хотите почитать?

Я кивнул.

— Ну-у, — протянул Бобков. — Мне надо спросить разрешение у Лена Вячеславовича.

Он спрятал листки в папку.

— Что теперь скажете?

— Не знаю, — ответил я. — Почерк, действительно, его. Давайте сюда Карпинского.

Генерал вышел, а меня отвели в уже знакомую мне комнату напротив. Еще полтора часа ожидания.

Я был раздавлен. Листочки, без сомнения, принадлежали Карпинскому. И мое молчание, моя растерянность — лучшее доказательство того, что Солярис существует. Это мой минус, думал я.

А где плюс?

Все-таки не произнес никаких «слов» — лишь позволил сделать «выводы». Да выводы у них и без меня заготовлены.

Я сидел и размышлял, как оправдать мой срыв, если опять начнут допрашивать. Смешно сказать, я всерьез ломал голову над этой проблемой.

И так и не нашел, что ответить, если спросят, в чем причина моей растерянности — когда меня опять провели в кабинет следователя.

Но передо мной был уже другой человек — тот же, но другой. Он совершенно потерял ко мне интерес и вызвал лишь для того, чтобы сообщить, что я свободен.

— Можете отправляться домой. Секрета из того, что вы были у нас, не делайте. Сообщите на работе. Мы тоже, со своей стороны, проинформируем.

Я вышел из подъезда. Ночь. Посмотрел на часы — пять минут двенадцатого. Полсуток в КГБ. И похрустел по снегу, унося ноги, держась подальше от стены здания, к перекрестку, где напротив светился дежурный гастроном. Когда я жил на Сретенке, мы его называли «сороковой». На стене его по праздникам висел Иосиф Виссарионович в полный рост. Под сапогами проходили внутрь. Гастроном был хороший, и мы, жившие неподалеку, иногда им пользовались.

Только теперь я вполне почувствовал, как устал от навязанного мне общения. Мысль цеплялась за любую возможность не думать о том, что только что со мною произошло. Я постоял несколько минут на полупустынной площади Воровского с памятником в углублении между домов. Отсюда по направлению к бульварам уходила улица Дзержинского. А за бульварами, между ними и Садовым кольцом, страна моего детства, перерезанная поперек Сретенкой.

Когда-то давным-давно в подмосковной деревне, куда в годы войны мать отдала меня на лето в крестьянскую семью, хозяин дома дядя Вася спросил меня: «А скажи, Вовка, какая в Москве улица без ворот?» Так не бывает, горячился я. Хоть одни ворота в доме должны быть. Нет, настаивал бывший ломовой извозчик, ни единых ворот на всей улице. Он доедал ложкой хлеб, накрошенный в блюдце с водкой, мотнул головой, когда я

вспомнил про Сретенские ворота. Захмелевший хозяин называл меня «дармоедом». Считал, что я сижу у него на шее. Я знал, что мать каждый раз привозит с собою две сумки с продуктами и дала сотню на мое крещение в церкви в Бронницах, но старик не унимался, пока не появлялась его жена тетя Наташа и не начинала лупить его чем попало. Она жалела меня и просила у меня прощения.

Загадка мучила меня все лето. Я готов был на любые унижения, лишь бы старый алкоголик сжалился и открыл мне ответ. Мысленно я пробегал по окрестностям Сретенки, по всем ее многочисленным переулкам, добегал по Домниковке до Казанского вокзала, потом по Садовой — до Самотеки, куда ходил в баню. Оттуда по бульвару мимо цирка на Трубную площадь. Так я добирался до других бань, до Сандунов. Сюда я попал только однажды, когда из Якутии приехал мой таинственный и распутный, по утверждению матери, дядя, ее родной брат. Приехал с карманами, полными денег, и конечно, пошел развлекаться в баню, взяв меня в качестве проводника. Я ходил с ним по Москве с сумкой «авоськой» за спиной и собирал остававшиеся после него пустые бутылки. Через три дня фантастического угара дядя исчез так же неожиданно, как и появился.

Улицы без ворот нигде не было.

Наконец, однажды, пожевав хлеб деснами без зубов, смакуя свою тюрю, старик сжалился и открыл мне секрет.

— Ня умный ты, Вовка! Ня умный. Улица без ворот — это твоя Сретенка!

И действительно, возвратившись в Москву осенью, я проверил: нет ворот. Заезд во двор к любому магазину — со стороны переулков, которых на Сретенке предостаточно.

Я постоял еще минуту. Улыбнулся и пошел в другую сторону, удаляясь от ареала моего детства.

Дома Тамара ждала от меня объяснений.

Я бросился к телефону, обронив на ходу: «Потом, потом».

— Как фильм? — машинально спросил, покручивая диск.

В двух словах я рассказал жене, где провел день, и в ответ услышал, что мое место в кинозале не пустовало. Сразу сел какой-то мужик.

— Алло! Лен! Э-э-э Ты бы не хотел погулять? — выпалил я, дозвонившись до своего друга. — Я был в одном месте, есть о чем рассказать. Я подъеду?

— Да я знаю, — протянул Лен. — Я был рядом, в соседней комнате.

— Что?

— А-а, — вздохнул Карпинский. — Они все знают.

— Подожди, Лен, подожди! — Я пытался удержать его, чувствуя, что он сейчас начнет рассказывать мне по телефону о своем собственном дне в КГБ. — Давай я сейчас приеду. Ну я пошел. Бегу!

Открыла Люся, ласковая, как всегда. Одной рукой она оттягивала подросшую красивую черно-белую шотландскую овчарку, другой показала на кухню.

Лен сидел ссутулившись за маленьким пластиковым столом, завершая ужин. Я машинально взял кусок хлеба. С утра во рту не было ни крошки, да и дома, торопясь, толком не поел. И не хотелось.

— Они всё знают, — сказал Карпинский. — Всё!

— Когда тебя забрали?

— Утром.

— А меня днем. Около двенадцати.

— Я знаю. Мы сидели рядом, в разных комнатах. А в третьей — Клямкин.

— Ничего себе!

Я не знал, как начать разговор о главном.

— Послушай, Лен, — произнес я нерешительно. — Там какой-то мужик, такой тощий, показывал мне…

— Генерал Бобков, начальник идеологического управления. Я его знаю.

— И твой почерк, Лен? Он мне пару фраз зачитал!

— Да бесполезно, понимаешь, бесполезно! Им все известно. У них рукопись Отто. Давай завтра, а? Завтра поговорим.

Я вышел на ночное Садовое кольцо. Спешить было некуда. Брел, ошарашенный, по пустынным улицам.

В горле комом вопрос, который я так и не задал Карпинскому. Как же так, Лен?

Лен Карпинский все поведал знакомому генералу. Можно сказать, по-свойски. По старой цековской службе-дружбе — с тех времен, когда был секретарем ЦК комсомола и контачил с ровесником-чекистом, — как кунак кунаку, взял да и рассказал. Расслабился. Может, и пепел во время беседы стряхивали в одну общую пепельницу. И сидел, наверно, вольготно откинувшись на спинку стула, как равный. Обсуждал пути реформирования власти. Полемизировал. Ведь генерал, наверняка, не соглашался: «Лен! Зачем же так? Мы тоже видим, не хуже вас. Но вы торопите события». А он наслаждался партнерством. И незаметно для самого себя, выложил ему все — от «а» до «я». А потом генерал, вспомнив про мундир, не меняя тона, сказал: «Ленчик! Напиши. Сам знаешь, надо для порядка». И Лен написал. И подписал. И

генерал пошел вправлять мозги нам с Игорем.

Так в мгновение ока рухнул мой кумир.

А что же Клямкин? Как он?

Я ни на миг не сомневался: Игорь не произнес ни слова.

Но откуда такая уверенность? Ведь вот он, наш лидер, человек, на которого я молился, дружбой с которым дорожил, не выдержал, изложил им весь расклад, подарил им нашу идею — да если бы он не проявил инициативы, сами они, растопырив все свои электронные уши, не смогли бы понять наш замысел с такой ясностью. А теперь?

Игорь был моей последней надеждой. Мне все еще нужна была вера в друга. Без нее трудно жить. Остаться одному, без опоры, с одной лишь опорой на Бога? Я до той черты тогда еще не отступил. Вернее, еще к ней не приблизился.

Глубокой ночью я собрал второпях все, что попало под руку, все, за чем они могли придти утром — а что они придут, я не сомневался, — отправился в овраг у киевской железной дороги под видом прогулки с собакой и сжег рукописи и книги. Не догоревшие остатки вдавил валенком в снег.

Тамара дожигала мелочь на кухне у мусоропровода.

К счастью, я не был по-немецки педантичен и кое-что оставил. А они не пришли.

Утром мы гуляли с Игорем по Новослободской в окружении небольшой группы наших друзей. Рассказывали. Нас слушали молча. Иногда задавали вопросы. Кое-кто знал об идее Соляриса, для иных она открылась впервые.

Игорь вел себя примерно так же, как я. У него тоже был свой «Иваныч-Николаич». Не мой ли забавлялся с ним, пока я отдыхал? Игоря тоже призывали признаться, и он выдавливал из себя: «Был грех, читал Бердяева». Ему предлагали: «Может, пленочку хотите послушать?» — но не крутили ее. Потом он так же, как и я, сидел со своим охранником, но, в отличие от меня, перекусил. Раза два его спрашивали: «А что Глотов — нервный человек?» Это когда я устраивал истерики. Но в общем разговор у Игоря проходил мирно и к полуночи он был у себя в Расторгуеве.

Для нас начались трудные денечки. Сплошная лихорадка воспаленных разговоров. Кто? Кто нас заложил? Не было сомнения, что наш провал, результат доноса. Неприятное состояние: все время вглядываться в лица приятелей, перебирать одного за другим, словно собирая рассыпавшиеся по полу рисовые зернышки.

Вон у Чернова подходящая физиономия! Может быть, он?

На душе было гадко.

Мы, конечно, болтали. И я, и Карпинский. Излишне болтали.

Но как иначе? Само наше дело предполагало распространение информации. Мы пытались ее дозировать: для тех, кто на дальней орбите, для тех, кто на средней, на ближней. Тут легко было ошибиться в расчете.

В редакции мы рассказали начальству о наших приключениях.

Поройков был потрясен. Его рука, покрытая аллергическими пятнами, пылая костром, исписывала листок за листком. Мы с Игорем докладывали, а он зачем-то записывал.

Поройков провел переговоры с ЦК комсомола — что с нами делать? Оказывается, Тяжельников ездил в КГБ и вернулся подавленный: в главном теоретическом журнале комсомола — заговор! Приказ был категоричен, как всякий приказ: убрать из редакции!

Поэтому Матвеев, главный комсомольский идеолог в ту пору, сидел на телефоне и звонил Поройкову через каждые два часа, справлялся: «Ушли?»

Сложность заключалась в том, что формально уволить нас было нельзя. Никаких открытых претензий нам выражено не было.

Тогда собрали партийное бюро. Долго и нудно объясняли нам, что мы скомпрометировали редакцию. И должны сами уйти. Принести эту жертву на алтарь общего дела, если нам дорог журнал. Бюро вел его секретарь Виктор Скорупа. Все по очереди твердили одно и то же. Умно кивали головами. Юрий Заречкин, верный поройковский оруженосец, выдавливал из нас слезу по убиенному нами журналу.

Опять звонил Матвеев: «Ну что?» Поройков отвечал: «Пока ничего».

Весь день продолжался этот массаж. Было очевидно: все кончено. «Подполье» наше разгромлено и журнал мы тоже теряем. Даже если нас не уволят — работать не дадут, задушат цензурой. Какой смысл тогда здесь оставаться? Поройков никогда и ни в чем уже не будет доверять. И уж очень они противно метут хвостами — невыносимо видеть.

Я посмотрел на озабоченные лица бывших коллег-журналистов и так блевотно на душе стало при виде этой компании, что я, даже не посоветовавшись с Игорем Клямкиным, сказал: «Ладно. Я ухожу».

Игорь тоже не стал задерживаться. И конвейер покатился. За Игорем написал заявление об уходе Георгий Целмс. Наш «подпольщик» — из внешне отошедших. Один из тех, пробных, «нулевых» вариантов. Именно ему, между прочим, принадлежала идея создать серию «кто есть кто». Собирать досье на подручных

Кормчего, вроде академика Минца. Румяное личико патриарха советской официальной философии иногда еще можно было встретить на научных конференциях. Если бы наш замысел реализовался, то наши листовки оказались бы на каком-нибудь научном собрании, разложенные по рядам. И в листовке коротко — одни факты — сколько по его доносам получили высшую меру, в каких процессах он участвовал, кого из вождей обслуживал «философским обоснованием». И вот он идет между рядами кресел, жалкий старичок, а все уже листовку прочитали и смотрят на него. Доводить их, мерзавцев, до инфарктов — говорили мы, определяя смысл такого морального терроризма. И кое-что из заготовок у нас уже стояло на старте. Хотя единства позиций — заниматься таким делом или нет — у нас не было.

Целмс демонстративно бросил Поройкову заявление. В знак протеста против нашего вынужденного ухода.

Но удивил не он — удивила наша секс бомба Тоня Григо. Двинув бедрами и гордо подняв седую голову, она вплыла в кабинет, где заседало партбюро, и выплыла свободным человеком.

«Я с вами, мальчики, — сказала она. — Но прошу не путать. Вы по политической части, а я — по уголовной».

Мы сбились в кружок, засовещались. Надо было прекратить этот исход. Мы вас очень просим, ребята, не надо — сказали мы, — глупо отдавать им всё. Надо перетерпеть трудные времена. Не век им гужеваться.

Мы попрощались. Остались Чернов, Сваровский (мой школьный товарищ), Лев Тимофеев и Юра Амбернади.

Какое-то время они держались вместе, а потом и их разбросало. Амбернади вспомнил прежнюю профессию и уплыл капитаном на Север, чтобы грустить в свободные от вахты часы.

Тимофеев попытался было вступить «в ряды», его приняли кандидатом в члены партии, но одумался — да так одумался, что оказался в Пермском лагере особого режима. Чернов, неунывающая птаха, то исчезал, то опять возникал на горизонте, успел нарожать детей, завести новых кошек и собак породистых кровей, в духе популярной у генералов войны — «афганцев». Николай был ближе других. Благодаря ему я еще какое-то время знал, что происходит в потерянном нами журнале: тина обволокла все.

Судьба самого Поройкова сложилась на удивление причудливо. Хотя — в служебном смысле — вполне тривиально; Его забрали в ЦК партии, потом он оказался в роли заместителя главного редактора «Литгазеты», привел за собой, конечно, Заречкина. Теперь он доканчивает службу Отечеству в

информационном агентстве — бывшем ТАССе. Необычно другое! На каком-то этапе этого пути наш осторожный Юра вдруг отпустил усы, съездил в банановую республику, совсем расслабился, обзавелся молодой женой и первой поэтической книжкой. Он с молодости грешил стишками, а тут его так забрало, что он даже вступил в СП и на его слова одно время распевали шлягер. На служебной даче в Переделкино у него резвился огромный черный терьер. Словом, человек изменился, бывает же такое. Стал вполне светским. Я говорю это без иронии.

Я не знаю даже, что для меня более важно — вот эти его внешние перемены, или мужественный поступок, который он совершил, когда вдруг со Старой площади запросили на меня характеристику. Поройков не унизился до «чего изволите», хотя понимал, что от него ждут. Он написал то, что соответствовало его отношению ко мне.

Четыре месяца мы болтались с Игорем без дела. Комсомол от нас отвернулся. «Комитетчики» больше не беспокоили. Вея пишущая Москва знала нашу историю. Мы заходили в Дом журналистов в надежде кого-нибудь встретить, получить приглашение на работу, но от нас отворачивались. Или, любопытства ради, спрашивали: правда ли, что брали отпечатки пальцев? Я смотрю, как порой отчаянно сражаются сегодня журналисты с мафиозной властью и добывают свои репортажи с гражданских войн, и мне делается стыдно: как же трусливы были мы, их коллеги, в середине семидесятых.

В газетах во всю клеймили Солженицына. Повсюду чудились диссиденты, заговоры. Только что была разоблачена группа Якира, чуть ли не двести человек, продиктованных им. Чем больше, тем лучше, считал он, всех не посадят. Нам такая позиция представлялась странной. Мы с Игорем придерживались иной точки зрения.

В этой нервной, неспокойной обстановке пополз слух, что нас заложил Александр Янов. По пути туда он в Вене назвал в интервью двадцать человек, отвечая на вопрос о том, с кем ему было хорошо на Родине. И среди прочих — нас.

Мы с грустью думали: неужели Саша?

Янов уезжал странно. Намекал, что его выталкивает КГБ, что ему грозят расправой. Волновался: приживется ли в западном мире? Считал, что абсолютно не способен к иностранному языку. Отчаявшись, полагался на свою предприимчивую Лиду.

Прощаясь, мы условились с ним о способе, как он подаст мне весть о себе. Наивные люди, мы громоздили сложности там, где их не было.

Прошло несколько лет, и мы, никому не нужные, проживали

в Союзе в соответствие с рекомендацией одного цековского либерала: «Пусть помучаются!» — а Саша Янов завоевывал американский рынок. И по информации, доходившей до нас, преуспевал в Беркли, «красном» университете.

Существовало ли то его интервью «на полустанке», на пересылке в австрийской столице, где переводились стрелки с Израиля на США, не знаю. Ребята из чешской газеты «Млада Фронта» говорили нам: «Читали». Знакомые поляки подтверждали: видели. Но мы не исключали и «утку», запущенную КГБ.

Еще долго оставался осадок от тех месяцев взаимного недоверия.

Добавило беспокойства услышанное по «голосу» интервью, которое дал Александр Исаевич Солженицын. Оно начиналось словами: «Я — не эмигрант». Исаич разбирал нынешнюю волну, сравнивал с прежними, выделил «политику» и «одессу», никого не назвал по имени и вдруг сказал: «Вот Янов, в прошлом коммунистический журналист, приехавший как политический эмигрант. И что же видим? Поперек „Нью-Йорк таймс“ заголовок его статьи: „Брежнев — миротворец! Держитесь Брежнева!“»

Когда мы это услышали, мы упали духом. Все ясно! Саша Янов — провокатор. Подонок. Агент. Заброшен туда как диссидент.

По пути завалил нас. Теперь поносит Солженицына, на критике его зарабатывает себе имя.

Отрыжка прежних страстей была так сильна, что долго мешала мне оценивать реальный мир.

Спустя пятнадцать лет после своего скоропостижного отъезда Александр Янов пришел ко мне в московскую квартиру, по-американски здоровенький. Поужинали. Пока Лида угощала доверчивую Тамару заморскими баснями, Саша рассказал мне о себе. Никакого интервью он никому не давал. И заголовка такого поперек «Нью-Йорк таймс», сказал он, не было. Он чист перед нами.

Закончив на этом тему прошлого, Янов стал учить нас, как нам жить. Прочитал лекцию от лица известного американского профессора. Правда, когда я, в конце восьмидесятых, оказавшись за океаном, пытался найти Янова и расспрашивал о нем в Колумбийском университете, никто о нем не слышал. Пожимали плечами: «Может, на том берегу?» — имея в виду университет в Нью-Джерси. А наши эмигранты из русского центра на Пятой авеню при упоминании его имени морщились: у них были свои с ним счеты.

Когда я слушал Сашу, меня забавляло, как он, то и дело

вставляя английские слова, спрашивал меня: «Как это по-русски?» — и нетерпеливо пощелкивал пальцами.

Я смотрел на своего приятеля и еле сдерживал себя, чтобы не сказать: кончай пылить! Но Янов не понимал моего выразительного взгляда и продолжал токовать, как влюбленный глухарь.

Я не понимал, почему он так не любит Исаича? Солженицын был моим барометром, много раз проверенным и действовавшим безотказно. Вот и Лен Карпинский жаждал его разоблачать.

Я ничего не сказал моему старому товарищу.

Через несколько месяцев — зачастил американский профессор — он вновь прилетел в Москву. Я пошел на встречу с ним в Дом кино. Янов вышел к трибуне и сказал: «Начнем нашу лекцию». И стал зачитывать по тексту, который держал в руке. Он зачитывал его повсюду в Москве. Он делал отчаянные попытки интегрироваться в современную нашу политическую жизнь, исчерпав, видимо, возможности для себя американской.

Лекция была невыносимо отвлеченна и скучна. Вопросов с мест почти не задавали. А от тех, что прозвучали, Янов агрессивно отбивался. И со странной последовательностью настаивал: нам надо держаться Горбачева!

Еще Янов советовал продать японцам Курильские острова и накрыть себя товарным щитом. Поискать по собственным закромам. Вот, сказал он, от Ярославля до Москвы протянут медный кабель оборонного значения и огромного сечения. Выкопать и продать — вот и валюта! Что-то еще в этом духе планировал Саша, и был смешон, когда касался практических дел. Он выигрывал, когда теоретизировал. О новой ли «правой» и ее истоках в российской истории, о доморощенных ли социал-демократах и их худосочности. Пережимал, педалировал, был некорректен — и повсюду видел зловещую тень Солженицына. С настойчивостью он искал в Москве людей среди депутатов и коммерсантов, которые бы заинтересовались его идеями, нервничал, ругал нашу неделовитость — а от него отмахивались. Он предлагал образовать из бывших «звезд», вроде Маргарет Тэтчер (Саша произносил: «Татчер») и Генри Киссинджера, международный комитет экспертов, который бы советовал нашему бестолковому правительству, куда грести, но идея не встречала практического интереса.

В тот раз в Доме кино зал вежливо поблагодарил: все-таки профессор из-за океана. Подарили цветы. Настырные пенсионеры удовлетворяли любопытство, окружив его у сцены.

Больше я Александра Янова не видел — разве что только по телевидению, иногда. Не знаю, удалось ли ему убедить нас

загнать оборонный кабель, на который ушло, если верить Янову, рассчитавшему его сечение, вся добытая за годы советской власти медь.

И все-таки, наблюдая со стороны за Яновым, я не верил, что этот человек вот так, запросто, взял да и заложил нас пятнадцать лет назад.

11

Кому же мы перебежали дорогу?

Вряд ли когда-нибудь я получу ответ на этот вопрос.

А вот существовал ли для меня — там, в комитете госбезопасности — другой вариант поведения?

Допустим, перестал бы я изображать непорочную деву — что тогда?

Наверное, на душе стало бы легче. И жизнь могла сложиться иначе. Не исключаю, сидел бы сейчас не в российской глубинке, отстукивая эту печальную повесть, а тарабанил бы, подобно Янову, на инглише статьи про мою заокеанскую родину, давал бы оттуда советы, как себя вести. Да еще рекомендовал бы: держитесь Ельцина!

Однако тогда неизбежно возникло бы одно «но».

Встать в позу откровенной конфронтации с гебистами и после этого не перейти к откровенности с ними — не многим удавалось. Согласись я, что они верно меня вычислили, я обрекал себя на допрос по всем правилам. В нем своя логика. Кто знает, долго бы я выдержал в условиях открытого противостояния, смог бы молчать, не называть имен, отрицать очевидные факты?

Признание собственной порочности (по их меркам) потянуло бы признание порочности других людей. Тут не может быть иного: подписываешь приговор не только себе.

До позднего вечера, пока я сидел в КГБ, я не знал, что Карпинский и Клямкин где-то рядом и что один из них давно им все расписал, и они играют со мной по его нотам. Лен отодвинул задвижку и «оперы» полезли в нее, как мыши. Нехитрое дело растащить информацию из уставшей, воспаленной головы измученного человека. Кто звонил, с кем встречался, по поводу чего?

Не знаю, что страшнее этого. Теперь, спустя годы, не возвышая себя и не принижая, я просто думаю: хорошо, что я не вступил с ними в контакт, как ни склонял меня к этому срамивший меня генерал Бобков.

Это сложная и болезненная тема — как люди создавали себе

ореол диссидента и зарабатывали политический капитал. Александр Солженицын, основывая свои сенсационные разоблачительные работы на документах и свидетельствах очевидцев, никого не принес в жертву. Потому он и великий человек. Действительно ли на совести Якира двести душ, не знаю. Может меньше. Но я точно знаю, сколько заплачено за миф о Карпинском как о диссиденте и оппозиционере. И сколько стоит журналистская премия его имени, учрежденная «демократической» Россией. Цена тому — как минимум, две наши с Игорем души.

Теперь стало модным подчеркивать свою непричастность к КПСС. Чуть что, сообщают: «Я никогда не был в партии!» Как будто мало было подонков вне ее!

Тогда, когда одни люди пытались противостоять системе, оставаясь внутри нее (мы, например, руководствовались наивной формулой Григория Водолазова: «Мы Маркса им не отдадим!»), другие люди находили в себе силы для открытого диссидентства. Но именно последнее преподносится как единственно достойное поведение в те годы и, что и вовсе наивно, как самое эффективное средство разрушения режима.

Было по-всякому.

Среди «антисоветчиков» (по формулировке КГБ) были люди и случайные, мешавшие политику, Бог знает с чем. Неряшливо жили, лениво и непрофессионально работали. Эпатировали публику и не забывали о своем «гешефте».

А среди тех, кто пытался противостоять власти, оставаясь «в структуре», находилось немало достойных людей. Они присутствовали повсюду — в школе, в вузе, в КБ, в инженерной среде, в рабочей. На крохотном пространстве вокруг них люди переставали ощущать себя холопами. И не впускали в себя ложь. Наиболее независимые могли двигаться не в фарватере «генерального курса», и тем, кто оказывался рядом, становилось чуть-чуть свободнее дышать.

Например, Афанасий Лунев, учитель, живший в ста километрах от Харькова в селе Пархомовка. Самостоятельный, незашоренный человек, казалось бы, никакого отношения не имеющий к политике, но его жгуче ненавидело местное начальство, особенно партийное. Ему мешали, травили его, распускали о нем сплетни. А чем он так насолил? Страстный собиратель картин, икон, всякой художественной старины, он в одиночку создал настоящую картинную галерею — я у него видел там и Пикассо, и Сарьяна, и Айвазовского, и русских забытых гениев, и советского Корина, и массу занятных вещей, которые могли бы украсить музей и в столице, а не в селе, где

предпочтение отдавали приготовлению самогона, — он собирал по вечерам школьников своего класса (а преподавал он вообще-то историю) и, показывая на экране цветные слайды с картин великих мастеров мира, комментировал их — его рассказы-миниатюры, если бы их записать и собрать, сами бы составили чудесную книгу. У Лунева не было телевизора, он его специально не заводил. И был счастлив. И я был счастлив. Ночь за окном, а мы все не могли с ним наговориться.

Был ли Лунев диссидентом? Да нет, конечно, в узком смысле слова. Хотя мыслил и поступал он совершенно иначе, чем люди окрест.

Эта книга — не о диссидентах. Мы не были ими. В нас жило столько предрассудков, что можно удивляться, как умудрялись сохранять человеческий облик.

Вот и опять наступило время неясности. Мы ушли из журнала. Нас подвесили между небом и землей. Положение было глупым: мы искали работу, но не могли объяснить, почему ушли из редакции. Сказать: нас продержали полсуток в КГБ и мы ушли из журнала, чтобы не компрометировать его, так в ответ услышишь: «А у нас что — проходной двор?»

Любому кадровику понятно, что дело темное, и нас выгнали «по собственному желанию» из-за какой-то смутной истории. К тому же мы понимали, что просто так от нас не отвяжутся, и мы пока для КГБ и партийных органов — «полуфабрикат».

Такое положение угнетало.

Решили: надо встретиться и обсудить, как быть дальше.

Карпинский по-прежнему работал в издательстве «Прогресс», заведовал редакцией марксистско-ленинской литературы. Договорились собраться у него.

Редакция помещалась в подвале старого строения за церковью в начале Комсомольского проспекта (странно теперь звучит) — в двух шагах от станции метро «Парк культуры». У метро и назначили встречу. Там должны меня ждать Клямкин и Целмс, такие же безработные.

Я опаздывал и, когда бежал по эскалатору, заметил молодого человека в приталенном пальто с вздернутыми плечиками-фонариками и выправкой военного человека. Не было сомнения — этот парень спешит за мной. Я бегу — и он бегом, я притормозил — и он шагом. Что-то мной овладело сродни спорту, я стал от него прятаться, пытаться отвязаться, но конечно, мне это не удалось. Так и вышел к ребятам — с «хвостом» за спиной. Жестикулируя, показал им: вот, мол, привел еще одного — но у него есть работа.

— Да брось ты, Вова! — сказал Целмс. — Мы что? Агенты

ЦРУ?

Мы купили газеты, Игорь молчал, а я все оглядывался — идет или отстал?

Нашли строение. Постояли у подъезда, Жора с Игорем покурили. Спустились в подвал к Карпинскому.

— Ну что? — спросил Лен.

Я рассказал о моих приключениях в метро.

— Внешнее наблюдение, — разъяснил Карпинский. — У них работа такая. Мы с Лисом пили пиво до трех часов, а он на улице. Я хотел пригласить погреться.

Я слушал Лена и видел через подвальное окно две пары топчущихся мужских ног. И две пары женских. Я забрался на подоконник, чтобы разобрать, кто такие. Ба! Знакомые лица. Мой «солдатик» со своей подружкой, которую я еще в метро приметил, и новая пара: он в дубленке, мордастый, она круглоголовая, с татарским лицом. Топчутся, не замечая меня.

— Сядь! — скомандовал Лен.

В его голосе я ощутил нотку недовольства. С чего бы вдруг — видит же, шучу.

— Филипп Денисович просил с тобой поговорить. Так нельзя! Нельзя сравнивать их с их предшественниками.

Я остолбенел.

Целмс и Клямкин вежливо молчали.

Авторитет Карпинского среди нас был так велик, что ни они, ни я не нашлись, что ответить.

На душе было гадко. Я видел: моему кумиру я в тягость.

Когда уходили, в полутемном коридоре подвала перепутали двери и вышли во двор.

— Ну и хорошо, — сказал я. — Пусть нас там подождут. Клямкин вполне серьезно предложил:

— Может, вернемся? А то подумают, что скрываемся.

— Да бросьте вы! — вспылил Жора. — Пошли!

Мы шли переулком, поглядывая, следят ли за нами. Я предложил сесть в такси, но денег ни у кого не было. У Клямкина — рубль.

Ладно, решили мы, вернемся к метро. И конечно, встретили того, в дубленке. Мы приехали в редакцию, и Поройков сообщил, что состоялось решение секретариата ЦК комсомола и наши просьбы удовлетворены. То есть мы «попросили» нас уволить — и секретариат великодушно согласился.

— Если у вас есть желание встретиться с секретарем ЦК Матвеевым, — сказал Поройков, — он может с вами переговорить.

Тон Юры показывал, что речь идет об обычном знаке

вежливости, который не следует воспринимать буквально. Но мы вдруг ухватились за эту щепку. Что тут началось! С Поройковым чуть дурно не стало.

— Вы понимаете, что делаете? — застонал он. — Соберется секретариат. И вас уволят уже не по «собственному желанию».

Он уговаривал, грозил, но мы уперлись. Хотим встретиться — и все. Есть что сказать друг другу. Юрий Дмитриевич метался в бессилии нам помешать. И накричать нельзя — не станем слушать. Самая неприятная для него ситуация.

Поройков вызвал на помощь секретаря партбюро Виктора Скорупу, Заречкина, Апресяна, своего заместителя. (Когда журнал «Столица» опубликовал часть моих воспоминаний, мне позвонил Юрий Заречкин и стал обиженно выговаривать, что секретарем партбюро был не он, как я написал. Действительно, я запамятовал. И теперь эту ошибку исправляю. Секретарем был Скорупа, во всем остальном, кроме партийных дел, добрый малый, а Заречкин вертелся больше при Поройкове, был его глазами и ушами, главным проводником его линии на партбюро, крутил его колесо и потому его роль, в силу добровольности взятой на себя задачи, еще пакостнее).

Строгим тоном, как о чем-то трагическом, Поройков сообщил: упрямые люди собираются идти к Матвееву, сказать ему, что на них тут оказано давление, что их вынудили написать заявления.

Покричали на нас. Вспомнили о «предателе Янове» — как мы с ним общались. У рядовых членов партбюро, да и у Поройкова, не было информации ни о Карпинском, ни о Солярисе. Их страх был абстрактен — ах, вызывали в КГБ, ах, мы выходим из-под контроля!

Мы не стали слушать их причитания и настаивали на встрече с Матвеевым.

Наконец, Поройков сообщил нам, что в 15 ноль-ноль секретарь ЦК ждет нас.

И вот мы сидим в здании ЦК комсомола, в конце коридора, в ожидании приема.

Подошел Поройков — на лице мука — сообщил, что аудиенция несколько задерживается. Предложил пообедать тут же, на улице Чернышевского, в столовой ЦК.

Неплохой все-таки он парень, подумал я, наш Юрий Дмитриевич. Влез в ярмо, а теперь не распряжется.

Пошли обедать. По мере того, как приближались к столовой, Поройков все заметнее нервничал.

— Может сюда зайдем, — предложил он, проходя мимо кафе.

— И народу не много.

— Да нет, — сказал Клямкин. — Чего уж там! Пойдем в вашу. Юрий Дмитриевич пробормотал:

— Встретите кого-нибудь могут задать вопросы.

— Да ладно.

— Ну как хотите, — сказал Поройков и покорно направился к цековской столовой. — Это со мной! — кивнул он охраннику в дверях. И как бы оправдываясь, добавил: — Они к товарищу Матвееву надо пообедать.

Нас пропустили. Юрий Дмитриевич секунду поколебался — идти ли с нами в общий зал — и прошел в комнату для начальства.

В эту минуту в дверь с улицы ввалился наш топтун в дубленке. Не скрываясь, показал швейцару удостоверение.

Ели мы без аппетита. Вышли на улицу, подождали Юру.

От встречи с Матвеевым осталось ощущение пустоты. Секретарь ЦК бессмысленно смотрел белесыми глазами мимо нас. Рядом сидел Поройков, ерзал на стуле, нервничал. Повторял: «Никакого давления оказано не было. Я приведу пять членов партбюро, они подтвердят». И шептал мне: «Эмоции, эмоции» — чтобы я не проявлял свои чувства.

Затея придти сюда — к секретарю ЦК — и «качать права» была, конечно, бессмысленна. Мы спрашивали, почему нас затащили в КГБ. А Матвеев нам отвечал: «Вам виднее». Мы указывали на Поройкова и просили объяснить, почему так поспешили выкинуть нас из редакции, а секретарь ЦК цинично говорил: «Вы сами написали заявления об уходе».

Мы инстинктивно цеплялись за старое, еще ощущая себя придворными журналистами, и хотели, чтобы с нами поступали, как с равными. Но поезд ушел. И эта реальность — что ты не в нем — была новой и пугала.

В те дни мы звонили куда-то еще. Я разговаривал с неким Бекениным, влиятельным тогда работником ЦК партии. Примерно те же вопросы: «А что бы вы хотели?» Работать! «Поищите сами, а я переговорю с ЦК комсомола. Нет-нет, мне не звоните, вас поставят в известность».

Игорь высказал мысль, что они тянут, потому что до сих пор не получили информации из КГБ и не знают, как с нами поступать.

На дворе март. Нагоняет тоску потемневший грязный снег. На душе такая же серость и сырость. Тамара каждый день встречает вопросом: «Сколько же ждать?»

Ее понять можно: дома нет ни копейки. Она ушла с работы ради воспитания Антона, жили на мою зарплату. Теперь оба — безработные.

Тамара — это особая страница в моей жизни. Да что там страница! Это сама моя жизнь. Я не знаю, как бы она сложилась, если бы я не встретил ее. Хотя встреча не предвещала ничего хорошего: под елочкой в фойе гостиницы «Советская», в перерыве новогоднего концерта, где на сцене острил Брунов, остановились две женщины, две снегурочки, о возрасте которых можно сказать одним словом: «За тридцать». Я появился перед ними случайно: в первые дни нового года дежурил в редакции по номеру, освободился часов в одиннадцать вечера. Что делать? Сын дома, конечно, уже спит, его уложила соседка бабушка Зина. У заснеженного перекрестка на стене я увидел афишу — праздничный концерт. Совсем рядом, два шага! И я свернул к гостинице, навстречу своей судьбе.

Судьба однако раздвоилась. Я сделал шаг под заигравшую музыку, еще не решив, какую из «снегурочек» приглашу потанцевать — ту, которая покрупнее и, на вид, подоступнее (а когда устаешь, не хочется лишних хлопот), — или ту, которая поменьше ростом, поизящнее, но взгляд независимый (придется донжуанствовать дня три, не меньше, а времени свободного мало) Так я плыл по залу по пути к ним, не зная, какую из них выберу. И только когда сделал последний шаг, повернулся к той, что слева. Тридцать третий год мы вместе. А я все такой же влюбленный. И три дня моего донжуанства по отношению к ней не кончаются — я все еще продолжаю за ней ухаживать, словно не уверен, что вполне добился успеха. Хотя по прошествии стольких лет мне кажется, что мои друзья были всю жизнь, изначально, и ее друзьями, а моего сына таскать в походы должна была именно она. А когда появился Антон, братья воспринимали друг друга как братья, благодаря ее усилиям, а точнее — в силу природы ее личности. За день до своей гибели Володя принес и подарил ей книгу, которую ей очень хотелось иметь. Сказал: «Это вам, тетя Тома. Помните, вы просили меня достать ее. Дейл Карнеги». Мне же, если и было по силам перенести выпавшие на долю тяжелые утраты, то не потому, что я крепок от природы, а потому, что было на кого опереться.

Вспомнил! Именно Бекенин сказал о нас Карпинскому: «Пусть помучаются!»

Круг знакомых сужался. Однажды мы сидели в редакции журнала «Клуб и художественная самодеятельность». Им руководил Вадим Чурбанов, с которым мы некоторое время работали еще в «Молодом коммунисте».

Вадим сообщил неприятную вещь. Интервью Янова имело место. И на всякий случай разрядил в его адрес обойму: «Сволочь! Провокатор!»

Игорь Клямкин положил на стол Вадиму свою трудовую книжку — Чурбанов берет его на работу. Что будет делать Игорь в таком журнале, где на дверях надпись: «Инструментально-хореографический отдел»?

Дожили!

Листаю журнал. На обложке зубы аккордеона. Внутри — пестрота. Один из нас нашел норку, куда себя пристроить.

Нам помогали, кто чем мог. Демограф Переведенцев позвонил, сообщил: в «Сельской нови» есть местечко, и он готов похлопотать.

Я о таких журналах прежде не слышал. И воспринимал такую заботу все еще отчужденно. Жил в ожидании, что завтра произойдет чудо и все вернется на круги своя.

Друзья нас жалели. Володя Чернов поглаживал по плечу, виновато заглядывал в глаза. Амбернади каждый день куда-то звонил и потом нам сообщал: там-то мест нет, а там-то есть, но Лев Тимофеев горячился, просил держать его в курсе наших дел. Николай Сваровский выглядел сычом, взрывался на декларации Тимофеева и надолго замолкал. Только иногда повторял горестно: «Как же так? Двое товарищей ушли, а все как ни в чем не бывало?»

Не двое, если быть точным — четверо. Тоню Григо было особенно жаль — ей, женщине, устроиться на работу труднее. Один Жора Целмс не унывал!

Удивительно! Он ушел из редакции из чувства солидарности с нами, его зарплату получает теперь Заречкин, у него в Москве десять квадратных метров, больной ребенок и теща — партийный работник. А в Риге мать после двух инфарктов. А он — нас успокаивает.

Я стал замечать в себе поселившуюся в глубине души недоверчивость. Вдруг обратил внимание: Игорь-то собрался работать у Чурбанова, а мне об этом ничего не сказал. Я стал случайным свидетелем, как он положил на стол свою трудовую книжку. Меня это неприятно кольнуло. Теперь зачем-то убеждает меня: «Не надо фронды. Никаких жестов». Ему хочется сохранить аспирантуру, я его понимаю: пережить тяжелое время, извлечь капитал из случившегося. Зачастил к Григорию Водолазову, видной шишке в Высшей партийной школе.

Мне было неприятно от этих новых чувств, охвативших меня.

Мне казалось подозрительным все — и манера Игоря выслушивать человека, не перебивая, и привычка отмалчиваться, когда мы все вокруг кипели, и даже шуточка: «Главное — не писать в компот!»

На ум приходили чудовищные мысли. Да что же это он все

взвешивает, словно аптекарь, будто некий надзиратель пасет его, редко ответит прямо. А вдруг — именно он всему виной? Может быть такое?

Я приходил в себя, стряхивая этот бред.

Я пишу об этом для того, чтобы читатель мог представить состояние человека в нашем положении. Вполне допускаю, что подобные мысли навещали и Игоря.

Много лет спустя, уже в годы горбачевских перемен, я встретил на приеме в американском посольстве — кого бы вы думали? Матвеева, бывшего секретаря ЦК комсомола по идеологии.

Случайно столкнулся с ним лоб в лоб, беря фужер с подноса проходившего мимо официанта. Матвеев тоже протянул руку. Мы взглянули друг на друга, узнали. На меня смотрели все те же белесые глаза, но в них играл новый блеск. Бывшие комсомольские работники активно проявляли себя в коммерческих структурах. Матвеев, как ни в чем не бывало, улыбнулся мне, мы даже кивнули друг другу и выпили, он со своей спутницей, я — со своей. Я тогда работал в «Огоньке» и мне, с моей колокольни, легко было ему все простить. Мне казалось — наша взяла и я был великодушен. Перестройка, реформы, демократизация, разоблачения сталинщины, «Мемориал», Сахаров, со дня на день ожидаемое возвращение Солженицына, схватки с «Памятью», «хлопоковое дело», раскручиваемое следователями Гдляном и Ивановым — вот был круг моих интересов. Я порхал, как бабочка-поденка, не ведая, что все мы, недобитые романтики, обречены, и скоро опять придет его время, Матвеева. Так оно и произошло. Генерал КГБ Филипп Денисович Бобков, которому бы следовало покаяться, стал видной фигурой в банковской группе «Мост». В газетном киоске я заметил книжку — автор Филипп Бобков. Надо бы купить — вдруг и правда: покаяние? Или откровения, как они там, в его конторе, героически боролись изнутри с режимом Брежнева? Allperhaps, как говорят англичане. Всё может быть.

12

Той весной мы оказались в холодном, продуваемом ветрами Ленинграде. Слоняясь без дела, я набрел на редакцию, которая, не разобравшись, согласилась послать меня в командировку. Игорь тоже отправился в том же направлении. Мы рады были, что несколько дней проведем вместе с ленинградскими друзьями.

Жили на далеком Приморском бульваре, добираясь до него

бесконечными трамвайными петлями, в дешевой гостинице, нам по карману.

Конечно, мы навестили старую большевичку Зинаиду Николаевну Немцову. Выложили ей почти все, что с нами произошло.

Старая зековка честила Карпинского на чем свет стоит.

— Сволочь! — кричала она. — Подонок! Как вы могли с таким человеком связаться?

Но главным нашим собеседником был Александр Тихонов.

Здесь я должен задержаться на миг, чтобы хотя бы два слова сказать об этом замечательном человеке, ставшим на долгие годы моим другом.

Мы сблизились с ним еще в то время, когда я делал первые шаги в «Комсомолке». Тихонов тогда работал в ленинградском обкоме комсомола. Но это был не простой комсомольский функционер. Используя, как теперь бы сказали, «крышу», Тихонов создал некий «Институт молодого марксиста» и в нем готовил — вполне легально — антибюрократическую команду будущих лидеров, старательно подбирая молодых, активных, склонных к теоретической научной деятельности людей.

Как всегда на Руси, нас губит нетерпение. Мы не используем билет, который нам выпадает — торопимся обогнать время и, в конечном итоге, ставим под удар дело. Так произошло с нами, нечто подобное случилось и с Тихоновым. Двое из его подопечных решили, что уже достаточно нагрузились теоретически и пора испытать себя на практике. Один из них по фамилии Ильин — на вид плотный, лобастый, грузный не по годам, отличался фундаментальностью подхода, вгрызался в Маркса особо старательно и отличался несокрушимостью в споре. Другой — легкий, ироничный, артистично парировал доводы друга, был остроумен и носил фамилию Хайтин. Эти двое работали в ленинградском НИИ, в сверхсекретном «ящике», где все, что касается марксизма, было кондово и железобетонно. Но так казалось на поверхности. На самом деле в среде научной молодежи, в лабораториях института шла своя не видимая кадровикам жизнь. В итоге, Ильин и Хайтин и еще несколько их единомышленников с помощью обычных выборов пришли к власти в первичной организации и стали воплощать на практике свое понимание марксизма, как они освоили его в кружке у Тихонова.

Первым делом они принялись выпускать свою стенную газету, назвав ее двусмысленно «Разбег». Писали о гнусных порядках в институте и КБ, сыпали цитатами из ранних работ Ленина. Первые недели местное комсомольское, да и партийное,

начальство было парализовано наглостью ребят. Публика же была в восторге: читали, обсуждали на всех этажах. Когда состояние шока прошло, ленинградский обком комсомола жестоко расправился с активистами из НИИ. Ильина и Хайтина вышибли из комсомола, заодно еще кое-кого, чтобы не было повадно. И, конечно, выгнали с работы. Словом, растерли в порошок. На помощь им и послала меня Инга Преловская — для этого ей хватило интеллигентной души и либеральных взглядов, но этого не достаточно, чтобы отстоять статью, когда я привез ее из Ленинграда. Мы не смогли защитить ребят.

В тот свой приезд я познакомился с Александром Тихоновым и «бабой Зиной», вдохновительницей и опорой ленинградской идейной оппозиции.

Не заставила себя ждать расправа и над Тихоновым. Приговор был жесток: вон из партии! И Саша уехал из колыбели революции, где наводили стерильную чистоту правившие бал комсомольские секретари Николаев и Тупикин.

Несколько лет я получал письма из Татарии, из Альметьевска. Нет худа без добра: Тихонов защитил кандидатскую, а потом и докторскую. Мы друзья уже много лет. Сколько воды с тех пор утекло, сколько переговорено разговоров долгими прогулками в Москве и Ленинграде. Биография нашей дружбы — это история кухонных посиделок. Понятно, когда возник замысел Соляриса, моим заветным помыслом было втянуть Тихонова в круг нашего общения, а через него и кое-кого из ленинградцев. Каково же было мое удивление, когда я получил отказ — Тихонов не захотел встречаться с Карпинским. Не зря говорят: за битого двух небитых дают.

Тихонов выслушал наш рассказ, вздохнул горестно. Мы размышляли над вечным русским вопросом: что делать? Не что делать нам конкретно — мне и Игорю, а что делать теперь в журналистике — ее ли время?

Тихонов сказал:

— Журналистика выпадает сегодня из сферы социально активного действия.

Я вспомнил, как поехал по письму в командировку в деревню Волчье под Ельцом. Там директриса сельской школенки, безжалостная садистка, форменным образом издевалась над школьниками — их заставляли работать на учительских огородах, воровали у них продукты, отпускаемое им из совхоза молоко, а главное — учили кое-как и морально развращали. Нашелся-таки учитель — один в поле воин, который поднялся против порядков, но его оболгали, спровоцировали на драку, да и сдали в милицию. Но не тут-то было! Двое ребятишек, мальчик и девочка,

сочинили письмо в Москву — его-то я и получил. Весьма распространенная ситуация, когда в редакционной почте обнаруживается вот такой крик души. Если что и было доброго в старой «Комсомольской правде», так вот это неписанное правило — защищать «маленького человека», кто бы он ни был, взрослый, ребенок. «На том стоим!» — любил повторять один из тех, у кого мы учились, Виталий Ганюшкин. Этот принцип я усвоил, и среди многоумных теоретических изысканий в рамках программы, которую мы реализовывали в «Молодом коммунисте», я иногда запускал в печать конкретный журналистский материал-расследование, когда звучал сигнал SOS и находился охотник броситься на помощь. Иногда такую роль приходилось выполнять самому, как в случае со школьниками из деревни Волчье. Мы тогда добились — директрису сняли с работы, она от позора куда-то скрылась. Я переходил из кабинетов начальства, где вел битвы с дамочками из отдела народного образования, соревнуясь с ними в демагогии, — в избы, где жили дети со своими родителями, и видел, как сверкают надеждой глазенки ребят и какой благодарностью светятся глаза взрослых — к ним никогда еще не приезжал «корреспондент», как они выражались, из самой Москвы. Волчье под Ельцом оказалось чудовищной глушью.

Я сказал Тихонову, что какая-то польза *от нас,* журналистов, еще наверное есть. Работать в обычной прессе, но честно.

— Честную журналистику вы и завалили, — вздохнул Тихонов.

— Тут ты прав. Был островок, мы его угробили.

Мне было жаль журнала. Но я понимал: все равно мы действовали в рамках цековского официоза, и читал нас узкий круг — ужайший! А сколько чепухи можно было найти под одной с нами обложкой!

Мы поменялись с Тихоновым ролями. Теперь я сомневался в пользе — была ли она от нас, а он меня успокаивал.

— Это было начало, — сказал он.

— Помнишь статью «Отречение от иллюзий», которую написал Игорь? Ее еще надо было найти в мусоре, поставляемом Скорупой, Заречкиным, Чурбановым. Да и как ни хороша статья, а ведь чисто пропагандистская работа, так ведь?

— Принижаешь значение, принижаешь, — защищал меня Тихонов от меня же самого. — Задним числом принижаешь! То, что вы делали, имело колоссальное значение. В относительно спокойной обстановке — когда люди не выходят на баррикады — такое поддержание тонуса очень важно. Сотни читателей появились бы у вас, а может быть, тысячи. И если бы за такую деятельность разгромили вас, тогда не обидно. Разгромили бы за

дело. Появилось бы новое течение в комсомоле — «младокоммунисты». А то?..

— Ты хочешь сказать, милый мой Саша, что мы с Карпинским в принципе не тем делом занялись, да? Надо было продолжать выпускать легальный журнал?

— Ладно об этом, — попробовал отмахнуться Тихонов. — Как ты сам-то дилемму решил?

— Чем буду заниматься?

— Ну да. Я помню, как воодушевил тебя журнал. Вселил надежду.

— Да, надежду терять обидно. Но понимаешь ли, Саша? Несколько страниц честного текста под общей обложкой официоза — это, конечно, хорошее дело, и мне ли не жалеть о потере. Но я встретил людей, готовых заняться более масштабной работой. Кто я был? Кустарь-одиночка. Игорь — тоже кустарь. И несколько авторов, которых мы привлекли. Всё. А там, мне казалось, такая силища! Теоретики! Просто мы лопухнулись — в смысле организации дела. Но замысел разве плох? И как смотрится рядом с ним наш жалкий подцензурный «Молодой коммунист»?

— Вы не чувствовали реальной опасности.

— Тревога-то была. Просто кадры — то есть мы — никуда не годились.

— Я сомневаюсь, что такая деятельность вообще возможна сегодня.

— Нужно попробовать.

— Вот вы и попробовали.

— Ты хорошо сказал: «Вы». — В моей реплике прозвучал упрек.

— Я сразу понял, что это не то.

— А кто мешал тебе включиться в дело, чтобы стало «то»? Вот и присоединился бы. Такой умный и осторожный!

— Вы не хотели кооперироваться.

— Лично я хотел, но был в меньшинстве. Мне доказывали: «Мальчишество!» Объясняли: «Теоретически ошибочно». Чуть ли не безнравственно… Я выглядел опереточным карбонарием среди сибаритов, привыкших к хорошей еде и дорогому табаку. Никому из них не хотелось расставаться с благами, рисковать, выбирать «или-или». Потому их поведение было насквозь двойственным. Все их желание пожить «без презерватива» было привлекательно для них лишь до тех пор, пока не замаячила суровая физиономия генерала. Ты этого испугался?

— Вы сделали замах, но неудачно. Это хуже, лучше бы не делали вовсе. Такие неудачные замахи тормозят развитие

общественного движения. Если акция не продумана — это хуже, чем если бы ее вовсе не было. Поэтому я и считаю: лучше бы занимались журналом.

Я вздохнул. Что ответить на это?

— Мне жаль, конечно, что я так бессмысленно угробил свою журналистскую судьбу. Единственное, что утешает — я, как мне кажется, предвидел, чем все кончится.

— Зачем же тянул меня в это дело?

— Думал, включишься, переустроишь.

— Мне с самого начала не понравилось пренебрежение к опасности. Я прошел все это и знаю, во что потом оборачивается пустяк, какой-нибудь разговор, если его фиксируют. А вы? В общем, Володя, эта деятельность отпета!

Я промолчал. Правда глаза колет.

Тихонов решил меня успокоить. Сказал:

— Вообще говоря, то, что произошло с вами, это мелочь. Сколько таких историй было в девятнадцатом веке, в двадцатом. Ординарный случай. Вы — осколки.

— От этого не легче. Что же теперь делать?

— Создавать «маленькие КБ»?

— Что-что?

— Два-три человека, лучше три. И чтобы обязательно серьезные люди.

— Да что сделаешь втроем?

— Происходит окапывание издалека.

— А мне что делать в этих ваших КБ?

— Ты образно мыслишь, хорошо излагаешь, тебя нельзя подключать к чужому замыслу. Попробуй реализоваться на своей ниве. Опиши людей, не замороченных режимом. Тех, кто жаждет что-то изменить. Как складывается их жизнь? Как происходит нравственный надлом? Как начинается падение? Как они меняются? Опиши эти социальные потери, которые несет общество.

— Ты действительно хочешь, чтобы я об этом написал?

— Да. Напиши, как здоровых умом людей сворачивают в бараний рог. Либо их отправляют по этапу, либо они становятся навозом.

— А вместе, значит, у нас ничего не получится?

— Появится книга, покажешь мне, — уклончиво ответил Тихонов.

— Та-к, — протянул я. — Значит, по норам!

Я еще попробовал поагитировать Сашу — не начать ли какое-нибудь новое общее дело? Нет, уволь, ответил он, ни в какие организации он вступать не собирался. И просил передать

Клямкину, который не присутствовал при нашем разговоре, чтобы тот всерьез занялся историей социалистической мысли, ибо происходит ее крушение.

— Солженицын идет по пути отталкивания, — наставлял меня Тихонов, — он отвергает все. С водой выплескивает ребенка.

Я ужаснулся: опять! Сколько же можно терять друзей? Как только кто-нибудь из них начинал при мне критиковать моего кумира, через какое-то время наши пути-дорожки расходились. Я попытался прервать разговор, мне не хотелось, чтобы и нашу дружбу с Сашей постигла та же участь.

— Да Солженицын, — воскликнул я, — просто говорит: дайте мне социализм, который был бы примером! Такого нет в природе.

Но я только подлил масла в огонь.

— Там, где он правдив, как художник, — перебил меня Тихонов, — у меня вопросов нет. А вот его политические взгляды, когда он начинает защищать монархическое христианское государство либо буржуазную демократию и говорит: откажитесь от марксизма, потому что он себя не оправдал, — такой Солженицын меня не устраивает, мне с таким идеологом не по пути.

Помнит ли мой друг эту нашу беседу? Если помнит, то поймет: из песни слова не выкинешь — и не обидится на меня. Я говорю это в расчете на то, что взгляды Тихонова под влиянием исторических перемен в Отечестве претерпели некоторые изменения. А если нет? Если по-прежнему — социалистический выбор и «нет» буржуазной демократии, если все еще не по пути с Солженицыным, тогда тем более какие же обиды. Каждый при своем интересе.

Давно мы не виделись. Встретиться бы, сверить часы.

Вспомнить, как гуляли по Ленинграду. В душе я соглашался с моим другом: деятельность не должна быть эфемерной, хватит забивать себя призрачными вещами. Изменилась обстановка, говорил Тихонов, надо искать другие формы работы. Они найдутся. Это быстро проявится.

Когда расставались, я, сам с собою рассуждая, произнес:

— Надо проанализировать то, что с нами произошло. Проанализировать с пером в руке.

Тихонов посмотрел на меня в упор и, акцентируя каждое слово, четко произнес:

— Этого делать нельзя!

— Почему? — не понял я.

— Потому что это означает дать им в руки материал. Самому написать донос на себя!

— Все в такой ситуации в некотором смысле писали донос на

себя, — сказал я, пытаясь отстоять свое авторское право.

— Потом! — сказал Тихонов. — Через десять лет.

— Да-да. Не сейчас! — воскликнул я, соглашаясь со своим другом и ужасаясь сроку, отведенному Тихоновым до начала перемен.

Меня тронула до глубины души забота Тихонова обо мне и об Игоре.

— Я тебя умоляю, — настаивал Саша. — Слишком актуально. Все, что с тобою произошло, должно быть на годы отрезано. Ты меня понял?

Я понял, что впереди у нас полный туман. Через пару дней мы навестили Немцову и разговор привел к той же теме перемен.

— А я верю в повороты! — произнесла Немцова, вглядываясь из-под нависших бровей в какую-то одной ею различимую даль. — Скоро ли, не скоро, но они придут.

— Вы, Зинаида Николаевна, неизлечимый оптимист. Нашему поколению такое не дано.

— Причем, поворот будет к чему-то такому, что уже было. Опять будут колошматить, как колошматили при Сталине. Но это ничего не даст! — Немцова вздохнула. — Дело не в том, что я оптимист. Просто я верю в закономерности. И экономику по настоящему рассматриваю. Экономика заставит.

— Они там, наверху, люди терпеливые. Еще потерпят.

— Они-то потерпят, да экономика не потерпит. Все захлебывается. Все! Я предугадываю изменения. Причем, ведущей силой станет рабочий класс.

— Что?!

Я искренне удивился. Какой рабочий класс? Эта спившаяся инертная масса?

— Ты плохо Маркса читал, — урезонила меня Зинаида Николаевна. — А мы учились у германской социал-демократии. Многие загнивают на вопросе о роли рабочего класса. Увы, классовый подход сегодня совершенно снят с повестки дня. Нет, я не стою на сталинской позиции, что классовая борьба возрастает по мере побед нашего социализма, но что Сталин сейчас бы сделал, а я бы не возражала, так это, исходя из своей теории, он бы сходу начал убивать тех, кто плохо изучил классиков марксизма.

— Ну все, Зинаида Николаевна. Тогда мне конец!

Немцова засмеялась и пошла готовить чай.

Будучи весьма преклонного возраста — за семьдесят — она жила одна, сама ходила в магазин, и когда мы появлялись в Ленинграде и забегали к ней, не забывала нас накормить.

Двадцать лет прошло с тех пор. Немцова прожила больше

девяноста лет. Теперь она покоится на кладбище, и Саша Тихонов показал мне ее могилу. Постояли, погрустили. Сам Александр Васильевич рывками делал карьеру, пробуя то науку, то коммерцию. Прежняя его семья распалась — эту плату чаще всего приходится отдавать за бурные социальные эксперименты молодости. Тихонов создал какую-то страховую компанию и занял в этой нише не последнее место. Я не очень вникал. Это — другая жизнь и другая тема. Главное — он по-прежнему мне близок и дай Бог, чтобы мое дружеское чувство к нему не осталось на закате наших дней не разделенным.

13

Главной загадкой для меня оставался Лен Карпинский.

Десятки раз я перебирал в уме подробности наших с ним встреч, пытаясь в прошлом найти ответ на мучивший меня вопрос.

Лен жил у Люси на Садовом кольце около Зубовской площади в огромном белом панельном доме. Так случилось, что я побывал в двух жилищах Лена — в его последнем и в первом, в Доме на набережной.

Царство Люси, бледной, изящной блондинки, было под стать ей — уютное гнездышко, где кроме двух ее дочерей-подростков обитал ее третий ребенок — беспомощный Лен: непрактичный человек, больной, говорун и фантазер. Каково же было ей, хозяйке, когда ее квартирка стала еще и нашей «конспиративной хатой»? Здесь плелись кружева прожектов будущего устройства России.

Не знаю, состоял ли Лен с Люсей в законном браке, или жили и жили, в тепле и уюте. Какое это имеет значение? У меня в памяти Люся сохранилась человеком светлым и добрым.

При всей близости, какая возможна между соратниками, взявшимися за рискованное предприятие, я не могу сказать, что в бытовом плане мы были с Леном так же откровенны, как в сфере общественной и политической. В одном наши грани соприкасались. Другое — личное, интимное — почти не упоминалось. Есть глаза — заметишь, но никаких комментариев.

Однажды Карпинский взял меня с собою, решив навестить старую отцовскую квартиру в Доме на набережной. Ему потребовалась какая-то книга, и мы поехали. Мрачное здание, которое я наблюдал всегда со стороны, ошеломило меня своими бетонными стенами, когда мы оказались внутри, на лестничных переходах, а потом в коридоре гигантской квартиры с

лабиринтом комнат, светлых и темных. Мы пробыли в квартире недолго, но я рад был выбраться на свежий воздух, и современная жизнь показалась мне не такой уж безнадежной по сравнению с той, память о которой хранили угрюмые стены.

Тогда, в то посещение родительского дома, впервые возникло имя первой жены Карпинского — Регины, матери его взрослого сына. Что связывало Лена с Региной и что развело их врозь, не знаю. Скажу только, что меня не раз предупреждали: «Опасайтесь Регины!» Говорили, что она способна уничтожить. Но я не придавал значения оброненным словам.

Не сразу, не один год созревал замысел Соляриса.

Случайно в моих бумагах сохранилась пометка: 4 октября семьдесят первого года я приехал к Лену. Моросил дождь, было зябко. Выпавший утром мокрый снег лежал местами на асфальте, холодя все вокруг.

Карпинский открыл дверь, увидел меня, мокрого, вздохнул:

— Когда все это кончится?

Он посетовал на погоду, а прозвучало: когда эта жизнь наша, издерганная, прекратится?

И налил мне кофе.

Когда, действительно, наступят перемены?

Еще свежи воспоминания о Чехословакии. Газеты бились в истерике, клеймили Солженицына, мировой империализм, разоблачали шпионов и предателей-диссидентов.

В этот день, 4 октября, я узнал: умер журналист Овчаренко. И, грешным делом, подумал: уйди он раньше, до Праги, не написал бы о ней своих статей, пришлось бы искать другого. И память о нем осталась бы чуть чище.

Мы сидели с Леном, как всегда, на кухне, я слушал его, а он развивал идеи, которые потом лягут в фундамент нашего общего дела.

— Большевизм питался аскетизмом, — размышлял Карпинский. — Он и был аскетизмом, монашеским орденом, сыгравшим на нужде. Потом они надели кожаные куртки и никак не могли понять, что же это масса все ест да пьет, да обогащается, гонится за удовольствиями. Стали набрасывать узду. На этой почве вскормил себя Сталин.

Я слушал и думал: а мы кто? Опять орден? И вновь самопожертвование ради того, чтобы устроить им светлый хлев?

В те годы Лен размышлял над проблемами, которые потом изложены были в его записке «Слово — тоже дело». Она выстраивалась в виде отдельных фрагментов, которые он проговаривал в кухонных посиделках. В исполнении Лена это было завораживающее зрелище. Лен сидел за столом в старой

ковбойке, усыпанной хлебными крошками, с нечесаной головой и недопитой рюмкой водки.

— Сталинизм тридцатых-сороковых годов, — изрекал он, — был делом мерзавцев, опиравшимся на слепой энтузиазм народного большинства и беззаветную поддержку лучших, честных, веривших элементов из молодой поросли кадров. Сталинизм нынешний — по-прежнему дело мерзавцев, но оступившееся в бездонную яму народного равнодушия или недоверия и теряющее опору в лучшей, честной, верящей кадровой молодежи. Это, конечно, не означает, что сталинистские настроения вовсе чужды народному сознанию. Часть рабочих еще мыслит вспять, еще мечтает об абсолютном, непререкаемом, обоготворенном хозяине как о всесильном защитнике от низовых притеснителей, как об управе на местных супостатов-расхитителей. Сталинизм вообще есть (в известной мере) мечта работника-нехозяина свести счеты со своим повседневным унижением при помощи некоей высшей и жестокой справедливости. Бессилие ищет верховную силу отмщения. Но такой «сталинизм» есть критика бюрократии, форма ненависти к бюрократии. В истории нередки случаи, когда прогрессивное общественное настроение зарождается в одеждах реакционных утопий. Подобно грязному животному, пожирающему собственные экскременты, сталинизм ныне питается за счет своих же выделений, продуктами собственных отходов: массы спасаются от его коренных уродств и главных следствий в воспоминаниях о его мифологизированном юношеском буме.

Я слушал Лена, внимал идеям, облеченным в яркую публицистическую форму, и соглашался с ним. Все, что он говорил, было мною проверено — и в Сибири, и в поездках по стране. Как угольки под кожей у шахтера, так и сталинизм стал чем-то своим, родным и близким — куда же от него деться?

Когда Лен говорил о бюрократии, о многоликом «аппарате», ставшем монопольным собственником средств управления людьми и вещественными процессами, а значит, и средств производства, он подчеркивал: суть не в том, что номенклатура управляет, а в том, что она присваивает командные функции в качестве частной привилегии и поэтому не может управлять хорошо. Размышляя, Карпинский приходил к выводу, что внутрииерархические отношения в корпорации ставят ее членов в двойственное положение: с одной стороны — соучастников монополистической фаланги, а значит — собственников, а с другой — тружеников управления и скрытых коллективистов.

— Борьба этих двух тенденций, — говорил Лен, — с неизбежным до сих пор перевесом собственника над тружеником,

субстанции бюрократии над личными достоинствами того или иного человека, прослеживается на протяжении полувека и составляет решающий подтекст нашей политической истории.

Лен полагал, что труженик будет отделен от собственника и, осознав, что на отдельном «клочке» ему не выбиться, склонится к социалистическому, антибюрократическому кооперированию управления, иными словами — к демократизации.

Куда бывшая партийная номенклатура повернула, стало ясно лишь после 1991-го. Она выбрала путь собственника в его диком, пещерном проявлении, а тогда, двадцать лет назад, все представлялось не так мрачно.

— Новое время просачивается в аппарат, — фантазировал Лен, — и формирует в нем слой партийной интеллигенции.

Карпинский тут же оговаривался: слой этот тонок и разрознен, постоянно вымывается подкупом и кадровым отбором, густо проложен карьеристами, льстецами, дураками, самодурами, развратниками, болтунами, иезуитами, мещанами, трусами и другими творениями бюрократической селекции. Однако, считал он, слой этот может пойти на союз со всей общественной интеллигенцией, если к тому сложатся благоприятные условия.

Это нас вдохновляло. Значит, все-таки надо идти с ними на контакт, искать точки соприкосновения. И ждать, когда наступит время.

Какова же наша роль? Много раз я слышал вариации на эту тему. Лен говорил красиво!

— Часть нашей научной и идеологической интеллигенции вновь втиснулась под ударами реакции в «детские туфельки» профессиональных радостей и самоцельной аполитичности, что к тому же оказалось обывательски удобным. Однако многие продолжают мучительный поиск, почти не различая впереди никаких просветов. И не в последнюю очередь потому, что мыслят возможности и формы перемен в наезженных категориях, по шаблону, по одним только историческим аналогиям. Но история — большая оригиналка, в том числе и в формах, которые она изобретает для социальных революций. В отличие от известных революционных преобразований в прошлом, предстоящее революционное преобразование нашей страны может стать в решающей мере преобразованием посредством слова. — Лен выделил: «Слова!» И продолжал: — Идея, овладевшая массами, ныне способна проявить себя «материальной силой» в почти что прямом смысле. Условно говоря, если прадеды, рассчитывая изменить образ правления, выводили на площадь мятежные полки, деды и отцы звали на улицы железные батальоны пролетариата, то современный революционер должен будет

вывести в каналы информации отряды точно стреляющих идей. Штурм Зимнего, как метод революционного действия, продолжал, репродуцировал штурм Бастилии. Штурм наших бюрократических твердынь будет радикально иного рода: они станут разваливаться под ударами самой мысли. Мысли, выраженной в слове, но не ставшей ни строем вооруженных солдат, ни мятежной толпой, ни залпом «Авроры».

Представьте: семидесятые годы. Эхо Чехословакии отшумело и все вокруг смолкло и затаилось. О каком штурме бюрократических твердынь посредством слова можно было мечтать? Мы сидели в таком дерьме, что трудно понять, какая сила не давала нам морально умереть. И в эту пору Лен пророчил будущие потрясения. Прошли годы и под ударами демократической прессы зашатался тоталитарный режим, оказавшийся не более, чем чучелом. Я, работавший тогда в «Огоньке», помню, как ежился Виталий Коротич, когда в азарте мы посягали на самого генсека, вдохновителя перестройки. В испуге он умолял: «Не трогайте Горбачева!»

Но до той минуты было далеко.

— Фарс неосталинизма, который мы ныне переживаем, — говорил Лен, — является прямым выражением плохих предчувствий самодуров. Они жаждут былой сталинской крепости режима, но находят для этого слишком хилые основания. Создались реальные предпосылки к тому, чтобы толкнуть режим колебанием слова.

Замысел Карпинского сводился к следующему.

— Слово, как и порох, стреляет только сжатым. — Лен рисовал картину перед взором каждого, кто входил в его квартиру. Я выучил его монологи наизусть задолго до того, как прочитал записку «Слово — тоже дело». — Сжать наши научные воззрения в более или менее лаконичный сборник программных работ, условно «Марксистскую библиотеку», несомненно первейшая задача. «Библиотека», — продолжал разъяснять Лен, — могла бы состоять из трех разделов: первый — программа, второй — двенадцать, пятнадцать теоретических работ, обосновывающих программу в аспекте всех составных частей марксизма, третий — значительное количество пропагандистских «полуфабрикатов», подготовленных для разъяснения программы и широкой идейной борьбы Задача теоретического свойства может оказаться и единственно выполнимой, — предупреждал Карпинский. — Но мало ли это? При условии же развития кризисных явлений программный документ должен быть внесен в руководство партии и в общественное мнение от имени широкого круга авторитетнейших представителей главным образом

научной и партийной интеллигенции как требование общепартийной дискуссии. Необходима предварительная уверенность в наличии влиятельных сил, заинтересованных если не в общем, то по крайней мере в «верхушечном» обсуждении поставленных вопросов. При этом на первых порах не так уж важно, какими мотивами будут руководствоваться эти силы — будут ли они полными идейными сторонниками нашей программы, либо «подберут» ее положения в собственных групповых целях. Представляется реальным некое специфическое подобие «парламентского» пути к демократическому социализму, когда на начальной ступени движения роль парламента сыграет карикатурная, но все же существующая внутрииерархическая трибуна.

И далее Карпинский предполагал три пути, по которым пойдет возможное развитие событий.

Идеальный — это развертывание общепартийной, а затем общенародной дискуссии, устной и печатной. Как раз по тем вопросам, которые сформулировала «Библиотека». Только дискуссия, горячо убеждал нас Лен, сразу и надежно парализует бюрократический абсолютизм и даст несокрушимое преимущество идейным элементам, которым есть что сказать.

Задачи сторонников «Библиотеки», по мысли Лена, состояли бы в непреклонном расширении и углублении дискуссии, если она, конечно, будет допущена, углублении в сторону все более последовательных социалистических выводов (иного Карпинский не допускал даже в тайных замыслах). Содействовать полному разгрому и окончательному захоронению сталинских концепций в общественных науках и массовом сознании. Но при этом — решительно бороться с малейшими антисоциалистическими отклонениями.

Надо признаться, мы, слушатели Карпинского, во всем с ним соглашались. Хотя были и иные точки зрения. Например, суждения Льва Тимофеева, с которым я работал в одной редакции, его мысли насчет крестьянской приусадьбы, ее природы, его первые разработки в направлении «чернота рынка» и общий настрой на американский опыт и перенос его на нашу почву — все это казалось мне утопичным, а вот социалистический выбор Карпинского — привычным, вполне домашним. Вот только освободим социализм от пакостей сталинизма — и все наладится.

Программа нашей деятельности, таким образом, обозначалась вполне отчетливо: консолидация со всеми прогрессивными силами, которые неизбежно оживут в ходе дискуссии в звеньях партии, особенно в органах печати, радио, телевидения. Наконец, в случае наметившегося перевеса

демократических сил — выдвижение требования закрепить наметившийся новый курс организационно-политически на чрезвычайном партийном съезде и в определенных законодательных актах.

Понятно, такая программа партийно-демократического движения должна была рассчитывать на «потребителей». Кто-то из числа партийно-государственных кадров должен был ее «подобрать», использовать, пусть даже и в своих, не вполне адекватных нашим замыслам целях. Как говорил Лен, наше слово может стать их делом. При этом он подчеркивал, что речь идет не о петиции, а о понуждении, не о просительном действии, а о действии революционном. Это, конечно, вдохновляло.

— Такой расчет, — размышлял Лен, — покоится на апелляции к труженику данной системы управления против ее собственника, на перспективе расщепления этих двух фигур бюрократического мира. На гальванизации всего квалифицированного, энергичного, делового — против засилья невежд, проходимцев, бездельников, усевшихся не в свои сани. На замене стимула от привилегий стимулом от творчества с его неизмеримо более широкими возможностями самовыявления. На сохранении оплаты и других форм вознаграждения по командному труду, принятому за самый сложный и квалифицированный. На перспективе более верной и быстрой деловой карьеры в соответствии с фактическим организаторским дарованием. На освобождении из-под зависимости от кадрового произвола и его замене ясной и простой зависимостью от общественного суждения. На перспективе быстрого преодоления общественной ностальгии, подъема во всех областях социалистической жизни и счастья прямого участия в этом историческом взлете. На особенностях «экспроприации» бюрократии, не требующей почти никаких немедленных персональных замещений, а тем более расправ.

Сравнивая этот меморандум с тем, как пошла наша история и что в ней произошло так, как рисовалось Карпинскому, а что буквально наоборот, читатель поймет, кто кого одолел: труженик ли, скрытый под шкурой номенклатуры, или собственник?

Тысячи романтиков включились в исторический процесс на рубеже 87–88 годов и таскали каштаны из костра не для себя. Те же, на кого мы рассчитывали и кого хотели переманить на — свою сторону, ушли в тень, не мешали расправляться со сталинизмом и партией, а когда дело было сделано, они явили миру свой лик — и все отшатнулись в ужасе. Наши расчеты на перерождение номенклатуры по демократическому сценарию не оправдались. Наиболее предприимчивая ее часть, завладев

«законно» гигантскими государственными капиталами, теперь цинично указывает нам место, где надлежит располагаться ее дворне.

Материальные потери каждой семьи, помноженные на всеобщий экономический кризис, кажутся — как ни велики они — преодолимыми по сравнению с разочарованием общенационального масштаба в идеалах демократии. Как будто космическая глыба рухнула на шестую часть планеты.

Печально сознавать, что слушая Карпинского и стремясь поскорее расстаться с настоящим, я наивно думал, что будущее соткется из наших планов и не потащит за собою ничего из реалий бытия. Увы, мы были заражены вирусом большевизма, и все, к чему мы прикасались, осквернялось нашим прежним опытом. Почему?

Потому что нельзя выйти из порочного круга, не покаявшись. Каяться же никто из нас не был приучен.

14

Не все отворачивали от нас глаза. Не прошло и месяца после вынужденного визита в КГБ, меня взяла под крыло Нина Иванова, главный редактор журнала «Изобретатель и рационализатор». Взяла из чистого сострадания и журналистской солидарности, внешне ни словом, ни жестом не проявленной. Я забросил в редакцию трудовую книжку и больше в ней не появлялся. Денег мне, как договорнику, не платили, но временное прикрытие — чтобы не схватили на улице как тунеядца — появилось. Спасибо ей!

Мы гуляли по бульварам моего детства с Анатолием Стреляным. Я рассказывал ему, как все было: про «Иваныча-Николаича», Филиппа Денисовича, Лена Вячеславовича. Стреляный молча слушал, соображал. Он тоже захаживал в квартиру к Лену. Мне же дал пару дельных мужицких советов. И нет-нет, в самые глухие, душеломные годы вдруг звонил: как дела? Привет-привет. Спасибо и ему.

В последние месяцы работы в «Молодом коммунисте» у меня странным образом исчезла записная книжка — внушительный фолиант, накопивший за многие годы адреса и телефоны моих знакомых. Я оказался как бы заново рожденным, одиноким, лишенным контактов. Практически никому не мог позвонить — не помнил номеров. А мой аппарат молчал, и я в обиде думал: так тому и быть. Надо начинать жизнь заново и обрастать новыми знакомыми и друзьями.

Однако не бывает потерь, которые, хотя бы частично, не компенсировались приобретениями. Именно в этот период я познакомился с журналистом из «Литературной газеты» Александром Левиковым и его женой Софьей Книжник, ставшими для меня на долгие годы едва ли не самыми близкими людьми. Я не знаю более искрометно талантливого человека, чем Александр Ильич, отменный публицист, непревзойденный говорун, участник всех редакционных «капустников», розыгрышей, человек сверхъестественной работоспособности и вечной мечты забросить редакционные дела и засесть за свою «нетленку». Но кроме этих не столь часто встречающихся талантов, Левиков — он же Агранович — обладал и вовсе редким качеством: честностью. Он берег не здоровье — честь имени. И когда судьба нас случайно свела — для него не было выбора: иметь со мною дело или не иметь. Он напечатал одну или две мои статьи, чем весьма поддержал меня морально. Но главное — он сделал все, чтобы я не чувствовал себя ущербным, отброшенным на задворки человеком. Конечно, он первым делом затащил меня к себе домой, познакомил со своими друзьями, звонил и звал в редакцию и каждому нарочито демонстрировал свое ко мне расположение. Он упорно восстанавливал, реконструировал мое прежнее состояние души. А его Соня, человек ему под стать, тоже журналист, обладала кроме прочего феноменальной стойкостью и упорством в достижении цели. Она, увлеченная индийской философией и религией, освоила йогу, бормотала мантры, чем смешила меня, но когда мы оказались с нею в одной лодке — в редакции, где нас в очередной раз уничтожали, — именно хрупкая на вид Соня поддерживала во мне боевой дух.

Но до того нас ждала еще аудиенция у Главного Жреца в Политическом Суде партии. Через четыре месяца бесцельных прогулок и бесполезных поисков места под солнцем нас вызвали в КПК — комитет партийного контроля. Там, в старинном здании на пригорке над площадью Ногина, в кабинетах за тяжеловесными дверями заседали жрецы и жрицы разного ранга. В коридорах этого дома проштрафившихся партийных бонз, номенклатурных валютчиков и прочих, кто посмел опозорить честь партии, еще до кабинета Главного Жреца хватал удар. Нам же предстояло дойти до конца. И предстать пред самые его грозные очи.

Шесть раз меня вызывали и допрашивали уже по-партийному, без церемоний. Три часа допроса — три часа собственноручного доноса на себя, чтобы оставались следы. Если что и выпытали, все у них, можно проверить. Но не много преуспели. Мы гнули с Игорем свою линию: знать ничего не знаем. Что было, то было, а

чего не было, того не было. Он читал Бердяева, я провожал Янова — грешны! — но никакого «слова», которое «тоже дело» (автор Карпинский) слыхом не слыхивали. Лен Вячеславович говорит, что давал почитать? Это на совести Лена Вячеславовича.

На допросах мне ставили в пример Клямкина — он спокоен и рассудителен, а я невыносимо амбициозен: комок нервов. Перед очередным заходом я спросил Игоря: ответь-ка, дружочек, чем ты так обворожил наших новых знакомых?

Игорь молча показал извлеченную из кармашка пачку таблеток, которыми его каждый раз снабжала его жена, сильнодействующий транквилизатор.

— Ну-ка дай-ка глотнуть, — попросил я.

Через десять минут коридоры КПК уже не казались мне мрачными, а мужеподобные старухи с жабьими головами и педерастические пухлые мужчины — рядовые воины Ордена Святой Кабалы, — допрашивавшие меня, уже не отталкивали своим видом, когда кричали мне: «Вы не искренни перед партией!»

Мне было «до лампочки». В душе я с ними соглашался — конечно, не искренен, но на словах в какой уж раз объяснялся в любви к партии.

Вечером позвонил Лен Карпинский, попросил заехать. Его, естественно, тоже таскали в КПК И предстояла очная ставка — в главном кабинете, но пока без Верховного Жреца.

Лен волновался.

— Ну, возьми что-нибудь на себя, — попросил он, смущаясь. — Получается, что я оговариваю.

— Нет, Лен. Мы об этом давно уже договорились. Ты нарушил условие.

— Ну, скажи, что Лациса читал. И мою статью.

— Нет. Извини. Никакого коллективного самосожжения. Каждый пылает в одиночку. Помнишь, мы так условились? Твою статью я в глаза не видел. А насчет твоей откровенности написал: «Эти утверждения на совести Лена Вячеславовича».

— Так и написал?

— Так и написал.

Утром в уголочке просторного кабинета, больше напоминающего зал, нас свели, как боксеров-профессионалов, чтобы мы перед боем поплевали друг на друга, повыкрикивали оскорбления. Из публики — малый жрец и средняя жрица, по обе от нас стороны.

Я, успокоенный таблетками Игоря, помотал головой: нет, ничего не читал, никакого Лациса, кроме Вилиса, и то плохо помню. И конечно, никакого «Слова», кроме «О полку Игореве».

Лен Вячеславович что-то путает. Разговоры были на разные темы. Можно повспоминать, если хотите, но никаких запрещенных рукописей.

— Но вот ведь Лен Вячеславович утверждает, что давал.

— Это проблема Лена Вячеславовича!

— Лен Вячеславович, вы подтверждаете, что передавали Владимиру Владимировичу.

— Да, мне кажется, передавал.

— Нет! Лен Вячеславович путает: я брал у него Гэлбрейта, издательство «Мир». И ничего больше!

— Ну, может, видели на столе?

— О, Господи! Да кто же помнит, что лежало полгода назад на столе, тем более, на чужом!

Лену Карпинскому было труднее, чем нам. Шлейф откровенной беседы с генералом тянулся за ним и заставлял принимать правила игры. Политического лидера из него не получалось, как и «суда над судьями». Группа не сколачивалась. Помост, на котором можно было эффектно сгореть, уходил у него из-под ног. Получалось неуклюжее движение: и смешно, и грустно одновременно.

То ли мы своим тупым упорством разрушили замысел жрецов, то ли что-то изменилось в высших сферах, но только ставка на политический процесс, а значит, и непременное предварительное исключение «из рядов» всей нашей команды — отпала. Отрицательных сторон в таком процессе оказалось бы больше. Судить пришлось бы не каких-то отщепенцев, а подручных партии. И в конце многодневного, длившегося месяц, марафона нажим жрецов ослаб. И дело покатилось к странному финалу.

Мы, неискренние перед партией, оказались вдруг ей по-сыновьи дороги. А с искренним блудным сыном надо было как-то поступать. Слишком далеко зашел в откровениях. Уж больно много на себя наговорил. Слово, действительно, тоже «дело», особенно, если оно заведено и подшито.

На нас стали смотреть, как на мелких шельмецов, от которых никуда не денешься, но которые — в силу новой установки не судить обычным судом, а только партийным — оказались со своей изворотливостью даже выгодны. Значит, нету в рядах советской журналистики никакой крамолы, никакого обширного заговора. Подручные, как всегда, на верном пути. А за дружбу с кем попало накажем! Отобьем печенки, будут помнить. Но климат, атмосферу единства и все более грандиозного ликования они нам — то есть мы им — не испортили.

На том и сошлись КГБ и КПК — видно, между ними шла

тяжба. Победили жрецы.

И перед самым финальным свистком, когда этот матч должен был завершиться, мы успокоились. Старая партийная черепаха, со следами базедовой болезни, вываливающимися из орбит глазами, сказала мне в напутствие к завтрашнему дню, к встрече с Главным Жрецом:

— Не волнуйтесь, я думаю, все будет хорошо! — И подобие улыбки коснулось ее морщинистого лица.

Я подумал с благодарностью: Боже мой, старый и больной человек, ей наверное лет сто, а она все на службе. И решил: не исключат!

Но если меня не исключат, то Игоря и подавно.

А для тревоги были основания.

Лена Карпинского исключили из партии.

Его мотало из края в край, как матроса с палубы на палубу, и он то говорил им: «Вас не поддерживает народ!» — и слышал в ответ: «Как не поддерживает? За нас голосует 99,9 процентов!», — то признавал ошибки, просил оставить в партии, писал Главному Жрецу покаянное письмо, напоминая об отце, друге Ленина.

Наконец, наступил час развязки. Надев светлый костюм, Лен пошел на последний бой. Мы ждали его у подъезда на площади Ногина. Он вышел, сказал: «Исключили!» — и мы втроем направились по Китайскому проезду вниз к набережной Москвы-реки. Кажется, был четвертый — Жора Целмс.

Через несколько дней настал наш черед.

Расслабленный партдамой, ее «все будет хорошо», я получил первый вопрос:

— Почему вы встречались с Карпинским, исключенным из партии?

Я сказал, что не знал, что его исключат. Но такая логика здесь не действовала. Я только разозлил своим ответом.

Я смотрел им в глаза и не видел обещанного понимания. Все складывалось совсем не хорошо.

Мне казалось, я произнес самую откровенную в моей жизни речь — и получил оценку: не искренен перед партией!

Я сказал, что ничем — ни словом, ни делом, ни прошлой жизнью на сибирской стройке, ни памятью о большевике-отце, ни журналистской работой не опозорил партию — ту партию, в которую поверил шахтер и бомбардир в феврале семнадцатого, и ту, в которую поверил я после двадцатого съезда. Уловка моя была вызвана сложностью: по иронии судьбы я оказался в одной партии с теми, кто меня судил.

Я так разогрел себя по системе Станиславского, что скупая мужская слеза скатилась по щеке. И я подумал, что не будет

ничего плохого, если я промолчу о Солярисе. Полагая, что греха в том нет. Мы еще не отделяли себя от родной-любимой и не рубили наотмашь. Но позволяли себе слегка поморочить ей голову, чтобы эта слепая машина не срезала нас, как колоски.

Проговорив так минут пятнадцать, я к ужасу своему вдруг осознал: Главный-то Жрец, сухой старичок с пергаментным лицом, меня слушает! Не перебивает! И я замолчал. Сел и даже повеселел. Но тут сердце оборвалось — начали высказываться все семеро членов Комитета партийного контроля. И каждый завершал одним и тем же: «Достоин исключения из партии!»

Старая партийная ищейка! — горестно думал я. Обманула! Я открыл им душу, а они, оказывается, все заблаговременно решили. Слеза, выкатившаяся из глаза, застыла холодной льдинкой. Я озверел. И кто знает, что бы натворил, если бы вдруг меня не подтолкнули и не зашипели в ухо: «Встаньте, в самом деле. К вам обращается член Политбюро!»

Я поднялся, не понимая, что спектакль еще не окончен. И слово за ним — Главным Жрецом Арвидом Яновичем Пельше. Вертя тощей шеей в жестком обруче воротника, он искал меня глазами. И даже обрадовался, когда наконец-то увидел за спинами своих подручных. Нашел и успокоился.

Пельше сказал:

— Да, мы вас накажем. Но, учитывая чистосердечное раскаяние, а также то, что вы еще молод, из хорошей семьи, хорошо работали, мы оставим вас в партии. Но постарайтесь выбирать себе друзей. Ну что вы, право, связались. Какие-то подполья. Что у нас нет газет, журналов для дискуссий? Да пожалуйста, спорьте! Сколько угодно! Но чтобы вы впредь правильно все понимали, мы вас накажем, э-э, товарищ Глотов.

И тут мой новый крестный отец произнес то, чего я — по правде сказать — и не расслышал, а лишь потом узнал. Он сказал, что я не потерян для идеологической работы: могу служить! И я вышел из кабинета не администратором кинотеатра, а по-прежнему журналистом. Мне было позволено им остаться.

В двойных дверях, между которыми образовалась как бы большая, в рост человека, собачья будка, я столкнулся с Игорем Клямкиным — его уже запускали на мое место, чтобы не задерживать Жреца. Я успел шепнуть: «Строгий выговор с занесением».

Игорь пошел спокойно, понимая, что ему отсыпят и того меньше.

Отто Лацису отмерили, как мне. Но как проходил суд над ним, не знаю. Мы так и не сошлись близко. Только однажды встретились много лет спустя на научной конференции — наши

кресла оказались буквально рядом. Я работал тогда в журнале, который называл «Глупой красавицей», завершая десятилетний период, в течение которого я должен был «помучиться», а Отто уже сидел в «Коммунисте» первым замом. Величина! Его марксистский разбор на страницах «Правды» пороков Юрия Афанасьева недвусмысленно дал мне понять, что годы не прошли для него даром и он сделал выводы из нашей детективной истории с неудавшимся Солярисом.

С Карпинским все сложнее. Свой среди чужих и чужой среди своих, он поступал противоречиво и загадочно. Вдруг, уже в разгар перестройки, опубликовал в «Московских новостях» материал, пошлее которого в той ситуации что-либо трудно представить. Свой ответ на письмо эмигрантов, среди которых были Василий Аксенов, Владимир Буковский, Юрий Любимов, Владимир Максимов, Эрнст Неизвестный, Юрий Орлов. И через короткое время последовала реакция властей — Карпинского восстановили в партии. Услуга за услугу. Его опять бросало с борта на борт. Он стал главным редактором «Московских новостей», сменив на этом посту взлетевшего еще выше Егора Яковлева, своего старого знакомца, мучился своим восстановлением и, когда все покатилось под горку, когда сложно было успеть выйти из рядов, он демонстративно из них вышел, правда не сжег партбилета, как Марк Захаров, но все же сделал свой поступок «общественной акцией» — как видно, опять для пользы дела.

15

Когда я опубликовал в журнале «Столица» кусочек своих воспоминаний, Татьяна Иванова в своем радиообзоре меня похвалила, а некто Виктор Топоров на страницах «Независимой газеты» обругал, отнес, как Радзиховского и Тимофеевского, к «интеллигентским мордам», подразумевая морды жидовские. Я не обиделся, компания меня устраивала. Еще Андрей Караулов в «Моменте истины», беседуя с главным редактором «Столицы» Андреем Мальгиным, полпередачи сокрушался, как же можно печатать такого кошмарного автора — все восклицал: «Глотов — известная личность!» Как видно, не мог мне простить, что я имел косвенное отношение к изгнанию его из «Огонька» после темной истории с шантажом с верстской в руках, вымоганием денег за то, что публикация разоблачительного материала о Большом театре не состоится. Так и осталось покрыто мраком, кто кого шантажировал, Караулов ли Авдеенко или тот — Караулова.

Андрея тогда поспешно выпроводили из редакции решением редколлегии, одни всерьез веря в то, что именно он шантажист, другие опасаясь его липкого влияния на любвеобильного Коротича. Лев Гущин, тогдашний его зам, ревниво оберегал Виталия Коротича от любых непредсказуемых воздействий со стороны. И вот теперь Караулов, поминая меня, призывал шестидесятников не выяснять отношения, тем более — не сводить счеты, а сплотиться вокруг Ельцина. В ту пору он был рьяным ельцинистом, и я умирал от смеха, сидя в деревне перед телевизором, смотря эту передачу.

Реакция друзей меня интересовала больше всего. Клямкин, в своей обычной манере, отмалчивался. Карпинский ответил энергичным интервью в еженедельнике «Мегаполис-экспресс», без намека на покаяние.

Время попрощаться мне с Карпинским. Раза два мы встретились случайно. Не много — за двадцать лет. Просто столкнулись на улице. Поговорили ни о чем.

Его физические силы таяли, но еще более, смею думать, внутренний разлад терзал его.

И однажды на меня глянули с газетного снимка печальные его глаза под челкой седых волос. И я прочитал: «Умер Лен Карпинский».

Полезнее всего использовал отпущенное нам время Игорь Клямкин. Теперь это философ, политолог, доктор наук. Любимый автор либеральной интеллигенции.

Я досиживал скверное десятилетие в бесхозном доме, брошенном Моссоветом, обшарпанном, где в холод отключали отопление, а в туалете не было воды. Сидел в тесноте и неприбранности и смотрел в окно, под которым, как шмели, гудели алкоголики, позванивая стаканами. Потом они исчезли, началась антиалкогольная кампания, а я все сидел и изготовлял на финской мелованной бумаге «Глупую Красавицу», которую никто не читал (журнал «Наука в СССР»). Ее хозяин отважился взять меня на первую в моей новой карьере ответственную работу, за что я ему благодарен, и я был почти счастлив, машинально водя пером, говоря с милыми женщинами полдня друг другу банальности, и если бы не походы на овощную базу, можно было бы и дальше тянуть резину. У нас не было иной цели, кроме воровства времени, чем мы и занимались. Вопрос — на что его потратить?

Время — как в таких случаях выражаются — как бы остановилось. Только-только сошел в могилу один маразматик — но не зря уронили гроб, опуская в землю — народился новый, Константин Устинович. Проблеск надежды потух. И я — и прежде

не обладавший научным предвидением — абсолютно не ожидал горбачевского «апреля». А в нашем закоулке, на нашей помойке еще года два мы этого «апреля» не ощущали и, как крестьянин в сибирской глуши, выйдя из тайги, могли бы спросить: «Кто там нынче, ребята? Белые, красные?»

Но вернулся мой сержант из Афганистана, ринулся в водоворот московских площадей. Это он мне принес новое слово: «Неформалы!» Это с ним я ходил по Гоголевскому бульвару, когда он интервьюировал московских хиппи, очевидцев и жертв едва ли не первого погрома, учиненного курсантами милиции. И он мне сказал: «Папа, тебе не кажется, что ты выпал из перестройки?»

Я вздрогнул, как реанимируемый. А когда пришел в себя, позвонил Чернов и позвал в «Огонек». Наступил 88-й год, «шестидесятники» собирались до кучи. Из забытья проступило мудрое татаро-монгольское лицо Карякина, он принес мне в «Огонек» свою «Ждановскую жидкость» и начался его политический бег с препятствиями, как гон оленя, у Сахарова прерванный смертью, у Карякина не прерванный и тремя инфарктами.

Так жизнь перстом Верховного Жреца расставила все по своим местам.

Где-то в партийном архиве хранится документ. В нем записано, что мне объявлен строгий выговор с занесением в учетную карточку. И карточка, я думаю, не пропала.

За что же?

Интересная формулировка. Вот послушайте — особенно хорошо воспринималось на слух: «*за притупление бдительности и проявление примиренческого отношения к политически вредным разговорам*».

Вникли? Нет?

Тогда еще раз — теперь уже глазами, сами перечитайте.

Попросту говоря: за недоносительство. Очень, между прочим, ломали головы, как сформулировать.

Когда-то шутник Володя Чернов ко дню моего расставания с «Комсомолкой» написал «некролог», и когда все были уже в хорошем настроении и даже Инга Преловская выпила венгерского токая, а замкнутый Виктор Липатов разговорился, Чернов вышел на середину и прочитал.

«Некролог», как и положено, начинался известными словами, но чуть странными: «От нас своевременно ушел» — и дальше очень смешно, но я забыл.

Я размышляю об этом в часы вынужденного досуга, после возвращения с того света, где девяносто минут мое сердечко не трудилось. Получаются преждевременные мемуары. Чтобы не

опоздать?

Я всегда уходил раньше срока.

Что же напоследок? Какие мысли и чувства?

Прямо скажем, неуместные.

Я, например, любя мою страну, не люблю ее имперских амбиций и лагерной тяги к единству. Не люблю — страшно сказать — ее народ, который отдает власть тому, кто ее попросит, а потом завидует другим народам, у которых дела идут лучше.

Но, не любя так много, я остаюсь под нашей луной. Стою на закате у бревенчатой стены, сложенной Антоном, на высоком берегу Нерли и смотрю, как по черной реке стелется светлая солнечная дорога. Она ведет к разрушенному храму в нашем селе. А когда посмотришь вдаль, виден контур церкви в Новоселках, она тоже в руинах. Прищурься, напряги глаза — и за темной грядой тополей на горизонте угадаешь купол Кидекши, где сохранились только лики Бориса и Глеба под самым сводом. Остальное соскребло время. И мы, его ретивые помощники, постарались.

Иногда я думаю: что держит меня здесь? Я ходил среди старых небоскребов по чаплиновскому Нью-Йорку, где Антон в качестве наемника развивал американский авангардизм, — ходил вместе с сыном и знал: вернусь, куда же денусь. И он — вернется. К этой собранной им избе. Но что мне здесь нужно, в моей стране? Да ничего. Ни ее недр. Ни собственности, которую одни вырывают из рук других. Ни даже признания. Я претендую — поскольку тут родился — на квадратный метр ее необъятных просторов. Тот, где под белым камнем ждет меня мой сержант.

Глава 5
«Огонек»: двенадцать апостолов

1

Вспоминая далекую даль, я забываю, что за окном весенний день и — уму не постижимо — кончаются девяностые годы. И век завершается, и тысячелетие. И все кругом иное. Жена вяжет фиолетовую кофту. Я смотрю, как две нити, переплетаясь, образуя узор, тянутся из корзинки, и не верю, что все происходит в реальности. И эта русская деревня среди снегов центральной России, суздальская земля, и собаки под окном, нежащиеся под мартовским солнцем. Какой-то бред! Ведь я же там, еще в Сибири, и мне двадцать пять… Увы! Даже не тридцать девять, когда мы соревновались с «опером», кто кого перехитрит. Лес за рекой, тишина дачной благодати, такой же фиолетовый, как и шерстяной узор, контур из дальних елей — в ту сторону мы ходим на лыжах, а хитрые псы плетутся сзади по лыжне. И явь, и иллюзия — все вместе, одно подменяет другое. И только ходики с кукушкой — современная стилизация — напоминают, что времечко не обманешь.

Тогда лучше отложить листки и выйти на простор. Зажмуриться от искрящегося на солнце снега и сморщить нос от весеннего духа — как будто хватил хороший глоток шампанского! Подыши морозом, почувствуй озноб — он не от холода, а от радости, что ты еще жив, несмотря ни на что. Эта дрожь — от счастья, что существуешь на этой невообразимо красивой земле. Скользя взором по узорчатому горизонту с маковками церквей, величественных даже в разрухе, вдруг видишь на реке островок — царство зайцев и лис — прозрачная паутина кустарника, скрываемого в половодье и каждый раз возрождающегося летом. Теперь, зимою, он полузасыпан снегом и отяжелен бахромою водорослей, оставшихся после весенних талых вод. Фигурка рыбака дополняет картину. Да небо над головой — светлосинее, почти белое, готовое взорваться ослепительной вспышкой.

Зачем мне дана эта радость жизни? За какие такие заслуги? И чем я смогу отплатить?

С грустью возвращаюсь я в дом к столу, к старенькой «Олимпии» — это все, что досталось мне от сына в наследство. Пишущая машинка и коробка с его письмами и стихами. Да плакат времен «Окон РОСТА», на котором изображен рабочий с

пилой в руке и винтовкой, воткнутой штыком в землю, и надписью: «Работать надо! Винтовка — рядом…» — и еще словами, приписанными рукой сына — наказ мне: повесить сей плакат над рабочим столом. С тех пор я наказ выполняю.

И радость, и грусть — они у меня рядом. Смотрю на стену: фотография Володи. Глаза смотрят на меня то ласково, то с укоризной. И тогда я шепчу под стук машинки: «Еще не вечер…»

Еще не вечер, повторяю я, глядя в глаза своему ангелу-хранителю. И отправляюсь в путь — то в республику моей молодости, где я пребывал в его возрасте, был безрассуден, удачлив и смел, то в иное время, в середину жизни.

Перебираю камешки на берегу высохшего моря, одни откладываю — любуюсь ими, строю из них картинки на песке. Жизнь, которая когда-то состоялась, таит в себе бездну смысла. В ней и красота, и герои-антигерои, и «пейзаж», и любая символическая фигура — все на выбор, разнообразные инструменты для прозы. И я копаюсь в том, чего нет, прислушиваюсь к звучащим во мне голосам — так археолог среди груды хлама соскребает бессмысленную породу с остатков ушедших цивилизаций. Археолог ничего не созидает — он лишь обнаруживает. В литературе возможности богаче, тут можно придать значение событию, персонажу, поступку, детали. Я могу выделить, как бы курсивом, то, что считаю важным.

Я замечаю, что именно такую прозу я и читаю последнее время. И все меньше — беллетристику. Меня интересует не вымышленный мир (а если вымышленный, то что-нибудь вроде Оруэлла), а мир прошедший, когда-то бывший, подлинный, из прежних разговоров, увлечений и страстей. Моя эстетика в том, чтобы обнаружить художественное в реалиях действительности, к сожалению — прошедшей. То, что мелькает перед глазами, и что называют «жизнью», это для меня пока хаос, пустая порода на лотке золотоискателя. Жизнью она станет, когда исчезнет за нашими плечами, уйдет в никуда, в загадку Времени, и будет осмыслена, примет причудливые конфигурации. Все зависит от личности вспоминающего — прежде всего от нашей совести, конечно. Беллетрист при этом делает вид, что возводит башню откровенно «не имевшего места». Документалист претендует на подлинность и под каждый факт готовит оправдательный документ. А я? Как будто оставляю все «как было». Но — как некое подобие исчезнувшего времени, понимая, что рассчитывать на объективность в оценке прошлого так же глупо, как пытаться настаивать на своей версии будущего. Мы фантазируем и тогда, когда отправляемся вперед, и тогда, когда поворачиваем вспять. Поэтому какие уж тут документы, если речь идет о

фантастическом прошлом.

День за окном покачивает ветвями, а я разглядываю старые черно-белые фотографии, копаюсь в бумажках, уложенных в папку с надписью «архив», читаю статьи, о которых когда-то столько говорили. Меня нет в нынешней жизни, я в последней командировке — побывал в шестидесятых, в семидесятых. Вот еще бросок — в конец восьмидесятых и чуть-чуть в начало девяностых, когда мой старинный товарищ Володя Чернов сосватал меня в «Огонек». Но постепенно я нагоняю летящий экспресс современности. И как бы опять становлюсь его пассажиром.

2

Давно уже другим стал «Огонек», маленький и плотный, похожий на Валю Юмашева, главу президентской администрации. Журнал, благодаря его усилиям, многие годы и оставался на плаву — Юмашев взлетел, как сокол, терзал добычу на лету, а редакции, где он долго числился замом Гущина, вниз отлетали кусочки, которыми и кормилась она. То один «президентский» банк отщипнет, то другой. Такова была молва. А как на самом деле — кто знает. Тираж упал с почти пяти миллионов, когда мы уходили, — до едва ли сотни тысяч экземпляров. На таких доходах не то, что иллюстрированный еженедельник, стенгазету не выпустишь. Значит, кто-то подкармливал. Многие, я уверен, скажут Юмашеву спасибо.

Листать нынешний «Огонек» грустно. Пестрый, как африканская птичка, и покрикивает так же назойливо, но не страшно. Ни особого смысла, ни серьезной тревоги от его угроз и «разоблачений». Крохотные заметочки о том, о сем, политическая тусовка, хроника президентской семьи. Таких журнальчиков «за бугром» — в каждом провинциальном городке, исполненных на хорошем полиграфическом оборудовании. У нас их тоже стало достаточно — все лотки ими завалены, и среди прочей продукции лежит «Огонек». Лежит!

Мне объясняют: время изменилось. Другая публика.

Я заговорил на эту тему с Жорой Целмсом, ему должно быть видней, он — едва мы за порог, пришел нам на смену в «Огонек». Я спросил этого карбонария эпохи наших совместных игр с Карпинским, понимал ли он, куда идет и к кому.

Жора спокойно принял мой немой упрек, не захотел себя причислять к воронью, слетающемуся на поклев, ответил, что истосковался по журнальной публицистике, а с нами или без нас,

с Гущиным или без него, ему было все равно, и дал понять, что это его личное дело, он ни перед кем не в долгу и в праве поступать, как ему заблагорассудится.

Целмс много лет работал в редакции, управляя всей публикуемой «политикой». Над нашим «Огоньком», умершим вместе с нашим уходом, он откровенно посмеивался, как профессионал над наивными каракулями юного рисовальщика. Иногда мы встречались случайно. Однажды я поинтересовался, сколько же отваливают ему банкиры за нынешнюю работу. Жора назвал цифру — нам бы хватило на содержание полдюжины спецкоров. И тут я не удержался. «Жора! — сказал я ему. — А что, если бы генерал Бобков, который нас с тобою гонял, как зайцев, и который теперь тоже каким-то бизнесом занимается у Гусинского, если бы вместо того, чтобы выслеживать нас, держать ораву ищеек, потом устраивать разборку в комитете партконтроля, выгонять нас из партии, опять годами за нами следить, дал бы нам, каждому, в семьдесят пятом году по тысяче баксов зарплаты, может, мы бы утихли? И им обошлось бы дешевле! Как ты думаешь?»

Жора жизнерадостно захохотал.

Февральским утром, наверное таким же солнечным, как сейчас за окном, я приехал к Володе Чернову, а он повел меня на смотрины к Гущину. Лев птичкой уселся на спинку стула — странная манера — и, поджимая ноги, балансируя, говорил со мною в такой необычной позе. Потом я к ней привык. Что бы между нами затем ни происходило, я всегда оставался при мнении: без Гущина не было бы «Огонька» Коротича.

Но без Коротича и без нас Лев делал уже другой журнал. Секрет нашего опыта состоял в уникальном сплетении в один клубок людей и обстоятельств. А почему все в один миг разрушилось, превратилось в пыль, в банальный скандал — в одиночку не разгадать.

Сергей Клямкин, выпив рюмку привезенного мною из-под Суздаля добротного самогона, уверял меня, что редакция отражала процессы, происходившие в обществе. Мол, у нас, как и в стране, были свои противоборствующие группировки, свои идеалисты и отъявленные «рыночники». Борясь с большевизмом, мы — в методах — оставались большевиками. В какой-то момент Коротич, да и Гущин, оба потеряли к журналу интерес. И нам стали важнее «принципы», сама «разборка», а не наше общее детище. Я слушал Сергея и вспоминал.

Был в редакции красивый рослый мальчик по имени Дима Бирюков. Мне, в моей замороченности, он представлялся холеным барчуком, сколь ленивым, столь и бесполезным. С утра

до вечера он просиживал в редакционной кофейне, в бесконечной болтовне. Он был в курсе абсолютно всех дел, знал буквально все, что происходило в конторе. И поэтому, я думаю, был вхож к Коротичу, любая интрига, в самом ее зачатии, тут же непроизвольно им выбалтывалась в аудиенциях у Виталия Алексеевича, к которому Дима был большой любитель ежедневно заходить. Лев Гущин ревниво оберегал Коротича от влияния таких людей. Это удалось — не без моей помощи — сделать в случае с Карауловым, но с Димой вышло иначе. Много раз над ним сгущались тучи. Терпение Гущина, казалось, иссякало и он готов был выгнать Бирюкова, которого считал бездельником, но Дима всякий раз выкручивался, то заболевал и на время исчезал из редакции, то находил защитника (однажды и я отправился к Гущину с просьбой повременить, дать парню еще шанс). Но главное было не в этом — главное состояло в том, что под маской вполне никчемного опереточного персонажа, каким Бирюков казался мне, скрывался опытный боец, морочивший нам голову. Я плохо знал прошлое этого парня, а он, оказывается, прошел лапинскую школу интриги на телевидении, где прежде работал, да и наш внутренний опыт использовал не зря. И когда обстоятельства позволили, он сбросил с себя камуфляж и в считанные месяцы конфликта, разразившегося в редакции, превратился в лидера оппозиции начальству, вцепился Гущину (как профсоюзный босс и защитник коллектива) в горло. Лев подставил себя. И Дима не промахнулся. Теперь мы, наивно полагавшие, что ратуем за справедливость, играли по сути не в свою игру, направляемые умелой рукой.

И не его вина, Димы Бирюкова, что он не одолел — формально — своего противника. Это еще посмотреть — кто кого одолел. В том противоборстве в «Огоньке» победили все. Коротич приобрел запасной аэродром, заключил контракт на преподавание в США (ему «Огонек» не был особенно нужен), но просто так уходить не хотелось. Виталий Алексеевич был самолюбив и тщеславен, прекрасно понимал игру Гущина и в этой безнадежной для себя ситуации хотел одного: уйти громко, хлопнув дверью, так, чтобы после него исчез старый журнал, ассоциировавшийся с его именем, и осталось пепелище. Так и получилось. Но и Лев Гущин не потерпел поражения. Через несколько месяцев он свалил Коротича (причем, с душком ГКЧП, повесив вопрос — а почему в трудную для страны минуту Коротич оказался за океаном и несколько тревожных дней не проявлял себя, не обнародовал своей позиции, с кем он, на чьей стороне?). Победил в этой схватке, расшатав интригу до грандиозного скандала, и Дима Бирюков: устроил Гущину

«перекатку», испортил ему нервы, опозорил, показал ему, кто сильнее, заставил с собою считаться, воспринимать себя всерьез. И — взбаламутив всех, увел из «Огонька» цвет редакции. Он может считать себя молодцом.

Говорят, после «Огонька» Дима еще пару раз «кинул» начальство — сперва в «Московских новостях», а потом — у Егора Яковлева в его корпорации. И очень гордился, что надул этого постаревшего израненного бойца. Теперь этот мальчик взлетел высоко — так высоко, что с высоты своего трона едва способен разглядеть нас, букашек. Но когда-то и он был нежен, отзывчив, страдал от обид, начал делать материалы, захваченный нашим вихрем, в стиле журнала, и я верю, что в душе его есть заброшенная коморка, где хранятся старые ненужные вещи: память о самом себе.

Каждый был победителем. Но это были проигравшие победители. Кое-чем пришлось пожертвовать.

Наверное, это судьба интеллигента в России — если уж побеждать, то проигрывая, теряя. Иногда немного, иногда все, а порою — и собственную сущность, интеллигентность.

Мы, потерпевшие поражение, поступившие, казалось бы, как бараны, не в проигрыше. Ведь мы уходили из редакции по принципиальным соображениям. Мы, как герои американских вестернов, вели линию простых парней, для которых честность важнее карьеры, мы тоже получили свое — самоуважение.

По мере того, как я мучился над этой проблемой, стала подкрадываться мысль: а нельзя ли еще раз войти в ту же реку?

Мне захотелось возродить старый новый «Огонек». Конечно, не «Огонек» Софронова, десятилетиями валявшийся на столиках в парикмахерских, а журнал Коротича, чей век был короток, как выстрел.

3

Смысл проекта, как я его себе представлял, заключался в следующем. На рубеже приближающегося нового тысячелетия, в обществе, казалось мне, не может не быть потребности в печатном органе, отличном от монотонной, хотя и пестрой, печатной продукции, заполняющей современный журнальный рынок. Куда исчезли, думал я, читатели того, нашего, «Огонька»? Исчезли ли они вовсе?

Я разглядывал, останавливаясь около уличных столов, заваленных журналами и газетами, однообразную верстку, повторяющиеся формальные приемы подачи материала — в этом,

думал я, беда? И отвечал себе: нет, не в этом. В идеологии новой журналистики, усвоившей рыночные нормы исключительно как безыдейность и безнравственность. Пришла пора журналистских «отморозков», а их паханы сидят в «издательских домах» за тройной охраной, считая всех, кроме себя, полным дерьмом. Проворные ребята, согласные на все, без тормозов и принципов, бесстрашно кидаются по их указке на любого. Мать родную продадут! Банки и политики расправляются друг с другом под видом разоблачения коррупции. Осеняя себя демократическим знаменьем, опрокидывают друг на друга «компромат», а на меня от чтения их «прослушек» веет могильным холодом.

Необъяснимым образом я ощущал себя не одиноким. Где-то рядом, в недрах гигантского многоэтажного города, разбросаны по домам такие же, как я, люди, с тоской смотрят в зловещий телеэкран, почти не покупают журналов и газет и жаждут услышать голос романтических лет перестройки.

Словом, я задумал издание, не ангажированное одной элитарной группой в противовес другой. Лишенное пороков заказной журналистики, устраивающей прилюдные «разборки», превращающей читателя в болвана, которого втягивают в междоусобную борьбу, — издание, стоящее над схваткой. Я был уверен: оно будет немедленно замечено обществом, хотя и вызовет обстрел со стороны средств массовой информации. Собственно, подобное происходило и десять лет назад, «Огонек» был вполне одинок и тогда. Одинок при том, что отвечал интересам миллионов людей.

Но я понимал: без помощи мне не обойтись. Но кто поможет? Не бывает бескорыстных магнатов. Как обнаружить того, кто не будет с помощью прессы разделываться с конкурентами, кто отбросит тактические цели и озаботится стратегическими планами? Как внушить ему, что обладание таким печатным — общенациональным — органом — это и есть обладание могучим инструментом влияния на массы (если уж без жажды «влиять» не обойтись). Именно такой инструмент имели в лице «Огонька» политики демократической тенденции. Новый старый «Огонек» — я назвал его «Огонек-Nostalgia» — вполне сможет помочь выиграть будущие президентские выборы и выборы в Думу. Миллионы людей растеряны, дезориентированы, они не верят власти, тем, кто ее поддерживает, их отпугивает и новая коммунистическая оппозиция, напоминая о прошлом. Куда податься?

Эти неуверенные в себе и в своем будущем люди, с грустью оглядывающиеся на недавнее прошлое, — наши прежние читатели, им сегодня под сорок или пятьдесят, в душе их

ностальгия, тоска по родине. Но не по партийной «зоне», а по той родине, которую они мечтали построить на обломках тоталитаризма, и которая неведомо и необъяснимо ускользнула из их рук. Они, не сумевшие победить, станут нашими подписчиками и читателями. Отнюдь не неудачники, но и те, кто устроив свое материальное благополучие, не довольствуется чтивом, обманкой для наивных людей, а жаждет откровенного слова.

Размышляя, я пришел к выводу, что совершенно не обязательно всякий новый опыт оценивать негативно, как и настаивать на устаревших формальных приемах, отказываться от новых технологий. Возможно, предпочтительнее начать с аналитического ежемесячного журнала, а потом отважиться на еженедельник. Потребуется популярный человек, способный возглавить, подобно Коротичу, новое дело. Не возвращать же из-за океана по такому случаю Виталия Алексеевича.

Что нужно для реализации такого проекта?

Деньги. И люди.

Нет ЦК КПСС — и слава Богу! Нет государственной собственности, которой мы — худо-бедно — могли тогда распоряжаться, — комбината «Правда». За десять лет все в стране изменилось. По законам рынка идеи и их исполнители продаются и покупаются.

И я решил выставить на продажу свой проект.

Сперва я отправился, как мне казалось, к единомышленникам. Не мог же я один затевать такое дело. Естественно, мои взоры обратились к тем, кто был тогда вместе со мною, или, если угодно, с кем я был рядом: к сотрудникам бывшего «Огонька». Я вспомнил, как Олег Хлебников подарил мне свою поэтическую книжку, как они вместе с Андреем Черновым горячо меня благодарили за «поступок», так они выражались, имея в виду мой уход из редакции вдогонку за ними. Говорили, что я серьезно укрепил их позицию, присоединившись к их команде.

Я приехал в один из Тишинских переулков, где помещалась тогда «Новая газета». В душе я рассчитывал, что ребята — помоложе меня, покрепче, не расставшиеся все эти годы с журналистикой, работавшие теперь в еженедельнике, чья позиция во многом была достойна уважения, не только поддержат меня, но и похлопочут у своего начальства. Я всерьез рассчитывал, что претендующий на сохранение демократической традиции печатный орган предоставит мне клочок газетного листа, и я прокричу свой призыв, а там, как Бог даст, может, кто-то и откликнется. При этом я готов был предложить себя — вести

регулярно полосу, возрождающую ностальгические настроения романтических горбачевских лет, как бы мосточек с покинутого нами берега. Поселить новый старый «Огонек» сперва на страницах «Новой газеты». А потом, после раскрутки дела, в виде реального самостоятельного издания войти вместе с газетой в холдинг.

За столом меня встретил Андрей Чернов. Белый и рыхлый, расплывшийся, со скучающим лицом. Пробурчал что-то насчет Собчака и Нарусовой. Из бурчания можно было понять, что Андрей не одобряет Собчака — не жулик ли тот, не симулирует ли сердечную болезнь бывший питерский мэр. А было время, я помню, как суетился этот самый Андрей вокруг Собчака, как он ревниво оберегал стремительно взлетавшего политика от внимания остальных журналистов, написал для Собчака книгу. Все повторял: «Собчак — будущий президент! А Нарусова — первая леди страны». И считал, что надо уже теперь, не дожидаясь, раскручивать ее, готовить общественное мнение.

Я подивился таким разительным переменам. Предчувствие, которое редко меня обманывает, подсказывало: здесь каши не сваришь.

Андрей набросился на мой проект с особым садизмом. Я допускал: обвинит в утопизме. Но его раздражало все, что связано с «Огоньком». Сама мысль о возрождении прежнего журнала была ему ненавистна.

Олег, присоединившийся к нам, угостил меня кофе, себе и Андрею взял пива и, слушая «разбор полетов», учиненный Андреем, виновато поворачивал голову то ко мне, то к своему товарищу. И, увы, поддакивал.

И я ушел, не солоно хлебавши. На прощанье Олег сказал мне. «Ты звони, звони» — это насчет службы в газете. Так всегда говорят работающие безработным: звоните, мол, заглядывайте.

Я по наивности раз в три дня звонил Хлебникову, никак не хотел исторгать из себя образ милого человека, думал: он забывчив, наверное, замотался, да и всегда был в этом смысле растеряхой — пообещает, забудет. Я стал звонить раз в неделю, обманывая сам себя. Потом раз в полмесяца. Но результат тот же — никакого результата. И я перестал набирать заветный номер.

Второй визит я нанес старинному приятелю Володе Чернову. Он прочитал мне лекцию об общественной ситуации, угостил чаем, о том, как я живу, не расспрашивал, чтобы не нагружать себя моими проблемами. Он разглядывал редактируемый им журнал «Караван» — телепрограмма НТВ-плюс, девочки-нимфеточки на лакированных страницах, — быстро вносил правку, отправлял с хорошенькой секретаршей дальше по службе,

подарил мне свежий номер. И тоже постарался внушить мне, что журналистика кардинально изменилась, а Минкин пишет теперь заказные статьи, так что я могу на него не кивать, ничего из моих замыслов не получится, да и делать ничего подобного не надо, никаких шагов к социальным баррикадам, а следует ориентироваться только на класс состоятельных людей, причем очень состоятельных, ибо именно они хозяева жизни и смогут порадеть за Россию.

Я попросил его свести меня с Бирюковым — чтобы не искать более состоятельного. По старой памяти — авось мой проект ему придется, если не по душе, то будет выгоден в силу какого-нибудь расчета. Мой друг обещал. И тоже сказал: «Ты звони, старик. Дима сейчас заболел, улетел в Англию, он нашим врачам не доверяет, к новому году вернется, ты звони».

Я опять дисциплинированно звонил и даже подозревал его секретаршу в предвзятости ко мне — решил: умышленно не соединяет. Звонил и домой. Трубку брала жена Чернова — Ольга — и я бодро рапортовал: «Это Глотов! Где там твой мужик?»

Я хотел по-прежнему выглядеть его товарищем, отказываясь верить, что меня-то товарищем давно уже не считают.

Наконец, надежда иссякла и я оставил свои попытки. Тогда я сам пробился к Бирюкову, но секретарь сперва вышколенно выспросила, кто беспокоит ее господина, а через минуту сообщила мне, что Дмитрий Вадимович сейчас занят и будет занят очень долго. Так долго, что вряд ли стоит его беспокоить.

Как возвращающийся из полета израненный штурмовик, я пикировал, в очередной заход, на Артема Боровика. У него как будто не было по отношению ко мне отрицательных эмоций. «Совершенно секретно» — солидная фирма. Если Боровик поддержит, проект может состояться. Я позвонил, назвал себя, но мне сообщили, что он меня не знает. Я переспросил: не недоразумение ли, верно ли доложили фамилию, кто звонит, — все в порядке, ответили мне, так и сказали, назвали вашу фамилию, но Артему Генриховичу ваша фамилия ни о чем не говорит.

И тогда я понял, что дело мое — труба. Я не мог поверить, что паренек, стоявший у меня под больничным окном — а я, как будто это было вчера, вижу его рядом с редакционными девчонками, машущего мне рукой, — просит передать, что первый раз мою фамилию слышит. Я убеждал себя: это ошибка. Услужливая девица проявила инициативу, вот и все. Боровик и не знает о моем звонке. Но что-то меня остановило. Я прекратил попытки вступить с Артемом в контакт. Кто я для него? Пришелец с другой планеты. Или с той планеты, которую уже распахали и

обескровили, потеряв к ней интерес.

Чью еще толкнуть дверь?

Целмс обустраивается в «Новых Известиях». По поводу работы неопределенно ответил: «Звони». А об «Огоньке» — о возрождении того, который существовал до него, коротко отрезал: «Бредятина».

Вигилянский надел рясу, служит в церкви при старом университете, недавно по телевидению высказался по поводу Льва Толстого, сказал, что не зря его отлучили от церкви и подвергли анафеме. И признал необходимым запретить показ по телевидению кинофильма «Последнее искушение Христа».

Володя Чернов, пока я ходил по кругу, побывал, говорят, в Швейцарии, на аудиенции у Березовского, очень богатого человека и, на мой взгляд, самого талантливого в своей среде. Березовский — хозяин «Огонька». И вот теперь Чернову, в лице нового главного редактора журнала, предстоит превращать его в орган класса, которому решил служить. Такому можно лишь посочувствовать. А человека — пожалеть.

Хватит разочарований, решил я. Попробую открыть соседние двери.

И я позвонил — сам того не понимая, на какие высоты посягаю, — Владимиру Яковлеву, сыну Егора.

4

Яковлев-младший — президент всего, что связано с понятием «Коммерсантъ». Невообразимая величина!

Но когда-то и он трудился в «Огоньке». Потом, задумав новое дело, каким-то образом пересекся в 88-м или в 89-м году с моим старшим сыном, вместе они выпустили пробный номер «Коммерсанта». Для моего — этот пробный номер так и остался единственным, первым и последним в его жизни крупным журналистским мероприятием, а для сына Егора Яковлева, тоже Владимира, он был всего лишь удачным началом в головокружительной карьере. Я помню, как еще в те годы, наблюдая за сыном, Егор сказал мне: «Я боюсь за него. Он удачлив, деньги у него просто вываливаются из карманов».

Но, судя по всему, страхи оказались напрасными.

Я набрал номер мобильного телефона Яковлева. Кто-то, кто носит для них телефонные трубки, ответил мне и поинтересовался — кто беспокоит и зачем. Я назвал себя. И напомнил — чтобы не получить отказа, как в случае с Боровиком — о первом, пробном, номере «Коммерсанта». Может, свяжет

воедино меня с моим сыном, вспомнит?

Через пять минут раздался ответный телефонный звонок, и Яковлев сказал мне: «Здравствуйте, Владимир Владимирович!»

Я поблагодарил его, сообщил, что у меня есть кое-какие предложения и попросил принять меня.

— А вы не могли бы сказать, в чем дело? — все так же, вежливо, почти с нежностью в голосе, но настойчиво спросил он меня.

— Это не телефонный разговор. Речь идет о проекте нового журнала.

— О, мы никаких новых проектов начинать не предполагаем. Конечно, я могу вас выслушать, но предупреждаю: на девяносто процентов вас ждет отрицательный ответ.

Я согласился на оставленные мне десять процентов.

Понимая бессмысленность поездки, я все-таки отправился на улицу Врубеля, у Сокола, нашел четырехэтажный роскошный особняк, взялся за ручку массивной двери — в виде вытянутой сверкающей бронзовой руки, этакого перла безвкусицы, потянул ее на себя и вошел в холл.

Внутри — так же добротно, как и снаружи. Охранники, не менее пяти человек, преградили мне дорогу, четверо навстречу, один остался за компьютером. Долго с удивлением разглядывали меня, не веря, что я пришел к самому Яковлеву. Сверялись с компьютером — все точно, пропуск заказан к «самому». Но что же ты, спросили меня, за сорок пять минут приперся? А что делать? Я не рассчитал. Так трамвай привез. Не на улице же мерзнуть! На дворе зима. Предложил: давайте я тут подожду, посижу где-нибудь. Но у дверей и стула не было. Пришлось одному охраннику подниматься со мною наверх, провожать меня до кабинета Яковлева. Вот тут, кивнул он мне на кожаный диван, сиди и жди.

Я разделся и пошел побродить по коридору. Едва не расшиб лоб о стеклянную дверь, приняв ее за проем в стене. За дверью — компьютер на компьютере. На стенах просторных холлов — полотна абстрактной живописи. Не малых денег стоит! — отметил я. А сидят спокойно, без напряга. Ходят туда-сюда, без спешки. Никаких нервов, бурления, фонтанирования или наших эмоций. Солидно и чуть сонливо. А говорят, что у них потогонная система. Хотел бы я тут работать.

Заглянул в туалет. Очень приятная контора!

Но пора под дверь к Яковлеву. Только успел устроиться на кожаном диване, сбоку от необъятных размеров стола секретарши, как за открытой в кабинет дверью послышалось шевеление и показался мальчик с милой улыбкой на лице,

стройный, прямой, в добротном сером костюме-тройке, аккуратно подстриженный, приветливо посмотрел прямо на меня, как будто всю жизнь ждал нашей встречи. Я без труда узнал в нем Володю Яковлева, хотя никогда его не видел. Он был поразительно похож на своего отца — на Егора. Но в миниатюре. Тоньше, изящнее и, конечно, моложе.

Яковлев пропустил меня вперед и вошел в кабинет следом за мной. Он перекусывал, я его побеспокоил. Он попросил извинения, я кивнул, он допил чай, доел кусочек банана, одновременно проглядывая листочек, который я ему передал.

Нет, моим надеждам не суждено было сбыться. В какую-то минуту я подумал, что сейчас мне повезет — вот человек, которого я жду.

Не повезло!

Не перспективно Что-то еще сказал мне ровесник моего сына. Грустно было слушать, но спасибо — ответил не грубо. Ответил тихо, так тихо, что я еле расслышал. Мой собеседник не заботился, услышат ли его.

Я вышел. Тут же, на этаже, в специально отгороженном пространстве, набросил свою куртку и пошел к лестнице, ведущей вниз. А следом вышел Яковлев и, почти одновременно со мной, стал подниматься по пролету, но — вверх, в свой собственный кабинет, а здесь было казенное помещение для приемов. Так мы направлялись, каждый своей дорогой, один спускаясь, другой поднимаясь, я видел его прямую спину, а он мою, сутулую, нет. Стройный, он ровно, пружинисто нес свое изящное тело. Я не видел его лица, но мне казалось, что он все так же улыбается. Потому что это был абсолютно счастливый человек. Если можно ощущать себя удачливым, без всяких оговорок, существом, то я такого человека встретил — это Володя Яковлев, глава издательского дома «Коммерсантъ».

А может быть, моя обида неуместна? В конечном счете, не мы ли старались ради людей, вроде Яковлева, твердых, как их твердый знак, чтобы они могли свободно упражняться в предприимчивости? И если они говорят: «Не перспективно» — значит, так оно и есть. Да и кто знает, доживи мой сын до нынешних дней, может, и он разместился бы где-то поблизости, на таком же этаже, и сказал бы мне: «Отец, успокойся, другое время».

Но вряд ли.

И все равно — тошно на душе.

Я опять прошел мимо охраны, толкнул дверь с бронзовой ручкой-рукой. Золотая кисть проплыла четверть круга. Вернулась на место, заперла дверь, за которой в крепко свитом гнезде

поселились прожорливые птенцы — победители. Они не считали себя ущербным потомством, которое и само будет производить проигравших победителей. Они даже не поняли бы, о каком «проигрыше» я толкую. Вот когда счастливчик Яковлев, сделавший блистательную карьеру, будто бы проиграл в Монте-Карло миллион долларов (прекрасный образец новых мифов в духе времени, в нашу пору сочинялись другие мифы, в том числе и о Егоре, его отце) — это проигрыш! Это им понятно! Потому и продает кое-какие свои подразделения издательского дома и новых проектов не затевает. А «материя», о которой я веду речь, она ведь не материальна и, значит, не совместима с бизнесом.

Те, к кому я стучался в двери, или о ком только подумал, не помышляя даже проникнуть в их терема, будут судить о Времени, как апостолы. Да и судят уже. Это естественно. На то они и апостолы, чтобы толковать нам Истину с апломбом. Одного такого я недавно наблюдал на экране — разбросав в кресле холеное тело, выставив грудь с цветастым галстуком, снисходительно улыбаясь на звоночки в студию, Лева Гущин вспоминал свою службу в «Огоньке», объяснял, почему ушел, в чем разошелся с Борисом Абрамовичем — вот только почему в таком жалком виде оставил журнал, не сообщил. О различии между прежней, партийной, властью и нынешней — сказал, о том, что так много бестолковых людей, не способных заработать семье кусок хлеба, посожалел. И даже о содержании своего денежного кармана намекнул. И о том, как собирается поднимать с пола рухнувшие издания. Но почему журнал «Огонек» убил, промолчал.

Толкователей будет много. Тем настойчивее советую читателю: запасайтесь собственной точкой зрения. Да и мои записки не воспринимайте как Евангелие от «Огонька». Читайте и сомневайтесь.

На трамвайной остановке тетки с холщевыми сумками, набитыми пустыми бутылками, негромко переругивались, ждали, как и я, трамвая. Пенсионер нервно ходил туда-сюда. Мимо пронесся разрисованный сигаретными ковбоями троллейбус. Все мы дружно отпрыгнули в сторону, чтобы не обрызгал.

5

Когда работа над книгой была почти закончена, я позвонил младшему Клямкину. Старший собирался в Японию, получив «грант», учил японский язык, он вообще оказался способным к языкам. Младший, Сергей, осваивал, как параллельный мир,

сферу общественной жизни, он организовал движение «Союз домовладельцев» и газету при нем — «Российский домовладелец». Повторял библейское: «Нет эллинов и иудеев! Нет коммунистов и демократов. Все мы соседи», — и в разговоре со мной на редкость умело демонстрировал сходство взглядов и готовность сотрудничать представителей враждующих партий, стоило погрузить их в конкретную среду. Наверное, это было увлекательное зрелище: наблюдать, как нетерпимые друг к другу политики вдруг преображаются и, как волы, вместе тянут одну телегу. Но мне Сергей нужен был по другому поводу — как хороший профессиональный журналист. Он приехал, забрал рукопись. И вот должен был ее вернуть. Я ждал с нетерпением. Как-никак — мой первый читатель.

Разговор наш состоялся 15 мая, в день рождения его жены Тони. Она умерла три года назад. Умирала она в страшных муках. Сергей метался в поисках способа облегчить ее страдания. Испробовал все. Наконец, обратился к Аллану Чумаку.

Тот приехал. Сергей рассказывает: чудо совершилось у него на глазах. Нет, Чумак не спас жену, но тяжелейшие боли отступили. Сергей сидел и держал руку жены. Стоило «включиться» Чумаку — приезжал ли он, звонил ли по телефону, советуя Сергею, что нужно делать, — боль уходила.

Так продолжалось несколько дней, пока человек пребывал между жизнью и смертью. В конце концов жизнь уступила.

Сергей благодарен Аллану за поддержку, но у него осталось сомнение, правильно ли он поступил, позвав его на помощь.

— Все на Земле от Бога, — сказал Сергей, — И дар Чумака тоже, так ведь? Он научил меня буквально, а не в переносном смысле чувствовать душу человека. Или назови ее биополем. Как она уходит и возвращается. И я это, веришь ли, чувствовал, смотря на умирающую жену, как душа ее уходит, а потом возвращается. Я уже почти мог помогать ей вернуться. Но ненадолго. А Чумак? О нем масса противоречивых мнений. Не мне рассказывать тебе. Ты написал о нем книгу, пытался понять эту личность. В моем конкретном случае — он поступил благородно и бескорыстно, денег с меня не взял, откликнулся сразу. Я обратился к нему, движимый чувством любви к жене, а Бог — это любовь. Поэтому, наверное, я правильно поступил, но я не крещенный, может быть, мне не все здесь понятно.

Что я, крещенный, мог ему ответить?

Вот для отца Анатолия, который причастил меня на второй день после операции на сердце, когда я сам находился между небом и землей и шептал еле двигавшимися губами: «Каюсь», — для него прибегать к такой услуге Чумака: ересь!

Я пообещал священнику: оставшиеся у меня экземпляры написанной мною книги о Чумаке не буду распространять. Я даже бросал пачки с книжками в костер, но они не хотели гореть, я кидал их в разлившуюся весенним половодьем реку, они уплывали, но талая вода сошла, и по берегам рыбаки вылавливали книжки. Получилось — все наоборот. И сколько я ни старался уничтожить созданное мною произведение, ничего не получалось. При этом мне было физически больно это делать, как будто я прижигал свою руку или топил свое тело. Я чувствовал: не могу! Тут что-то не так, думал я.

Мы выпили с Сергеем в помин души его Тони и вернулись к земным делам.

— Ну что скажешь, Сережа?

Клямкин вздохнул.

— Вполне диссидентская по отношению к нынешним временам книжка.

— Это как? Похвала?

— Лучше бы ты ее не сочинял! Но раз сочинил, убери в стол до поры. Не издавай. Учти: против тебя объединятся все. И последствия могут быть серьезными. Ты готов к ним?

— Мне поздно не быть готовым.

Какие-то наши ученые вывели новую корову. Скрестили корову с зубром, получили потомство. Расчет был такой, чтобы уникальное животное давало молока, как корова, а выносливо и неприхотливо было — как зубр. Но хотели, как лучше, а получилось, как всегда: новая корова оказалась прожорлива, как зубр, а молока вовсе не давала.

Может, это судьба наша такая — быть между Западом и Востоком, заигрывать с Европой, грея при этом спину солнцем Азии, тянуться к одним и к другим, примерять на себя чужие одежды и твердить о своих национальных отличиях и особом предназначении?

Ладно — социализм не тот построили, тут мы были первопроходцами? Но почему капитализм строим бандитский, когда вокруг сплошные положительные примеры? И опыта — хоть отбавляй! Хочешь — шведский, хочешь — американский. Можно даже китайский, если одеяло на себя тянут восточные гены. Почему же обязательно надо, чтобы прожорливы были, как зубр, и молока не давали?

Вадим Кожинов, вождь противоположного лагеря в пору баталий «Огонька» с «Нашим современником», пожалуй самый серьезный и образованный в их среде, недавно обнародовал глубокое исследование исторической темы: было ли в тягость Руси двухсотпятидесятилетнее нашествие татар, привычно

именуемое нами «игом»? И так ли мы гадали-чаяли поскорее от него освободиться?

И убедительно доказал, что никакого «ига» не было, а была единая евро-азиатская империя во главе с ханом (царем), вполне прогрессивная в смысле государственного устройства, гуманная по отношению к народам, в нее входящим, веротерпимая, сохраняющая культуру и язык, а непомерная дань, которую якобы платили мы хану «Золотой Орды», составляла в пересчете на душу славянского населения — одну тысячную средневекового рубля! Или — полтора килограмма хлеба в год.

Не потому ли мы выжили?

Мысль у Кожинова проста: азиаты мы — и точка. Европа же нас, если и не сломила (чего она страстно желала), то только потому, что татары спасли. И на Куликовом поле мы не с «Золотой Ордой» бились и не против хана Тохтамыша, а — по сути — за него, против отщепенца Мамая, типичного сепаратиста из Крыма, которого, как злую собаку, натравили на Москву генуэзские колонисты. И еще сто лет после этого «побоища» мирно и благополучно жили в составе империи потомков Чингизхана, пока она естественным путем не распалась.

Запад — вот наш истинный враг. Было папство, направлявшее против Византии и нас крестовые походы. Теперь — мировой империализм, Уолстрит, заговор сионистов, банков, международной мафии. Выводы напрашиваются именно такие. А всему виной Петр с его реформами, Екатерина с ее немцами. Они испортили нам историю, извратили ее и притупили нашу бдительность. И не так уже страшны в этом контексте большевики — они империю сохраняли и укрепляли, а Западу грозили кулаком (внутренние издержки при этом становятся объяснимы: с «пятой колонной» приходится поступать, как с врагом).

Сколько я себя помню, я только и слышу хулу Европе, да Америке. Прежде это была советская пропаганда, твердолобая, убогая, но эффективная, так как противопоставить ей ничего было нельзя — никто из простых смертных ни Европы, ни Америки не видел, отделенный «железным занавесом». Когда границы открылись, народ сперва увидел «запад» по телеящику, а потом с сумкой «челнока» побывал и на западе, и на юге, и на востоке — только на севере делать было нечего, среди голодных воркутинских шахтеров и доживающих свой век оленеводов, — тогда стали говорить: «Запад», конечно, богат и хорош, но нам его строй не подходит. Еда годится, шмотки, автомобили, даже добротное жилье стали именовать «евростандартом», но только не их демократия и не их порядок в экономике.

Все приемлем, когда касается поесть, отдохнуть, развлечься.

Кинофильмы смотрим, листаем журнальчики. Постепенно пересаживаемся на иномарки, строим коттеджи не в стиле русской избы. Язык с невероятной проворностью впитывает иностранные слова. Но взятки берем — по-азиатски. Хамим — по-русски. Партнера стараемся обмануть — по-нашему. Человека не ценим, не уважаем — по-советски.

А если появляется на политическом поле «западник», то обязательно проворуется, не сдержит в себе восточную натуру. Или властитель: только-только завяжет с Западом дружбу, подкрепит ее личными контактами, поохотится в подмосковном заповеднике, в Европе оркестром подирижирует, по-медвежьи пообнимает какого-нибудь щуплого англикашку, приняв у него очередной кредит, — как вдруг шлея под хвост, и опять спесь туманит разум. Опять разговоры об особом статусе России, о ее мировом предназначении (не доить ли всю жизнь двух маток?), опять «мы не позволим Америке хозяйничать в Европе», опять объятия русских с восточными диктаторами, как будто своими не насладились.

Действительно, скифы мы, Блок был прав. Только Запад-то тут причем? Он-то в наших бедах меньше всего повинен.

Лет тридцать пять, не меньше, я, журналист, боролся с политической системой, унижающей человека до уровня безмозглой машины. Сперва делал это неосознанно, интуитивно, сопротивляясь, как живая тварь, давящей силе партийного сапога. Был наивен, хотел переиначить партию, стремился разглядеть в ней «человеческое лицо» и отвоевать у маразматиков и мерзавцев Маркса. Потом понял всю безнадежность и бессмысленность этой затеи.

Никто меня, никакой Запад, не сделал антисоветчиком, внутренним врагом, а только родная почва, действительность, то, что видели глаза и слышали уши.

Как мог, я рассказал об этом пути.

Это была дорога отречения от иллюзий. Ее пересекали пропасти. Они манили соблазнами. Пролетая над ними, легко было обронить свою душу. Мне хотелось в этой жизни победить. В обычном, житейском смысле: добиться успеха.

Если и следует вывод из прожитой мною жизни, то он такой: в России, на том отрезке, который мне был отмерен, совместить служение и службу было невозможно. Служение в конечном счете выливалось в служение Богу, а служба оборачивалась службой в канцелярии у Молоха. Другого расклада для людей моей профессии почти не существовало. Победить удалось бы, только проиграв свою душу, а сохранить ее — только потерпев поражение. В этом состоял выбор. Грустно, если это правило не

имеет временных границ.

Закончу же я — молитвой: «Господи! Ты знаешь все, и любовь твоя совершенна. Возьми же мою руку в свои руки и делай то, что я так хочу сделать и не могу».

……

— Отец! Как же так? Это я должен был в «Огоньке» работать!..

Январь 1991 г. — июнь 1998 г.